Ничего для себя





Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1980



СЕРИЯ · ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Арсений Рутько,
Наталья Туманова

НИЧЕГО ДЛЯ СЕБЯ

ПОВЕСТЬ
О ЛУИЗЕ МИШЕЛЬ

Р2
Р90

Перу Арсения Рутько принадлежат книги, посвященные революционерам и революционной борьбе в нашей стране. Это — «Пленительная звезда», «И жизнью, и смертью», «Суд скорый...», «Тебе мое сердце», «Детство на Волге», «У зеленой колыбели» и другие. Темам современности посвящены его романы «Бессмертная земля», «Есть море синее», «Сквозь сердце», «Светлый плен».

Наталья Туманова — историк по образованию, журналист и прозаик. Ее книги адресованы детям и юношеству: «Не отдавайте им друзей», «Родимое пятно», «Счастливого льда, девочки», «Давно в Цагвери».

Их совместная повесть «Ничего для себя» рассказывает об активной деятельнице Парижской Коммуны Луизе Мишель.

$Р\frac{10603-001}{079(02)-81}$ 244—81 0504030000

Но умирает зерно, и из него произрастает колос.
Так, на ниве, орошенной нашей кровью
Расцветет великое будущее...

ЛУИЗА МИШЕЛЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

На борту „Виргинии“

Альбатросы впервые появились над «Виргинией», когда она подплывала к мысу Доброй Надежды. Эти морские птицы, огромные и белоснежные, пролетали над фрегатом, почти касаясь крыльями мачт,— словно приветствовали его узников.

В тот час на палубе, под охраной конвоя, гуляли осужденные коммунарки. Шестилетний сынишка мадам Леблан закричал:

— Мама! Мадемуазель Луиза! Смотрите, какие птицы!

Да, после нескольких недель пустоты и безмолвия океана это было красивое зрелище. Но Луиза Мишель насторожилась: при появлении птиц матросов охватило странное возбуждение. Жадно следя за альбатросами, они насаживали на большие крючки куски мяса и рыбы. И вот один из матросов, мулат с желтым платком на шее, опередив остальных, швырнул в море крючок с куском мяса, конец рыболовного шнурка он привязал к рее грот-мачты.

Луиза с тревогой наблюдала, еще не понимая, что происходит.

И вдруг пролетевший над фрегатом альбатрос, полусложив крылья, белой стрелой метнулся вниз и подхва-

тил коснувшуюся воды добычу. Через секунду, взмыв вверх, огромная птица внезапно остановилась, словно ударившись грудью о невидимую преграду, и упала в море.

Радостно гогоча, мулат выволакивал жертву на борт. И только тут Луиза вспомнила парижских модниц, щеголявших на Елисейских полях и Больших бульварах в шляпках, украшенных белоснежными перьями. Так вот откуда такие перья!

Столпившись на корме, коммунарки с ужасом наблюдали за варварской охотой.

— Капитан Лопэ! Капитан Лопэ! — закричала Луиза и хотела бежать туда, где возлежал в шезлонге капитан «Виргинии».

Но конвоир сделал два стремительных шага и преградил Луизе дорогу, выставив перед ней ружье-шаспо с примкнутым штыком.

— Стой!

Зазвонил корабельный колокол.

— Кончай прогулку! Вниз! — скомандовал старший надзиратель.

Женщины медленно направились к люку, ведущему на пушечную палубу, а матросы, крича, продолжали свою жестокую охоту.

Оглянувшись, Луиза увидела, что мулат привязывал пойманного альбатроса за ноги к вантам грот-мачты,— так несчастной пленнице предстояло умереть. Луиза догадалась, что матрос не хочет сразу убить птицу, чтобы не запачкать кровью ни одно драгоценное перышко.

Спускаясь по крутому трапу, Луиза думала, что есть нечто общее в судьбе океанской красавицы птицы с ее собственной судьбой, с судьбой ее подруг, осужденных Версалем на пожизненное изгнание... Как мучительно выгибала шею повешенная вниз головой птица, как ей, наверно, хотелось взмыть в небо!

Пока «Виргиния» шла вдоль берегов Южной Африки и пока в пушечные амбразуры были видны парящие над океаном альбатросы, коммунары отказывались от прогулки на палубе. Смотреть на мучения птиц было невыносимо, а запретить страшную охоту капитан Лонэ отказался: он-де не может помешать матросам заработать лишнюю сотню франков...

Но это случилось позже, после того как «Виргиния» дважды пересекла Атлантику, на третьем месяце ее плавания.

А сначала...

Океан!

Когда я была маленькой, я так жалела, что не родилась мальчишкой! Я страстно мечтала о дальних и опасных путешествиях, мне хотелось стоять лицом к бурям, противопоставить необузданным стихиям мою человеческую силу!

И вот — океан передо мною. Правда, я вижу его из тюремной клетки через отверстие в борту военного фрегата, когда-то из этого отверстия высовывалось наружу дуло пушки.

В нашей женской клетке две такие амбразуры, под другой, в пяти шагах от меня, устроилась со своими малышами мадам Леблан. Рядом с ней — Натали Лемель, осунувшаяся и похудевшая до неузнаваемости,— так измучила ее морская болезнь... Сейчас океан спокоен, и она забылась тревожным сном — то и дело вздрагивает и вскрикивает,— видимо, снова переживает ужасы тюрем, через которые всем нам довелось пройти: Сатори, Шантье, Консьержери, Версаль, Оберив.

Океан спокоен — ослепительно синий, сверкающий. Ветер, еще недавно наполнявший паруса «Виргинии», стих, фрегат застыл посреди океана почти неподвижно.

С верхней палубы доносятся сердитые голоса,— матросы и солдаты конвоя проклинают тропическую жару и штиль, обрекающий корабль на вынужденный дрейф.

Из случайно услышанных разговоров Луиза знает, что «Виргиния» — корабль старый, два года он простоял на приколе в гавани Ля-Рошель, разоруженный, без пушек и парусов. И лишь необходимость перевезти в Новую Каледонию тысячи осужденных коммунаров заставила правительство Тьера, а позднее Мак-Магона вспомнить об отслужившем срок корабле. На нижней, бывшей пушечной, палубе устроили клетки с железными решетками, оснастили корабль новыми парусами, укрепили на носу и корме по пушке — и отправили в далекое плавание. На «Виргинии» нет паровых машин, движение ей могут сообщить лишь паруса, при штиле она совершенно беспомощна.

Слышен самодовольный бас капитана Лонэ:

— Боюсь, лейтенант Аллис, нам предстоит долгое путешествие! Вместо трех месяцев мы протащимся до Каледонии минимум полгода, будь я проклят! Адмирала Домпьер д'Орнуа беспокоят слухи о волнениях в Испании, в Картахене. Там инсургентам удалось овладеть частью военного флота, как бы они не перехватили нас...

Голоса удаляются, затихают. Слышен звонкий плеск,— матросы на палубе окатывают друг друга водой, так легче переносить зной. А здесь, в клетках, воздух невыносимо влажный и душный.

Глазам больно смотреть на сверкающий, как расплавленное серебро, океан. С невольным вздохом Луиза опускается на жесткий соломенный матрац и, откинув голову, прислоняется к стене. После слепящего сверкания океана в клетке ничего не разглядеть, лишь угадываются смутные очертания тел,— истомленные духотой узницы неподвижно застыли на своих местах.

Слышны размеренные шаги,— часовой с шаспо на

плече ходит между клетками; едва доносятся голоса из мужских отделений палубы-тюрьмы; звучно падают в тишину медные капли,— судовой колокол отбивает получасовые склянки...

Глаза постепенно привыкают к полутьме, и Луиза может рассмотреть в клетке напротив, через коридор, темноволосую голову Анри Рошфора,— он пишет, положив на колени книгу.

Рошфора держат в клетке одного, считая особенно опасным, но капитан Лонэ благоволит к журналисту, вчера он пообещал переселить к нему кого-нибудь по выбору самого Рошфора. Луиза слышала, что тот назвал известные ей по Парижу имена Анри Пласа и Анри Мессаже. Сегодня, кажется, и состоится переселение.

Незаметно к Луизе подкрадывается дремота, смыкаются веки.

И снится ей то, что было давным-давно. Последние два с лишним года — в парижских тюрьмах, на этапах и здесь, на «Виргинии», — ей снились только баррикады, перестрелки, рушащиеся стены зданий, дымы пожаров, столбы пламени над Тюильри и Ратушей, смерть товарищей,— даже во сне все пережитое не покидает, не отступает...

А сейчас снится далекое-далекое... Обветшавший замок во Вронкуре, красная черепица крыш под зеленью платанов, ее комнатка с видом на поля. И старый Шарль Демаи, мэр общины Вронкур, опирающийся на инкрустированную перламутром трость, седой и величественный, с неизменным томиком Вольтера в руке...

Шарль Демаи имел основания полагать, что в появлении на свет маленькой Луизы, дочери его незамужней служанки, повинен его сын, ловелас и кутила Лоран, но самой Луизе было безразлично, кого должно считать ее отцом, ей было достаточно любви дедушки Шарля.

Ей снится, будто они двое — старый и малая,— взявшись за руки, идут вдоль берега речки, на которой плы-

вет длинная желтая лодка и колышутся зеленые отражения прибрежных ив.

Шарль Демаи был умным и отзывчивым человеком. К сожалению, смерть унесла его, когда Луиза из ребенка только превращалась в девушку. Она осталась на попечении бабушки Шарлотты, вдовы Демаи, которая тоже очень любила девочку. Но вернувшиеся во Вронкур после смерти Шарлотты молодые наследники выжили Марианну Мишель и ее дочь из замка: жена Лорана не могла примириться с тем, что покойник Шарль оставил в наследство Луизе сорок тысяч франков и клочок земли.

Во сне Луиза слышит надтреснутый, звенящий от возбуждения голос: старый Шарль Демаи рассказывает ей о Великой французской революции, в те годы он, молодой и отважный, работал в Комитете общественного спасения...

...И еще снится ей Виктор Гюго, побывавший в гостях у Демаи. Будто бы писатель расхаживает по гостиной — от пылающего камина к широкому окну, за которым террасами уходит вниз аллея столетних платанов, рассматривает коллекцию старинных ружей. И старый Демаи, счастливый посещением знаменитого друга, следит за гостем влюбленными глазами. У ног деда, положив морду на скрещенные лапы, разлеглась любимица Луизы, испанская овчарка Медор...

Будит Луизу железный дребезг замка: тюремный конвоир и одна из сестер-монахинь, надзирающих за узницами «Виргинии», чопорная сестра Бетти, отпирают дверь в клетку — время прогулки.

Сынишка мадам Леблан, светловолосый, синеглазый Пьер, возбужденно смеется. Он первым взбирается по трапу на палубу, топочет по ней босыми ножонками, и Луиза замечает, что даже на самые хмурые лица матросов и тюремщиков ложится отсвет детской улыбки.

До чего же ее жалко, бедняжку Леблан! С каким

горьким, трагическим выражением она смотрит на Пьера и крошку Жаннет. У Пьера все же были в детстве светлые дни, были какие-то радости, а крошечная Жаннет родилась в тюрьме, в зловонной камере, на грязной соломенной подстилке. После поражения Коммуны Леблан, пытаясь спасти мужа от ареста, спрятала его, но кто-то из соседей предал их, его схватили и бросили в застенок форта Келерн, а ее арестовали, несмотря на беременность. Позже она предстала перед судьями Версаля с новорожденной на руках.

Малыша Пьера оставить в Париже тоже оказалось невозможно,— полицейские ищейки вылавливали детей коммунаров и отправляли в так называемые исправительные заведения, режим которых, говорят, немногим отличается от режима тюрем...

Текут мысли — непрерывный, нескончаемый поток...

Проходя мимо мужских отделений, Луиза обменивается приветствиями со знакомыми коммунарами, хотя это и запрещено, отмечает, как тесно в мужских камерах: на «Виргинии» больше ста двадцати коммунаров-мужчин! А вспомни — сколько осужденных перевезли в Кайенну и Каледонию «Даная», «Воительница», «Гаронна», «Вар», «Сивилла», «Орна», «Кальвадос», «Семирамида» — ведь каждый из кораблей совершил по три-четыре рейса! Начиная с ноября 1871 года один за другим отплывали они от причалов Франции.

Палуба, только что политая водой, дымится горячим паром. Солнце перевалило зенит, все кругом раскалено, и даже под тентом, натянутым над кормой, нет прохлады.

В Ля-Рошели, перед отправкой в далекий путь, женщинам выдали взамен истрепанной собственной одежды казенную: по темной юбке и синему платью и еще по чепчику. Вытаскивая эти вещи из мешка, Луиза воскликнула: «Посмотрите, какой прекрасный подарок прислал мне президент Мак-Магон!»

Сейчас женщины прогуливаются по палубе, неразличимо одинаковые, похожие на темные тени. У всех худые, нездорово бледные лица, погасшие глаза и увядшие губы. А ведь еще недавно все были привлекательны и красивы — Мари Маньян и Элиза Деги, Аделаида Жермэн и Адель Дефоссе, Мари Брум и бедняжка Леблан, да и все другие...

Капитан Лонэ, расстегнув на груди белую рубашку, полулежит в полосатом шезлонге под тентом на носу корабля и курит сигару, синеватый дымок вьется над его головой. Он самонадеян и самодоволен, капитан Лонэ. Однажды — Луиза слышала — он со смешком удовлетворения сказал Рошфору, к клетке которого нередко приходит поболтать:

— Какие странные бывают совпадения, черт меня побери! Генерал де Лонэ в дни штурма Бастилии был ее комендантом, а мне, тоже Лонэ, препоручено стеречь вас, мятежников, пытавшихся сокрушить все Бастилии Франции! Хе-хе...

Рошфор в ответ расхохотался:

— О! Между вами, мосье Лонэ, и тем, давним де Лонэ есть существенная разница!

— Какая же? — насторожился капитан.

— Голову коменданта Бастилии отрубили и, нацепив ее на пику, разгуливали с нею по Парижу. А ваша голова, насколько я могу судить, прекрасно покоится на месте!

Капитан Лонэ покрутил шеей, словно испытывая ее прочность.

— Н-да! Моя еще долго продержится, мосье Рошфор!

— До следующей революции? — прищурился журналист...

Сейчас Луиза с горечью улыбнулась той шутке: когда-то она грянет, новая Французская революция, новая Коммуна?!.

Неподалеку от капитана, опершись плечом о фок-мачту, стоит, тоже с сигарой во рту, судовой врач, полный, рыхловатый человек с добрыми и умными глазами.

Луиза не первый раз думает, что доктору Перлие должна быть совсем не по душе работа в плавучей тюрьме. Что же удерживает его на борту «Виргинии», где он вынужден не столько врачевать, сколько наблюдать страдания? А может быть, он пытается облегчить своим участием тяжелую долю изгнанников?

Недели две назад, когда «Виргинию» изрядно трепало на штормовой волне, доктор Перлие ежедневно навещал Рошфора, страдавшего от морской болезни. Рошфор целую неделю не прикасался к еде, скорчившись лежал на полу своей клетки. Тогда доктор настаивал на переводе Рошфора в одну из мичманских кают. Но капитан Лонэ побоялся: а вдруг Рошфор убежит,— кому, как не капитану, отвечать?! Доктор Перлие язвительно усмехнулся: «Да куда убежит?! Океан же кругом».

Но капитан Лонэ остался непреклонным. Он еще не забыл, как на выходе из Бискайского залива, на траверзе мыса Ортегаль, к «Виргинии» дважды пыталось приблизиться неопознанное, без государственного флага на мачтах, судно,— вполне возможно, что кто-то хотел освободить осужденных коммунаров. Нет, капитан Лонэ не может ставить себя под удар! Пусть мятежный журналист, попортивший столько крови бывшему императору и его царственному семейству, остается в клетке!..

Обводя медленным взглядом пустынный горизонт океана, Луиза вспоминает то судно. Капитан Лонэ распорядился тогда дать в его сторону два выстрела, и оно, подрейфовав вдалеке, повернуло к берегам Испании. О, с какой тоской провожала Луиза исчезавший за горизонтом парус!

Женщины ходят по палубе, только Леблан устроилась на бухте каната, держа Жаннет на коленях.

А возле входа в камбуз в тени сидят жены тюремных надзирателей, их цветастые платья и косынки — разительный контраст с однотонной одеждой узниц. Поначалу Луиза поражалась: как можно не только стать женой тюремщика, но и отправиться с ним в далекий путь, чтобы оказаться в каторжной Каледонии? И лишь позже, из случайно услышанных фраз поняла, в чем дело...

Оказывается, когда во Франции набирали добровольцев-тюремщиков, желавших сопровождать этап в Каледонию и остаться там на службе, было объявлено, что семейные надзиратели получат на острове помимо жалованья наделы земли. Многие узнали об этом в последние дни, уже в Ля-Рошели, и тут же бросились бегать по портовым кабачкам, искать себе «спутниц жизни». Так кое-кто из них обзавелся «семьей».

Для большинства этих женщин Луиза и ее подруги — преступницы, «петролейщицы», «керосинщицы», поджигательницы Парижа! Ах, как иногда хочется подойти к ним и крикнуть: «Глупые! Ведь Коммуна боролась и за вас, за то, чтобы вам не приходилось продавать себя по портовым кабакам! Вы — слепые, вы — больше жертвы, чем мы, осужденные на вечное изгнание!..» Но к ним нельзя подойти: начальство боится «тлетворного» влияния Коммуны.

Полуголые, загорелые до черноты матросы сидят вдоль бортов и плотоядно пересмеиваются, провожая взглядами Викторину Горже, креолку с пронзительными карими глазами. Она чувствует мужские взгляды и еще выше запрокидывает гордую голову, она не унывает! Вчера со смехом заявила монахине Бетти: «О да, можете мне, сестрица, поверить, сослали меня не за то, что я перебирала жемчуг! Всласть настрелялась я из шаспо в версальских негодяев!»

Луиза внимательно присматривается к спутницам. Да, никто из них не плачется на судьбу. Лишь госпожа Ле-

руа, красивая блондинка с бегающими глазами, вызывает осуждение Луизы. Каждое утро она в сопровождении сестер-монахинь отправляется на половину команды, где судовой кюре служит мессу. Луиза подозревает, что Леруа делает это отнюдь не из религиозных побуждений, а просто подлизывается к монахиням.

Ага, вон выползает на палубу и преподобный служитель господа бога со своими неизменными атрибутами — Библией и янтарными четками на пухлой, волосатой руке. О, как я ненавижу попов, притворяющихся, будто они и в самом деле верят в несуществующего бога! Ханжи, лицемеры, иезуиты! Когда на улице дю Репо расстреливали федератов, какой-то священник кричал, потрясая зонтиком: «Расстреляйте их всех, господь там разберет, кто виноват, кто прав!»

С презрительной усмешкой Луиза вспоминает, как через день после их вступления на палубу «Виргинии» кюре пытался всучить ей молитвенник в сафьяновом переплете, она тут же, при нем, швырнула книжонку за борт, а ему сказала: «Я не нуждаюсь в заступничестве церкви, служители которой дежурят у каждого эшафота! Я видела слишком много святых отцов, благословляющих убийц!»

А чего ей бояться? Что они могут еще с ней сделать? Они отняли у нее Францию, свободу, Теофиля! Нет уж, увольте от душеспасительных бесед, господин кюре! Вы помогли Версалю отнять у меня многое, но не сможете лишить меня человеческого достоинства и гордости!

Напрягая память, Луиза старается восстановить слова статьи в одной из первых газет Коммуны. «Пусть Коммуна не заблуждается,— говорилось там.— С того момента, как она порвала с церковью, против Коммуны нет клеветы слишком коварной, нет лжи слишком ядовитой, нет злобы слишком жестокой».

Кажется, так писал в одном из своих памфлетов зна-

менитый географ и коммунар Элизе Реклю. Интересно, где он теперь? В какой тюрьме, на какой каторге?..

Нет, она не может спокойно смотреть в деланно-смиренное лицо корабельного кюре, не может видеть его пухлые ручки, неспешно перебирающие янтарные четки.

И лишь одно исключение делала Луиза — ее ненависть не распространялась на аббата тюремной церкви в Версале. Она бесконечно благодарна отцу Фоллей за те записки, которые аббат тайком передавал ей от Теофиля и ему от нее. Это было единственное окошко, через которое она могла тогда дышать!

Ее приводит в себя звон корабельного колокола.

Загорелый матрос два раза бьет в колокол,— с начала прогулки прошло полчаса, нужно возвращаться в клетку.

Сейчас выйдут гулять мужчины, их выводят партиями по пятнадцать человек,— страшатся восстания, бунта, ведь и в самом деле: осужденным на вечную ссылку и каторгу терять и бояться нечего.

Вон и часовые, до сих пор спокойно сидевшие на подпожиях якорных лебедок, очнулись от полусонного состояния, заботливо оглядывают свои шаспо с примкнутыми штыками.

Брось, Луиза, последний взгляд на залитую солнечным светом палубу, на бессильно обвисшие паруса! Как, однако, быстро пролетают полчаса, отпущенные нам капитаном Лонэ! Лонэ все же добрее, человечнее других, командующих военными судами, перевозящими осужденных коммунаров в Кайенну, Ламбессу и Новую Каледонию.

Еще в Сатори и в Версальской тюрьме Луиза слышала от вновь арестованных подробности о рейсах «Данаи» и «Семирамиды». Командир «Данаи» поместил гарибальдийца Амилькара Чиприани, адъютанта Гюстава Флуранса, в трюм под паровыми машинами корабля. В карцере Чиприани стояла такая жара, что несчастный италь-

янец сходил с ума. А на «Семирамиде» двух дерзких ссыльных капитан распорядился привязать к горячим котлам, оба умерли от ожогов. Всего на «Семирамиде» за один рейс умерло от истощения и болезней около сорока человек. На фрегате «Орна», когда он бросил якорь на рейде Мельбурна, из шестисот осужденных половина болела цингой. Узнав о страшном человеческом грузе «Орны», жители Мельбурна прямо на причале собрали деньги, чтобы узники могли купить еды и фруктов. Но капитан отказался принять и передать заключенным дар мельбурнцев...

Нет, Луиза, что ни говори, а вам, на «Виргинии», повезло — ни карцеров, ни наручников, ни раскаленного парового котла,— спасибо капитану Лонэ!

Воспоминания, воспоминания, воспоминания..

Плавание на «Виргинии» так удручающе монотонно, что память непрестанно возвращает к пережитому. Седан, свержение ненавистной Империи, пруссаки в островерхих касках на Елисейских полях, семьдесят два дня Коммуны, кровавая майская неделя, расстрелы, мрачные камеры тюрем.

Все это проходит передо мной, словно я живу второй раз! Нескончаемой чередой возникают перед глазами дорогие лица — Теофиль, Мари, Рауль, Флуранс, Делеклюз! И чаще других — лицо моей старенькой мамы Марианны, которой я, сама того не желая, причинила столько горя!.. Я зову маму Марианной с юности — по имени истерзанной республиканской Франции, хотя в ее метрических записях значится: Мари-Анна.

Пока версальские палачи гноили нас во всевозможных казематах, мама стала совсем седая и руки у нее при свиданиях так дрожали! Но она однажды сказала мне, что гордится тем, что отважные парижане прозвали ее дочь Красной девой Монмартра.

С ужасом думаю, что в свои преклонные годы мама могла бы сейчас плыть вместе со мной на «Виргинии», в зарешеченной звериной клетке. Ведь после последнего боя на Пер-Лашез, когда я, переодевшись, тайком пробралась домой, на улицу Удо, мамы там уже не было!

Потрясенная предчувствием, я выбежала во двор, и там консьержка сообщила мне, что утром нагрянули версальцы и, не обнаружив дома меня, увели мать.

Смутно, словно кошмарный сон, припоминаю, как бегала по горбатым узеньким улочкам Монмартра, стараясь у кого-нибудь узнать, куда увели маму! О, как подозрительно косились на меня вылезшие из своих щелей буржуа с «патриотическими» трехцветными повязками на шляпах и рукавах.

Я боялась, что не найду маму, что палачи расстреляли ее вместо меня. Но счастье тогда не полностью отвернулось от нас, я разыскала ее во дворе 37-го бастиона...

Как давно и как недавно это было, как живы передо мной ее горестные глаза.

«Виргиния» ушла от берегов Франции 10 августа 1873 года.

Обычно первой остановкой военных кораблей, перевозивших осужденных коммунаров из Франции в Новую Каледонию, был порт Дакар, столица французской колонии Сенегал на крайнем западе Африканского материка. Но за неделю до отплытия «Виргинии» в Париж сообщили о событиях в испанском порту Картахене: восставшие против короля инсургенты захватили военные суда. Возникла опасность, что они выйдут в Атлантический океан и на пути к Дакару попытаются перехватить «Виргинию», чтобы освободить французских единомышленников. Именно поэтому адмирал Домпьер д'Орнуа заранее приказал капитану Лонз изменить обычный курс и, сделав оста-

повку на Канарских островах, плыть к берегам Южной Америки и уже оттуда повернуть к мысу Доброй Надежды...

И вот — Канарские острова. Звучит с капитанского мостика команда: «Кливера и марселя убрать!» Звенят, падая за борт, якорные цепи, жадно льнут к пушечным люкам коммунары и коммунарки. Месячное плавание так утомило всех, синее и беспредельное однообразие океана так наскучило глазу! Даже тоскливый крик морских чаек, встретивших фрегат на подходе к островам, отраден для слуха.

Луиза держит на коленях маленького Пьера. Сияющими глазами малыш разглядывает опоясанные зеленью, сбегающие к пенной черте прибоя белые домики, зеленые веерные пальмы, крепостные стены цитадели, стерегущей остров, и за ней — вонзающийся в небо остроконечный пик Тенериф. Он видит лодки, спешащие от берега к кораблю,— полуголые чернокожие люди стоя орудуют веслами и что-то кричат на непонятном языке.

Вот они подплывают ближе, видно, что лодки нагружены чем-то ярко-желтым, оранжевым, красным, зеленым. Это — апельсины, дыни, бананы, ананасы.

Туземцы — сильные, рослые — плавают на лодочках вдоль бортов «Виргинии», весело крича, передают матросам на трапы бакборта и штирборта корзины с фруктами, с обезьяньей ловкостью подхватывают монеты.

Да, капитан Лонэ разрешает осужденным купить апельсинов и бананов, но на палубу никого не выпускают: рядом берег и слишком много кругом лодок! Мало ли что может произойти! Тропические яства покупают для заключенных монахини и жены тюремных надзирателей.

Тем временем с корабля спускают капитанскую шлюпку, и важный Лонэ в белом мундире с золотым шитьем отплывает на берег — представиться губернатору и договориться о пополнении запасов продуктов и пресной воды.

Конвоиры-тюремщики патрулируют по бортам корабля, готовые стрелять по любой голове, высунувшейся из пушечной амбразуры. Но если бы кто-нибудь и попытался бежать и доплыл до берега, это не принесло бы ему свободы,— Канарские острова принадлежат испанской короне, и полицейские чиновники, поймав беглеца, тут же передали бы его слугам Мак-Магона.

Да и море шутить не любит! Вчера, когда «Виргиния» приближалась к острову Пальма, матросы закинули в море сети и вытащили не меньше ста килограммов рыбы. В сетях оказалась акула-молот — страшная, чудовищная на вид: голова и в самом деле напоминала молот, по сторонам — два отростка и на их концах холодные и яростные глаза. Головой-молотом акула таранит жертву, а затем погружается с ней в глубину и там пожирает.

При виде акулы капитан Лонэ чрезвычайно обрадовался, тотчас же приказал снести морское чудище вниз, бросить перед клетками изгнанников — пусть мечтающие о побеге увидят, кто ожидает смельчака, дерзнувшего довериться морю!

И сам капитан не поленился спуститься — на акулу он смотрел почти с нежностью — и пояснить Анри Рошфору, что такие «голубушки» достигают длины четырех-пяти метров. И встреча с ними не сулит добра!..

Но ничего особенного на «Виргинии» в гавани Лас-Пальмас не происходит. Капитан Лонэ возвращается с приема у губернатора веселый и порядком хмельной. Все идет великолепно, завтра «Виргиния» войдет на внутренний рейд, ошвартуется у грузочного причала и в ее трюмы погрузят продукты, а в баки дольют пресной воды.

Для узников — неожиданно тяжелый день: пока идет погрузка, пушечные амбразуры наглухо закрыты плотными деревянными щитами. Всего в десяти — двадцати метрах за бортом фрегата шумит жизнь, звучат гортанные голоса, ревут какие-то животные; железно грохочут пере-

катываемые по трапам бочки, кто-то смеется и поет на берегу.

Анри Рошфор и его товарищи по клетке — Плас и Мессаже — передают женщинам через стражу большую корзину ананасов и дынь,— сегодня все сыты.

Луиза грустно ежится в своем уголке, привалившись спиной к стене, малыш Пьер спит, положив голову ей на колени. Из мужских клеток доносится пение: чтобы заглушить тоску по воле, коммунары негромко поют «Марсельезу» и любимую Парижем песенку о красных гвоздиках — цветах революции.

Медно звенит колокол. Четыре двойных удара, значит — четыре часа пополудни. Так и не удалось сегодня глотнуть свежего воздуха, полюбоваться синевой неба, зелеными кронами пальм на берегу.

Но что это? Веселые голоса и грузные шаги по трапу? Сам капитан Лонэ, все еще в парадном белоснежном мундире, спускается в нашу плавучую тюрьму, его сопровождает лейтенант Аллис. У капитана довольный, добродушный вид, глазки живо и ярко светятся, он, видимо, счастлив, что трудный рейс проходит без осложнений и неприятностей.

Как и обычно, капитан останавливается у клетки Рошфора. Еще в день отплытия «Виргинии» Луиза поняла, что в пути знаменитый журналист будет пользоваться привилегиями, поняла потому, что лишь к нему одному были допущены для прощания дети — двое сыновей-мальчишек и семнадцатилетняя дочь. Детей Рошфора сопровождали депутат Эдмонд Адам и его жена Жюльет Адам, основательница и редактор «Нового обозрения», представительная дама, салон которой посещают все знаменитости Парижа. Именно она намекнула капитану Лонэ, что ссылка Рошфора — пустая формальность, в столице Новой Каледонии, в городе Нумее, капитан Лонэ сразу же по прибытии найдет телеграмму о возвращении Рошфора

на родину. Вот почему капитан Лонэ так благосклонен к бывшему редактору «Фонаря» и «Марсельезы». В тот день госпожа Адам передала Рошфору деньги и кипу газет и журналов.

Капитан Лонэ стоит спиной к женской клетке, Луиза видит мощный затылок и тугие красные складки шеи. Лонэ снисходительно поясняет Рошфору:

— Дисциплина — основа порядка, мосье Рошфор! Завтра выйдем в плавание, и вы снова будете полчаса гулять на палубе. А пока придется примириться.— Он разводит руками, но тут же продолжает: — Однако, мосье Рошфор, я понимаю тягостность подобного путешествия. И вот, посоветовавшись с лейтенантом Аллисом, я готов...

С величественным видом капитан Лонэ поворачивается к женской клетке, покачивающийся фонарь освещает его красное лицо.

— Я разрешаю прогулку женщинам! — великодушно заявляет Лонэ.— Мадемуазель Мишель! Как старосте женского отделения...

Луиза вскакивает и, не дав капитану закончить, перебивает:

— Мосье Лонэ! Если мужчины, наши товарищи по баррикадам, не получат прогулки на палубе, мы отказываемся от нее! Нам не нужны поблажки! Мы полностью разделим с мужчинами все тяготы, на которые нас обрек проклятый Версаль!

Луиза стоит к решетке вплотную, темные глаза горят. Голос звучит решительно и громко, он слышен во всех мужских клетках. И сотни ладоней аплодируют ей.

— Браво, Красная дева! Браво! Ты — настоящий товарищ!

Капитан Лонэ обиженно пожимает плечами. Он никак не предполагал, что «милость», оказанная узницам «Виргинии», будет так дерзко отринута.

— Г-м-м... г-мм... в таком случае... гм-м...— нечлено-

раздельно мычит Лонэ, стараясь, однако, обрести обычное достоинство.— Ну-с, как угодно! Я полагал, что хотя бы ради детей мадам Леблан...

Леблан встает у решетки рядом с Луизой.

— Мои дети не нуждаются в подачках версальских прислужников, капитан! — резко заявляет она.

— Н-да...— раздраженно бормочет Лонэ и, пожав плечами, поворачивается к Рошфору: — Однако неистребим, кажется, бунтарский дух Коммуны, мосье Рошфор, а?.. Но я, собственно, спустился сюда отнюдь не затем, чтобы препираться. Да! Я хочу сообщить, что почты для вас в Лас-Пальмасе нет. Видимо, полагая, что «Виргиния», как и другие суда подобного назначения, посетит Дакар, письма и телеграммы вам посланы туда. Но...

— А когда прибудем в Дакар, мосье Лонэ? — нетерпеливо перебивает Рошфор.

— Мы не пойдем в Дакар! — голос капитана обретает начальственную непреклонность.— Это приказ адмирала. Завтра «Виргиния» возьмет курс на Санта-Катарину, к берегам Бразилии.

— Но, мосье Лонэ!..

— Ни обсуждению, ни тем более изменению приказ не подлежит, мосье Рошфор! Однако, желая утешить вас, презентую вам французские газеты, кои удалось купить в Лас-Пальмасе...

Машинально Рошфор принимает у Лонэ пачку газет; он расстроен, как и другие осужденные. Огорчена и Луиза,— так надеялась узнать о маме, получить весточку от сестры Теофиля.

Капитан Лонэ хочет уйти, но Рошфор останавливает его:

— У меня просьба, мосье Лонэ! Не разрешите ли вы сынишке мадам Леблан проводить часть дня в нашей камере? Посмотрите, какая у женщин теснота. А ведь ребенку необходимо двигаться.

Капитан соглашается.

Так шестилетний Пьер становится тайным почтальоном между мужским и женским «острогами», между Луизой Мишель и Анри Рошфором. А ведь им предстоит еще далеко плыть — «Виргиния» дважды пересечет Атлантику, спустится к льдам Антарктиды, проплывет по югу Индийского и закончит четырехмесячное плавание в водах Кораллового моря, на западе Тихого, или Великого, океана. Записки и газеты, которые будет передавать из камеры в камеру маленький почтальон, помогут осужденным легче перенести монотонность жизни в плавучей тюрьме.

И еще одна трудная и душная ночь. Она тем горше, что с наступлением темноты, когда затихает шум работы в порту, так отчетливы в ночной тишине и поющие вдали голоса, и смех, и звон гитарных струн. Да, свободные люди на берегу смеются, поют, любят друг друга.

Почти до утра Луиза не может уснуть. Не спят и многие другие — ворочаются, стонут, бормочут в полусне.

Рано утром, когда поднимается восточный ветер, на капитанском мостике «Виргинии» раздаются слова команды, слышен топот матросских башмаков, дребезг якорных цепей и скрип ворота, вытаскивающего якоря. А через полчаса качка усиливается,— фрегат вышел из гавани в открытое море. Видимо, сейчас откроют пушечные люки. Да, открывают! И слепящий дневной свет, словно настоянный на расплавленном золоте, сияющим потоком врывается в духоту клеток.

И снова маленький Пьер сидит на коленях у Луизы и с недетской тоской во взгляде прощается с уходящими за горизонт зелеными островами. Теперь долгие, долгие недели не будет вокруг «Виргинии» ничего, кроме синей пустыни океана.

Как и всегда по утрам, монахини сопровождают узниц в умывальню, где они могут ополоснуть лицо и руки —

одна из небольших радостей, которые предоставлены осужденным на корабле. Потом завтрак: кусок вареной рыбы, сухарь, кружка жидкого кофе и, уже сверх тюремного рациона, ломоть ароматной, сочной дыни, тающей во рту и вкусом напоминающей липовый мед.

Вчерашняя песня коммунаров о красных гвоздиках напомнила Луизе стихотворение, сочиненное ею четвертого сентября в день провозглашения Республики, после седанской катастрофы*. И она записывает его на клочке бумаги:

Империи пришел конец! Напрасно
Тиран безумствовал, воинствен и жесток,—
Уже вокруг гремела «Марсельеза»,
И красным заревом пылал восток.
У каждого из нас виднелись на груди
Гвоздики красные. Цветите пышно снова!
Ведь если мы падем, то дети победят!
Украсьте грудь потомства молодого...

После завтрака часовой переводит малыша Пьера в «острог» Рошфора. В худенькой ладошке мальчугана зажата записка Луизы. Она пересылает товарищу свое стихотворение.

Пьера в клетке Рошфора встречают восторженно: почти у всех узников остались в Париже сыновья, малыш напоминает о них. Когда «Виргиния» бросит якоря у берегов Новой Каледонии, между осужденными и их детьми будет больше семи тысяч миль!

«Виргиния» плывет и плывет, а я то любуюсь океаном, то перечитываю переданные мне Рошфором вырезки из газет — перелистываю странички истории...

...Я люблю людей, мне до боли в сердце жалко тех, кто несчастен. Люблю кошек, собак, птиц, лошадей, люблю

* Седанская катастрофа — разгром и сдача в плен французской армии под Седаном во время франко-прусской войны 1870 года.

все живое. Не зря же на улице Удо меня прозвали «кошачьей матерью».

Но, должна признаться, самыми сильными чувствами, обуревавшими меня всю мою сознательную жизнь, были презрение и ненависть. Да, ненависть! Ненависть к узурпатору, терзавшему Францию два долгих десятилетия, ненависть к его камарилье — к упитанным генералам и вельможам в раззолоченных мундирах, украшенных сверкающими звездами и орденами, ко всяким тьерам, макмагонам, галифе, к попам, осеняющим насилие именем бога, вроде его преосвященства монсеньора Дарбуа, архиепископа Парижа. Мне никогда не забыть, как негодовал Теофиль Ферре, когда правительство Тьера отказалось обменять Луи Огюста Бланки, томившегося в тюрьме Фижак, на арестованных Коммуной в качестве заложников монсеньора Жоржа Дарбуа и семьдесят четыре других врагов революции. Подумать только, «вечный узник», «вечный инсургент» Огюст Бланки, приговоренный к смерти, просидел по тюрьмам тридцать семь лет! А он был так нужен, так необходим Коммуне в дни ее становления и борьбы! На предложение Коммуны Тьер воскликнул: «Ха! Этот Бланки стоит целого армейского корпуса! Освободить Бланки — дать революции голову!»

Но я думала о своей ненависти. Как родилась, как окрепла, как закалилась во мне эта ненависть? Отвечая, я, конечно, не могу не вспомнить снова моего дорогого деда Шарля. Вспоминаю двор замка во Вронкуре, где я, кузен Жюль и другие мои ровесники и ровесницы играли «в революцию». За колодцем сооружали из досок и старых ящиков некое подобие эшафота и один за другим гордо поднимались на него,— ведь из рассказов деда мы знали, что все революции и древнего и нового мира неизбежно завершались казнями смельчаков. Да, мы «умирали» за нашу придуманную революцию, а дедушка Шарль, единственный зритель, задумчиво наблюдал за нами...

Позже я научила петь «Марсельезу» своих школьниц, вместо обязательной молитвы мы начинали и завершали день пением гимна революции, научила их ненависти ко всему злому и подлому. Однажды в церкви деревни Оделонкур во время провозглашения кюре здравицы в честь Луи Наполеона, следуя моему примеру, все ученицы громко застучали по каменному полу подошвами деревянных сабо и вместе со мной покинули церковь.

Какими изумленными взглядами провожали нас благочестивые прихожане и сам кюре: неслыханная дерзость — осмелиться открыто выражать неприязнь к императору!

То, что я когда-нибудь угожу на каторгу, мне предрекал и префект Шомона, к которому меня вызвали для очередного внушения: в одном из моих фельетонов цензура усмотрела оскорбление Его Величества. А я и не пыталась скрыть, кого имела в виду, описывая римского тирана Домициана. Однако в тот раз все завершилось благополучно — мне кажется, лишь потому, что префект помнил покойного Шарля Демаи и уважал его. Но он предупредил меня: «В другой раз, боюсь, я не смогу помочь вам, мадемуазель Мишель, и вы отправитесь в Кайенну!» — «Ну что ж,— улыбнулась я в ответ.— Я открою там частную школу!» Да, частную. Потому что преподавать в казенных школах я больше не желаю по той причине, что, поступая на государственную службу, должна присягать узурпатору. Нет уж, увольте! Лучше я в день его кровавого воцарения пошлю ему обличительные стихи!

Да, годы шли, а моя ненависть к императору-узурпатору не убывала, а росла и росла. Я ненавидела все связанное с усатым Баденге *, которого в народе втайне на-

* Баденге — насмешливое прозвище Наполеона III. В 1846 году будущий император бежал из крепости Гам в одежде каменщика Баденге.

зывали «Быком», ненавидела первую даму Империи, бывшую «мадемуазель Монтижо» *, ненавидела их отпрыска, маленького Баденгетика,— в припадке отцовской нежности папаша величал его Наполеоном Четвертым!

...Океан успокаивает. Может быть, потому, что его жемчужно-голубая бескрайность представляется вечной по сравнению с человеческой жизнью. Мы страдаем и радуемся, боремся и умираем, а океан плещется и плещется миллионы лет...

Еще со времен Сатори, моей первой тюрьмы, у меня выработалась привычка отмечать наступление нового дня.

Чаще всего я делала на стене, где-нибудь в укромном уголке, царапины, выделяя среди них крестиками воскресенья и дни свиданий с мамой и Мари Ферре, сестрой Теофиля. Сколько таких царапин оставила я на стенах камер Сатори, Версаля, Оберива, проведя в них около восьмисот дней!

А теперь я карандашной черточкой отмечаю на борту корабля каждый восход солнца. Крестиков нет, ибо нет в нашей плавучей темнице ни свиданий, ни воскресений. Правда, когда «Виргиния» стояла в гавани Лас-Пальмас, я подчеркнула особым значком два дня.

И вот, насчитав на борту почти пять десятков отметин, я могу снова перекрестить последнюю из них: на горизонте узкой синеватой полоской обозначился берег.

— Земля! Земля! Америка! — пьяными от радости голосами кричат на палубе матросы.— Санта-Катарина!

Мы прильнули к пушечным люкам, плотно прижавшись друг к другу. Никогда не думала, что так сильно может взволновать вид приближающейся чужой земли. И живут на этой земле чужие нам люди, говорят на чу-

---

* «Мадемуазель Монтижо» — так нередко французы называли императрицу Евгению, жену Наполеона III, происходившую из испанского графского рода Монтижо.

ком языке и, вполне возможно, даже не представляют себе, за что мы, коммунары Парижа, сражались и умирали на баррикадах!

Но сегодня, кажется, мы не войдем в гавань, ветер почти стих, «Виргиния» плывет все медленнее.

На западе, за далекую полоску земли, опускается багровое, словно выкрашенное кармином солнце. И белые островерхие паруса, едва различимые вдали, тоже становятся красными и удаляются,— видимо, рыбацкие суда, промышлявшие в море, возвращаются к причалам.

Предстоит долгая, тягостная ночь! Но я теперь легче переношу ночи: передаваемые Рошфором статьи помогают мне разобраться во многом, чего я раньше не понимала до конца.

Я ненавидела Наполеона Малого инстинктивно, как ненавидела бы любого деспота на его месте, но я не совсем ясно представляла себе, на чем держится его трон, как этот авантюрист ухитрился после Февральской революции сорок восьмого года получить на выборах шесть миллионов голосов? Неужели душа доверчивого французского народа все еще находилась в плену магической силы имени его знаменитого дяди?

Слышно, «Виргиния» становится на якоря.

Садится солнце, багровый сумрак наползает из углов. В коридоре между «острогами» конвоиры зажигают свет. За блеском ружейных штыков я различаю в клетке напротив Рошфора, Пласа и Мессаже, они тоже возбуждены близостью берега.

Тянется ночь...

Что ж, Луиза, нужно иметь мужество признаться: до восстания и даже во время Коммуны ты многого не понимала. И не ты одна! Ты и твои соратники, ослепленные первой победой, падением Империи и провозглашением

Коммуны, совсем неясно представляли себе будущее. Если бы вы вели себя жесточе, если бы захватили ключевые позиции, победившая Коммуна не могла бы так нелепо погибнуть! Ваша главная беда состояла в том, что врагов своих вы мерили по себе, наделяя их благородством и великодушием, честью и совестью, всем, чего вы требовали от борцов Коммуны, что вносили в Коммуну сами. Вы были великодушны, наивны и доверчивы, как дети, а ваши враги... О, они были дальновиднее и жесточе!

Лежа без сна, глядя сквозь вертикальные прутья решетки на тусклый желтоватый огонек фонаря, мигавший за прокопченным стеклом, Луиза перелистывала в памяти странички прошлого, вглядывалась в вековые дали. Вся история Франции проходила перед ее мысленным взором — напыщенные, величественные Каролинги и Капетинги, Валуа и Бурбоны, бесчисленные Карлы и Людовики, нескончаемые династические войны, восстания и революции, жесточайшее их подавление: казни, казни, казни — костры, виселицы, палаческие топоры, пули и, наконец, гильотина. Прогресс! Вершина!..

Луиза почувствовала, что заснуть не сможет. Нащупав под соломенной подушкой переданную ей Рошфором пачку газетных вырезок, постаралась рассмотреть шагавшего мимо камеры часового. Они, тюремщики, тоже разные — одни на своем дежурстве позволяют разговаривать и смеяться, напевать песенки времен Коммуны, другие накидываются с окриками и угрозами, требуя рабского подчинения тюремному режиму.

Осторожно, чтобы не потревожить спящих, Луиза пробралась к решетке. Нет, часовой не гаркнул, не приказал вернуться на место. Луизе даже почудилось, что он хотел о чем-то спросить ее, но, спохватившись, промолчал и прошагал дальше.

Рошфор передавал Луизе не только те газеты и журналы, в которых сотрудничал сам. В ее руки попадали

статьи различной политической ориентации, начиная от махровых монархических до крайне левых, открыто звавших к борьбе. Два-три года назад Луиза, пожалуй, сочла бы такую «всеядность» Рошфора достойной осуждения, но после поражения Коммуны стала думать иначе: для борьбы с врагом необходимо его знать.

Правда, кое-что в поведении Рошфора все же не нравилось Луизе. Так, например, еще в Париже она знала, что он не раз переходил из лагеря республиканской прессы в лагерь «Фигаро» и других изданий не слишком-то чистоплотного дельца Огюста Вильмессана, а через какое-то время вновь возвращался на покинутые позиции. Поговаривали, будто в таких переходах Рошфора решающую роль играла сумма гонорара, которую приносила журналисту его деятельность... Но, кто знает, может, клевета? Кого из противников политические недруги не поливали грязью?

Вплотную прислонившись к решетке, чтобы на развернутые газетные полоски падало больше света, Луиза принялась вчитываться в ускользавшие от взгляда строчки.

Ага, это кажется о нем, о ее «любимой ненависти», о Луи Бонапарте, хотя сейчас его судьба почти перестала Луизу интересовать: пусть и не полностью, но узурпатор получил свое — немыслимый позор и плен Седана! С какой предельной ясностью обнажилась вся ничтожность этого человечка, возомнившего себя полубогом! Трон рухнул. «Человек с косыми глазами воображал, что он вечен, но стена между тем уже давала трещины, и наконец сквозь брешь Седана победоносно вошла революция!» — когда-то записала Луиза в свою памятную тетрадь... Но после Баденге на авансцену Франции повылезали новые ничтожества, поочередно объявлявшие себя спасителями государства и благодетелями народа: тьеры и трошю, мак-магоны и галифе!

И все-таки любопытно — что пишут о свергнутом узур-

паторе? С трудом переводя взгляд от строки к строке, Луиза разбирала не слишком-то отчетливый типографский текст.

«Конституция назначила Бонапарту содержание в 600 000 франков. Не прошло и полугода со времени его вступления на пост президента, как ему удалось увеличить эту сумму вдвое... После 31 мая Бонапарт... потребовал у Национального собрания цивильный лист в 3 миллиона франков в год».

А национальные гвардейцы Парижа получали по полтора франка в день, едва-едва хватало на хлеб и миску лукового супа. Их неработающие жены получали наполовину меньше — по семьдесят пять сантимов в день! И рабочие на фабриках и заводах зарабатывали не больше — те же сто пятьдесят сантимов, или тридцать су,— в восемь тысяч раз меньше, чем требовал ежедневно за свои «труды» Баденге! Женщины получали вообще гроши. В конце рабочего дня валились с ног, падали в голодные обмороки. Не дожив до тридцати лет, многие умирали от истощения в больницах для нищих.

А собственно, Луиза, что изменилось после Баденге? Империя свергнута, снова во Франции республика, а разве народу легче, лучше? О нет, народ при Третьей республике * мучается так же, как мучился при Второй империи. А тебя и твоих товарищей республика гонит на каторгу теми же путями, какими ваших предшественников гнала Империя,— в Кайенну и Каледонию! Ничто не изменилось, кроме вывесок, наименований и внешних атрибутов власти. За что же отданы тысячи человеческих жизней, за что пролито столько крови?!

Вспомнился Эмиль. Он часто вспоминался Луизе в эти годы, потому что был частицей, осколком бесславно сги-

* Третья республика — так называлась Франция после свержения империи Наполеона III.

нувшей империи, ее слугой и, если хотите, ее жертвой, пленником, не имевшим сил стряхнуть с себя ее липкую, ядовитую паутину.

Сейчас Луизе казалось странным, что она не сразу выставила за дверь этого прихвостня империи, украшенного орденами и аксельбантами, не спустила с лестницы, ведущей на ее мансарду. Ах, да, наивная и глупая, ты надеялась обратить заядлого бонапартиста в республиканскую веру, думала, что он станет поклоняться твоим божествам — Свободе, Равенству, Братству? Как же часто ошибалась ты в людях, Луиза, как много готова была прощать, обманывая и позволяя обманывать себя!..

Последний раз они с Эмилем разговаривали в комнатке Луизы, на улице Удо. Луиза возбужденно ходила из угла в угол, а Эмиль сидел в стареньком кресле у едва теплившегося камина, как всегда самоуверенный и самодовольный, поставив между колен свою офицерскую саблю и скрестив руки на ее эфесе.

— Ха, император! — презрительно усмехалась Луиза, щуря темные горящие глаза.— Полководец, завоеватель, сла́ва Франции! А вы объясните мне, на кой черт нужна была Франции Мексиканская экспедиция? Зачем, во имя чего воевали в Китае, сражались с Россией? Что нам там было нужно? А сорок восемь часов бомбардировки беззащитного Рима! Да разве такое можно простить?!

Выпрямившись, Эмиль сидел неподвижно, но его внимательные глаза не отпускали Луизу, перебегали за ней от дверей к окну, от окна к столу. Когда она замолчала, Эмиль заговорил терпеливо и назидательно, как разговаривают с заупрямившимся и неразумным ребенком.

— Вы не правы, Луиза, вы рассуждаете как дитя. Крымская война с Россией вернула Франции былую славу. Севастополь, считавшийся неприступным, после трехсот сорока девяти дней осады вынужден был покориться. Это прекрасно! Россия по Парижскому договору затопила

свои военные корабли и лишилась права держать в Черном море военный флот и иметь крепости! Вот так-с! Одним могущественным соперником у Франции стало меньше! Это реванш за Ватерлоо, за остров Святой Елены, за полувековое унижение!

Луиза стояла напротив Эмиля и в упор смотрела на него.

— А за что вашего Баденге высылали из Франции в Америку? За что заключили в крепость Гам, откуда ему волею случая удалось бежать? А?

Эмиль снисходительно пожал плечами.

— О, опять вы не понимаете главного, Луиза! Луи Бонапарт пытался вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву наследования. А побег из Гама! Господи боже мой, да этот побег как раз и подтверждает преданность простого народа Луи Наполеону! Каменщик Баденге, рискуя быть жестоко наказанным, передает свою одежду царственному узнику...

— Ложь! Убеждена, ложь! — вскричала Луиза.— Вероятно, бедняга каменщик вынужден был продать одежду вашему «царственному узнику» за кусок хлеба для семьи! Или его куртку просто украли!

Эмиль устало вздохнул, откинулся на спинку кресла, всем видом показывая: как же бессмысленно спорить с женщиной!

— Ну хорошо,— продолжала Луиза, медленно приближаясь к креслу Эмиля.— А те десятки тысяч французских могил, что остались под Севастополем и Евпаторией, в Мексике и Индокитае? Те сотни женщин и детей, что погибли при бомбардировке Рима французскими пушками,— они ни к чему не взывают, Эмиль?! А осиротевшие во Франции ребятишки, разве они ничего не тревожат в вашем сердце? Каждый день я прохожу мимо церквей Сен-Жак и Нотр-Дам-де-Лоррет. На их папертях вымаливают милостыню сироты тех, кто неведомо за что погиб

в России, Китае, Мексике! Вы никогда не чувствовали ответственности за искалеченные жизни?! А?!

Казалось, она готова кинуться на собеседника, как кошка, как тигрица. Эмиль растерянно пожал плечами.

— Ах, Луиза!.. Вы не в силах подняться до патриотической...

— Молчите! — перебила Луиза.— Не оскверняйте таких слов, как патриотизм, отечество, родина! Вы со своим самозваным императором думаете прежде всего о себе, о собственных успехах, о наживе! Вы готовы, как шлюху, продать несчастную Марианну всякому, кто вам больше заплатит!

Привлеченная громкими голосами, в дверь обеспокоенно заглянула мать Луизы, и девушка постаралась взять себя в руки. Нервно прошлась по комнате. Эмиль неопределенно улыбался, бережно ощупывал отливавший бриллиантином пробор.

— Ах, Луиза,— негромко и мягко заговорил он, явно ища примирения.— Вы — женщина, милая, обаятельная женщина, вам не дано судить о войнах. Войны — дело мужское. Не обижайтесь, не сверкайте глазами. Я представляю себе, как вам подойдет роль любящей матери, склонившейся над колыбелью. А войны — оставьте сие жестокое дело нам, мужчинам, Луиза. Поверьте, мы сумеем защитить наши семейные очаги и обеспечим Франции такое высокое положение в мире, какое она заслуживает... Вы представьте себе... я возвращаюсь из похода, усталый, запыленный, и вы встречаете меня на крыльце с нашим малюткой на руках...

Несколько секунд Луиза пристально всматривалась в холеное лицо Эмиля, потом, словно крадучись, подошла к креслу и, низко склонившись, шепотом переспросила:

— Нашим малюткой?! — И, запрокинув голову, безудержно расхохоталась. Но сейчас же подавила приступ неуместного веселья и тихо сказала: — Ну хорошо, Эмиль,

я выйду за вас замуж, если вы выполните единственное мое желание...

Она видела, как краснело под ее взглядом чисто выбритое лицо, как наливались радостью смотревшие на нее глаза.

— Все! Все, Луиза! — восторженно вскричал он, вставая.— Говорите же! Я сделаю все!

Она отступила, непонятно медля с ответом. Он смотрел с нетерпеливым ожиданием.

— Хотя я и не очень жажду стать в будущем генеральшей,— со странной усмешкой протянула Луиза,— я обещаю выйти за вас замуж, если...

— Да говорите же! Говорите, Луиза! — повторял он, делая шаг к ней.

— Убейте императора!

Эмиль отшатнулся, словно его ударили, лицо покрылось меловой бледностью, пушистые усики обиженно задрожали.

— Вы... вы с ума сошли, Луиза! — едва шевеля губами и пятясь, прошептал он.— Какая жестокая... шутка...

— Это не шутка!

Не спуская с нее пристального и в то же время растерянного взгляда, Эмиль пятился к двери. И уже стоя на пороге, обретя мужество и достоинство, подобающие офицеру императорской гвардии, натягивая белые лайковые перчатки, посмотрел на нее последний раз — холодно и настороженно.

— Прощайте.

Отсчитывая ступени, позвякивали на лестнице шпоры.

А Луиза, не в силах сдержать гневное и яростное озорство, которое изредка овладевало ею, подбежала к двери и, держась руками за косяки, перевесилась на лестницу и крикнула в обтянутую мундиром спину:

— Если пойдете доносить, не забудьте: улица Удо! Дом двадцать четыре!

И вернулась в комнату. И сразу почувствовала странное бессилие, захотелось сесть, отдохнуть. Но сесть в любимое кресло, где только что сидел Эмиль, не могла. Присела к письменному столу, подперла голову руками...

...Лежа на соломенном матраце, прислушиваясь к монотонному плеску ночной волны за бортом «Виргинии», Луиза с усталой улыбкой вспоминала этот завершившийся скандалом «роман», вспоминала молодых чванливых шомонских буржуа, делавших ей лестные предложения — стать «вечной спутницей жизни». Эмиля она так и не встречала больше, хотя в дни Коммуны, во время майских боев, и могла бы встретить — по другую сторону баррикады. Забавно, не правда ли?..

И, уже засыпая, припоминала дерзкие шуточки, которые изредка позволяла себе... Еще в Шомоне, на парадном входе в дом важного имперского чиновника, папаши одного из ее «женихов», несколько раз, под покровом вечерней тьмы, рисовала мелом или углем огромную ослиную голову. Шум, поднимавшийся утром у респектабельного подъезда, доставлял ей прямо-таки наслаждение! Позже, в Париже, забавлялась тем, что украдкой рассовывала по карманам полицейских или досточтимых буржуа листочки с республиканскими стихами собственного сочинения, а однажды даже ухитрилась прицепить на спину ажану, явившемуся на улицу Отфейль, лист бумаги с надписью: «Долой полицию и Империю!» Правда, за последнюю выходку Теофиль серьезно побранил ее,— ну кому нужна дурацкая бравада, бессмысленный риск, который не убавит престижа и силы ненавистной Империи, а для Луизы может закончиться годами тюрьмы?..

Сонно, стеклянно плещется у бортов «Виргинии» вода океана, трепещет за решеткой тусклый огонек в фонаре, мерно звучат в коридоре шаги часового, изредка падают

в тропическую тишину ночи медные капли колокольных ударов,— вахтенный матрос отбивает склянки. Тяжело дышат во сне и вздыхают женщины.

А дальше!.. После многих недель тропической жары Атлантики, после того, как далеко на севере остался мыс Доброй Надежды, повеяло холодными ветрами Антарктики. Единственная радость — прогулки по палубе — стала почти невозможна из-за холода, ледяные сосульки сталактитами висели на реях и вантах, на крюйс-брамселе и на брам-стеньге. А Луиза давно уже раздарила свое «приданое Мак-Магона» другим арестанткам и теперь ходила на прогулку в драных полотняных туфлях на босу ногу. И даже капитан Лонэ не мог не обеспокоиться этим. Однажды, в то время как женщины гуляли на палубе, он спустился к клетке Рошфора и, запинаясь от несвойственного ему смущения, сказал:

— Она же погибнет, эта сумасшедшая! Но от меня она не примет ничего, я знаю. Передайте, мосье Рошфор, ей эти туфли от себя, дескать, их у вас забыла при прощании ваша дочь...

Да, Луиза два дня носила подаренные ей туфли, но на третий день Рошфор и капитан Лонэ увидели их на ногах мадам Леблан. Луиза же снова ходила в драных полотняшках на деревянной подошве и присылала Рошфору стихи:

Падает снег, хмуро катятся волны.
Мрачно небо, и воздух режет лицо, как лед.
Корабль скрипит под напором стихии,
И кругом полутьма, полусвет.
Люди страшатся, что их одолеет полярный хлад,
И в царстве льдов им вспоминаются родные песни,
Песни зеленых долин милой Бретани
И воинственные напевы минувших времен... *

* Стихотворения Луизы Мишель даются в подстрочном переводе.

Да, здесь, в южных широтах, дни тянулись еще тягостнее, чем в Атлантике. Но скоро конец утомительному плаванию, скоро — Новая Каледония! А пока...

Воспоминания, воспоминания, воспоминания...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

„Долгая ночь Империи"

Собственно, с чего же начался для Луизы Париж в тот давний день, когда она, робкая провинциалка, поддерживая под руку маму Марианну, впервые вышла из омнибуса на площади Бастилии?

Это было символично, что знакомство с Парижем началось для нее именно с той площади, о которой ей так много рассказывал дедушка Шарль и посреди которой в течение пяти веков оплотом деспотизма возвышалась, устрашая Париж, чудовищная каменная громадина Бастилии. Никто никогда не узнает, сколько драгоценных жизней сглодали ее каменные челюсти!..

Сейчас на месте мрачной крепости-тюрьмы взметнулась колонна, увенчанная позолоченной фигурой крылатого гения Свободы,— в ее подножии тлеют останки героев тридцатого и сорок восьмого годов, имена их выгравированы на колонне. Но в память о недобром прошлом зловещими черными камнями выложены на площади очертания снесенной народом темницы.

Луиза стояла и пыталась представить себе, как в годы юности старшего Демаи здесь десятки тысяч людей самоотверженно бросались на штурм династической твердыни Валуа и Бурбонов. Вот на эти камни падали мертвые, и их кровь пламенела на серых плитах.

День выдался удивительно ясный, прозрачный. Купол собора на той стороне площади блестел, словно по нему стекали струи расплавленного серебра.

Сотни парижан и парижанок торопливо бежали по своим делам, не обращая внимания на тоненькую темноглазую девушку. А она всматривалась в открывающийся ей тысячелетний город и благодарила судьбу за то, что был в ее жизни старый дед, который когда-то, взяв ее за детскую ручонку, водил по многовековой истории Франции...

— Что, Луизетта? — спросила Марианна, поглядывая на дочь из-под туго накрахмаленного чепца.— Тебе нехорошо, девочка?

— О нет, мама! — отозвалась Луиза.— Я узнаю Париж!

— Узнаешь? Но ты же здесь никогда не была!

— Он всегда жил в моем сердце, мама!

Это было летом 1851 года.

Луиза тогда только что окончила курсы в пансионате мадам Дюваль в Ланьи, получила диплом учительницы. Она и уговорила мать съездить в Париж, поклониться великому городу, его камням, его святыням. Она так давно, еще при жизни деда, мечтала побывать в Париже, где сейчас жили Гюго и Дюма, Беранже и Бодлер, где недавно уснули вечным сном Стендаль и Бальзак!

Маму не пришлось уговаривать; у нее были кое-какие сбережения, а Луизетта с осени начнет зарабатывать, почему бы и не побаловать единственную дочку? Да и самой Марианне Мишель, никогда не бывавшей дальше Шомона, любопытно было посмотреть величественный город, по праву стяжавший славу «столицы мира».

И вот, Луиза, Париж! Дворцы, поражающие гармонией линий, величественностью скульптур и роскошью отделки; соборы, пронзающие шпилями облака; одетая серым гранитом Сена; средневековая готика Нотр-Дам; бесчисленные Людовики и Карлы, скачущие на бронзовых и чугунных конях из века в век!

Луиза бродила по Парижу в одиночестве, ее вело невыразимое словами желание смотреть, впитывать аромат

неповторимого города, дышать его воздухом, подмечать на изъеденных временем камнях отметины истории.

В Лансьи, к одной из подружек Луизы по пансионату, Терезе Бруссэ, как-то приезжал из Парижа брат, художник, поклонник и ученик знаменитого Курбе. Вспыльчивый, экзальтированный, с худым лицом, обрамленным каштановой бородкой, Камилл много рассказывал Луизе о последней революции. Процарствовавший около восемнадцати лет, до полусмерти перепуганный восстанием, Луи Филипп отрекся от трона и бежал в Англию. Но... революция не победила: после яростных сражений восторжествовали сторонники нового узурпатора — Луи Наполеона. По словам Камилла, в Париже в конце июня произошло такое чудовищное избиение восставших, равного которому город не знал за всю свою историю.

— О, вы, мадемуазель Луиза, не представляете, на что способны рвущиеся к власти ничтожества! — Камилл встряхивал падавшими на плечи волосами и размахивал коротенькой вересковой трубочкой.— Ведь Луи Бонапарт уже не раз пытался вскарабкаться на трон покойного дядюшки. Он, видите ли, считает себя единственным наследником Наполеона, а всех прочих претендентов — самозванцами и мошенниками. Страсбургский и Булонский заговоры кончились для него худо: первый — высылкой в Америку, второй — пожизненным заключением в крепость Гам. Но из Гама ему удалось бежать. И вот, когда обезумевший от страха Филипп показывает французскому народу царственный зад, Баденге — здесь! Да, он мечтает о своем восемнадцатом брюмера! Но его час еще не пробил! В феврале сорок восьмого народ отдает свои симпатии и доверие Бланки, Распайлю, Барбесу, республиканцам. А в июне генералы Кавеньяк и Клеман Тома по приказу Луи Наполеона расстреливают народ на улицах и площадях Парижа. Ты-ся-чи! Уже после окончания боев убито одиннадцать тысяч! Восстание раздав-

лено, и новый Бонапарт становится президентом! Мне до сих пор снятся те дни, и я просыпаюсь от собственного крика...

Камилл до провалов в щеках затягивался трубочкой. Его потертая бархатная куртка была испачкана красками — охрой, суриком, киноварью, а Луизе представлялось, что это — следы крови.

— И поверьте слову, мадемуазель Луиза,— сказал ей Камилл перед отъездом,— июнь не конец! Баденге — падаль, возомнившая себя Цезарем, ему недостаточно президентства. Он еще прорвется к единовластию! Если даже ему придется шагать по миллионам трупов!..

Вот об этих словах и вспоминала Луиза, бродя по набережным и улицам Парижа, браня себя за то, что не взяла у Терезы здешнего адреса Камилла. Она знала лишь, что он живет где-то на Монмартре, давнем прибежище нищих художников, вряд ли, не зная адреса, удастся его найти. Хотя, возможно, там знают мастерскую Курбе. В прошлом году во всех газетах писали о его картинах «Дробильщики камня» и «Похороны в Орнане»...

Долго стояла перед зданием Ратуши, затем медленно двинулась по правому берегу Сены на запад, мимо строгого Лувра и похожего на колоссальный шоколадный торт Тюильри, перешла по мосту Согласия на левый берег и, замедляя шаги, прогулялась по набережной д'Орсей, разглядывая колонны и величественный портик Бурбонского дворца.

Вдоль фасада четко шагали вымуштрованные гвардейцы в красно-синих мундирах — охраняли новоявленных властителей государства... Интересно, что эти, новые, принесут Франции? Если будут продолжать так, как начали в июне, то... Неужели Камилл прав и страну снова ждут испытания и невзгоды?..

В тот, первый, парижский приезд она побывала на площадях Вандомской и Конкорд, пытаясь представить

себе, как здесь из-под треугольного ножа только что изобретенной гильотины упали в корзину царственные головы Людовика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты, как мужественно встретили здесь смерть Робеспьер и Дантон...

Сейчас на площадях было удивительно спокойно и тихо. Мирно разгуливали и перепархивали тысячи голубей,— дети, старики и старушки кормили птиц зернами и хлебными крошками. Стеклянно щебетали фонтаны, их струи изгибались в лучах солнца многоцветными радугами.

Да, Париж! Не надоест смотреть, не надоест слушать!

Но было в городе и еще одно, заветное для Луизы место — бывшая Королевская площадь, три года назад переименованная в площадь Вогез,— там жил Виктор Гюго! Луиза и сама еще не знала, решится ли посетить известного всему миру поэта и романиста, академика и пэра Франции, члена Законодательного собрания Второй республики.

Необходимы были и дерзость, и решительность, и известная вера в себя, чтобы поднять руку к бронзовому молотку, висевшему перед резной дубовой дверью! Но в кармане жакеточки Луизы шелестели странички присланных ей некогда писем: Гюго с похвалой отзывался о ее стихах, благословлял на творческий путь! А вдруг увенчанный славой великий мэтр не позабыл темноглазую девочку из департамента Верхняя Марна, где он навешал покойного Шарля Деман? Ведь он тогда не раз клал ей на голову свою широкую ласковую ладонь, а она играла ему на фортепьяно «Марсельезу».

И все же не один круг сделала Луиза по старинной площади, посреди которой гарцевал на бронзовом коне Людовик Тринадцатый. С опаской посматривала на окна третьего этажа, прикрытые бархатными шторами, не сразу подняла к бронзовому молотку руку. Но — подняла!

Дверь открыла толстая седая консьержка в очках и на несмелый вопрос Луизы пожала плечами.

— О, мадемуазель! Неужели не знаете? Мосье Гюго не живет здесь уже три года! Это известно в Париже каждому!

Старуха рассматривала молоденькую провинциалку почти с жалостью, но, на счастье Луизы, оказалась словоохотливой и к тому же любила похвастаться знакомством с великим человеком.

— О, супруга мэтра, госпожа Адель, тогда все рассказала мне! — гордо изрекла она, складывая на могучей груди багровые руки.— Да я и сама была свидетельницей непростительного кощунства!

— Какого кощунства?!

И снова толстуха посмотрела с нескрываемым сожалением и, шумно вздохнув, распахнула дверь.

— Входите, мадемуазель! Я расскажу вам все!

Так Луиза узнала, что три года назад, в дни июньского восстания, двадцать четвертого, Гюго отправился на заседание Ассамблеи, и там депутат Белле сообщил ему, что Королевская площадь охвачена пожаром, какие-то негодяи, проникнув из переулка Гемене в дом № 6, подожгли квартиру Гюго. К счастью, Белле оказался рядом и помог мадам Адель Гюго укрыться в безопасном месте. «Сейчас, Виктор, ваша семья находится у трубочиста Мартиньони. Знаете дом на углу с аркадами? Вот там».

Охваченный страхом за сыновей, Гюго на случайно подвернувшемся фиакре домчался до Королевской площади. К счастью, никто из его близких не пострадал.

— А ведь вы, мадемуазель, видимо, и того не знаете, какое ужасное горе перед этим постигло мосье Гюго? — с блестящими от слез щеками продолжала консьержка.— О, я никогда не забуду проклятую осень сорок третьего! Представьте — на Сене перевернулась яхта мосье Шарля Вакери, мужа незабвенной Леопольдины, любимой доче-

ри мэтра! О, какой то был ужас, у меня нет слов! Шарль пытался спасти жену, и они утонули в объятиях друг друга. Если бы вы видели в те дни мосье Виктора! Воплощение страдания! Я думала, он не переживет, клянусь всевышним! К счастью, у него остались сыновья...

Старуха вытерла платочком глаза и, немного успокоившись, спросила:

— Вы пришли к мосье со стихами? Да? К нему многие приходят, и он не отказывает никому. О, у него поистине великое сердце! А живет он сейчас, мадемуазель, на улице Тур-д'Овернь, на южных склонах Монмартра. Там хорошо, тихо, зеленые сады, трава прямо на улице...

После долгих колебаний Луиза все же решила отправиться на Монмартр.

Взлохмаченный лобастый человек встретил ее на пороге залитой солнечным светом комнаты, набитой книгами от пола до потолка. В глубине виднелся заваленный газетами и листами бумаги письменный стол, в костяном бокале белели гусиные перья. Тускло поблескивала на столе медь подсвечников, а в затененном углу розовел мрамор женской фигуры.

Луиза мгновенно оглядела Гюго. Увы, он постарел, ее кумир, под пронзительно острыми глазами обозначились мешки, чуть обвисли щеки, а губы сжались жестко и скорбно.

Гюго, прищурившись, с любопытством взирал на посетительницу. Горничная, открывшая Луизе дверь, с ожиданием смотрела из передней.

— Что угодно, мадемуазель? — спросил Гюго.

Не узнал!

Луиза молча протянула письма, адресованные ей на Вронкур. Он взял, не спуская с Луизы чуть иронического, но довольного и понимающего взгляда,— ему, «королю поэтов», конечно же частенько приходилось принимать дань немого девичьего восхищения и обожания.

Мэтр бегло читал собственное послание, а Луиза вспоминала ощущение, испытанное сегодня, когда бродила по нефам Нотр-Дам, украшенным чудесными цветными витражами. Там ей мерещилось, что из какого-то темного угла за ней неотступно следят налитые болью глаза Квазимодо, что вот-вот откуда-то выпрыгнет белая козочка и следом появится Эсмеральда.

Пробежав письмо, Гюго кивнул горничной и, отступив в глубину кабинета, сделал рукой с письмом приглашающий жест:

— Прошу!

Так она вступила в святилище, пахнувшее кожаными переплетами старых книг, воском свечей и сигарным дымом.

— О, мосье! Я помешала?!

Он махнул рукой, словно говоря: что же поделаешь?

— Э-э-э... Мадемуазель, мадам?

— Я не замужем, мосье. Меня зовут Луиза Мишель.

Он вдруг остановился, рывком повернулся к ней и, наклонившись, пристально всмотрелся. А выпрямившись, яростно хлопнул себя ладонью по могучему лбу.

— Вронкур! Шарль Этьен Демаи! Да?

— О, да, да, мосье!

— Маленькая девочка играла на фортепьяно «Марсельезу», читала мои стихи! Да? А потом...

И, не дожидаясь ответа, шагнул к одному из шкафов, принялся рыться в пачках писем.

— Вот! — приблизив исписанные листки к глазам, прочитал: «Если бы я не писала вам, я не смогла бы вынести жизнь!» Это вы писали мне после смерти деда?

— Да, мосье.

Бросив письмо на стол, Гюго шагнул к Луизе, обнял, на глазах у него блеснули слезы.

— Как же я не узнал сразу?! Ах, бедный Шарль Этьен! Он так мечтал дожить до нового революционного

взрыва! Да садитесь же, Луиза! Садитесь! О как беспощадно время!

— Я благодарна вам, мосье, я счастлива! — только и смогла ответить она.

Успокаиваясь, Гюго зашагал по кабинету.

Его самолюбию явно льстили почти детская растерянность гостьи, ее робость и восторженность: он был неравнодушен к пьянящему фимиаму славы.

Позже Луиза никак не могла восстановить в памяти последовательность всего разговора с Гюго. Запомнила ласковый и горячий блеск глаз, тепло широкой и сильной ладони,— на ходу прикоснулся к ее руке. Когда он перехватил восхищенный взгляд, брошенный ею на роскошный, с золотым тиснением, том «Собора Парижской богоматери», он печально, но довольно сказал:

— Да, мадемуазель! Писатель лишь создает книгу, а общество либо принимает ее, либо хоронит! Автор — творец книги, но творец ее судьбы — общество!

— Блистательной судьбе вашего «Собора» нельзя не завидовать! — восторженно улыбнулась Луиза.

Она сидела на диване, теребя вышитый бисером ридикюль, а Гюго крупными и неслышными — она подумала «львиными» — шагами расхаживал по кабинету и говорил, горячо сверкая пронзительными глазами. Рассуждал о поэзии, перемежая речь строфами своих и чужих стихов, рассказывал о детских годах, проведенных на Эльбе и в Испании, о свергнутом короле Луи Филиппе, о Второй республике.

Луизе было странно, что великий человек снисходит к провинциальной девушке до беседы о политике, но вскоре она поняла, что ему безразлично, с кем говорить, лишь бы говорить, так изболелась у него душа. Она, однако, не совсем понимала, почему он, сын наполеоновского генерала, пришелся ко двору Луи Филиппа и с двадцати лет получал из рук короля ежегодную «пенсию» в две

тысячи франков, что именно король Филипп удостоил его звания пэра. И еще ее поражала необузданная ненависть, с которой Гюго поносил Луи Бонапарта, с какой говорил о растущем влиянии Баденге, о возможности цезаристского переворота. И это наполнило ее гордостью и радостью: они думают и чувствуют одинаково!

По возвращении из Парижа, когда она учительствовала в селениях Верхней Марны, Луиза с жадностью ловила известия о событиях в столице. Так она узнала, что Виктор Гюго в дни декабрьского переворота сражался на баррикадах, а после разгрома восстания покинул страну и живет в изгнании, на английских островах не то Джерси, не то Гернси, где-то в проливе Ла-Манш.

Но в тот памятный день им помешали договорить. Явился некий величественный, седокудрый старец, Гюго необычайно обрадовался ему. Луиза поняла, что время, подаренное ей милостивой судьбой, истекло. Провожая ее до порога, Гюго сказал:

— ...Если девочка все же посвятит себя поэзии, ей необходимо переезжать в Париж! Только в Париж, в Мекку поэтов. И помните, дорогая: двери моего дома открыты для вас всегда! И еще не забывайте: поэзия капризна, как красивая и гордая женщина, она не прощает тем, кто поклоняется двум богам! Вам предстоит, Луиза, трудный, но неизбежный выбор!..

Однако прошли долгие пять лет, прежде чем ей удалось последовать совету Гюго и перебраться в Париж. Здесь сначала учительствовала в пансионате мадам Вольер на Шато д'О, а когда Марианна продала во Вронкуре клочок земли, завещанный им Шарлем Демаи, Луиза сама открыла школу для девочек на Монмартре, на улице Удо. На первом этаже — школа, а на втором — Луиза с мамой Марианной и помощницей по школе, болезненной мадемуазель Пулен.

Школу Луизы посещали дочери монмартрских бедняков: каменщиков и зеленщиц, прачек и угольщиков, швей и фонарщиков, служанок из дешевых кабачков и ночных извозчиков. С девочек Луиза взимала мизерную плату, лишь бы хватало на жизнь ей, матери и Пулен, а иногда и совсем отказывалась от платы, если семья девочки не могла платить...

— Ну что ж, Сидони,— говорила в таких случаях Луиза,— когда твои родители разбогатеют, ты отдашь мне все сразу. Согласна?

— О, вы так добры, мадемуазель Луиза! Но вы сами...

— Ничего, Сидони! Придет время, и все бедные станут богатыми!

— Вы верите, мадемуазель Луиза?

— Конечно, девочка! Жизнь лучших людей Франции посвящена борьбе за это! И ты, милая Сидони, верь: тебе предстоит жить в мире справедливости и богатства для всех!

Дни она проводила со своими ученицами, а вечерами посещала лекции и курсы на улице Отфейль. Ненастные вечера просиживала в библиотеке Святой Женевьевы в Латинском квартале или дома, за бюро, у камина, писала стихи, поэмы,— многое удалось опубликовать,— тогда-то она и вступила в «Союз поэтов».

А Марианна занималась немудреным хозяйством и, с грустью поглядывая на дочку, украдкой вздыхала.

— Ты что, мама? — беспокоилась Луиза.

— Ах, Луизетта, Луизетта! — покачивала седеющей головой Марианна.— Мне хочется, дочка, понянчить твое дитя. Я все жду, когда выйдешь замуж.

— Ой, мама! Я же тебе сто раз говорила: мой жених убит на баррикадах в сорок восьмом!

— Все шутишь,— с укором замечала мать.— А дни идут и идут. И не остановишь их и потом не вернешь!

— Оставь, мама! — всерьез сердилась Луиза.— Ты же

знаешь, я никого не люблю! А брак без любви... прости за грубость, мама, но, по-моему, нет разницы между проституцией и подобным браком!

Марианна Мишель печально умолкала: ну что она могла ответить? Сама она в молодости была прямо-таки красоткой, мужчины и сейчас нет-нет да и поглядывали ей вслед, подкручивая ус. А Луиза хотя и обаятельная, живая, умная, но некрасивая девочка, еще во Вронкуре и Шомоне Марианне не раз приходилось слышать: «Неужели Луиза ваша дочь? Ни малейшего сходства!» И Марианне нечего было ответить, она и сама не могла понять, как такое «чудо наоборот» произошло? Она лишь благодарила судьбу, что та послала ей дочь, последнее утешение на старости лет.

Да, дни шли, сливались в недели и месяцы, прессовались в годы, оставляя в глубине души наслоения радостей и горестей, несбывшихся надежд и похороненных ожиданий...

А мир жил сложной и напряженной жизнью. Почти не затухая, бушевали на планете войны. Завершилась гражданская битва за свободу негров в Северной Америке. Повесили самоотверженного и благородного Джона Брауна. Наконец-то освободили от крепостной зависимости несчастных крестьян Российской империи. Военные фрегаты и корветы увозили французских парней за моря-океаны — умирать неведомо за что на чужой земле. Так отошли в прошлое Крымская война с Россией, бессмысленная война в Китае, Мексиканская и Тунисская экспедиции,— о них напоминали безрукие и безногие калеки, ковылявшие по улицам и кабачкам Парижа.

А в самом Париже по инициативе префекта департамента Сены барона Османа разворачивалось невиданное до тех пор строительство: сносилось около шестидесяти

тысяч старых домов, выпрямлялись и расширялись проспекты и бульвары. Кое-кто утверждал: для удобства полиции в борьбе с мятежными парижанами. Возводились храмы и пышные дворцы, вокзалы и театры, воздвигались памятники. Рабочие предместья — Бельвиль, Монмартр, Ла-Виллет, Батиньоль и другие, вдруг оказались в черте города. Цены на жилье фантастически росли,— вечно нуждающийся рабочий люд вытеснялся на пустыри. Мальчишки распевали неведомо кем сочиненную песенку: «Хлеб дорог, а деньги редки, Осман повышает квартирную плату, а правительство скупо и лишь сыщикам платит хорошо!»

Все значительные события находили отклик в душе Луизы, она посвящала им стихи и поэмы, статьи и дневниковые записи. Незабываемое впечатление произвела на нее всемирная Парижская выставка, полет на воздушном шаре отчаянно смелого мосье Надара. К тому времени Луиза уже много знала, но именно на выставке воочию убедилась, как необъятно велика земля, как различны и интересны населяющие ее народы.

На выставке, гремевшей грандиозными оркестрами, бывала каждый день. То любовалась африканскими танцами, то лихими джигитовками русских казаков, то застывала в изумлении перед черными тысячелетними мумиями. Засматривалась на диковинные головные уборы американских индейцев, на краснощеких медхен, разъезжавших верхом на пивных баварских бочках. А каких только машин не навезли тогда в Париж! Там и тут сверкали сталью и никелем умные, послушные человеку механизмы, которые, казалось, умели делать все. Луизу приводила в ужас пятидесятитонная крупповская пушка, стрелявшая тяжеленными ядрами на десятки километров! Сколько же человек может эта бездушная махина убить за один выстрел, сколько может пролить крови!

И как Луиза ни бывала занята, к вечеру обязательно

обходила все Марсово поле — от Сены до Военного училища. Здесь крохотные дворцы соседствовали с восточными шатрами, старинные башни — со сказочными павильонами; сверкая бисером и позолотой, крутились безостановочные карусели, на всех языках орали зазывалы. Здесь можно было встретить коронованных и некоронованных королей Европы, владык Нового Света, раджей Индии, вождей африканских племен — весь мир...

А затем в «долгой ночи Империи», как писала Луиза в своих тетрадях, будто в мрачном подвале, блеснули лучи света.

Желая создать видимость либеральных преобразований и тем отдалить революционный взрыв, правительство Луи Наполеона отменило драконовские законы о печати. Разрешили собрания. Правда, на них запрещалось рассуждать о политике и религии, хулить правительство и царственную семью. Открывались рабочие и студенческие клубы. Кабачки с клоком соломы или гирляндой сушеных яблок вместо вывески по вечерам превращались в места сходок и встреч, где можно было отвести душу.

Особенно полюбила Луиза кафе «Старый дуб» на улице Муфтар и «Братство» на улице Фландр: именно там познакомилась с Луи Эженом Варленом и Натали Лемель, Раулем Риго и Андре Лео — людьми, которые навсегда вошли в ее жизнь.

Очень поразил ее тогда простой рабочий Варлен и его речь на суде над Парижским бюро Интернационала. Чуть сутуловатый, порывистый, Варлен говорил, то и дело прерываемый окриками судьи:

— Среди роскоши и нищеты, угнетения и рабства мы находим, однако, утешение. Мы знаем из истории, как непрочен любой порядок, при котором люди умирают от голода у порога дворцов, переполненных благами мира!

Его слова совпадали с мыслями самой Луизы, и ей хотелось броситься к скамье подсудимых, обнять бородатого переплетчика и его соратников по Всемирному товариществу рабочих — Толена, Шалэна и других.

А ведь, откровенно говоря, до той поры она думала, что грядущую революцию, как и в восемьдесят девятом, и в тридцатом, и в сорок восьмом, возглавят люди умственного труда! А оказывается, из глубин нации поднимаются новые, неожиданные и, может быть, могучие силы!

— ...Земля, — говорил тогда Варлен, — уходит из-под ног богачей, берегитесь! Класс, который до сих пор появлялся на арене истории лишь во время восстаний для того, чтобы уничтожить какую-нибудь великую несправедливость, класс, который угнетали всегда,— рабочий класс узнал наконец, что́ именно нужно сделать, чтобы уничтожить все зло и все страдания!..

Луизе в те дни казалось, что идеал свободы приближается к Парижу семимильными шагами, будто непрестанно гудит над городом набатный звон вещих слов, произнесенных два десятилетия назад: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма!»

И навсегда запомнился ей холодный ноябрьский день, собрание на могиле Жана Батиста Бодена на Монмартрском кладбище. Депутат Законодательного собрания, он был убит в день декабрьского бонапартовского переворота в предместье Сент-Антуан. О предстоящем траурном митинге Луизе сообщила одна из ее учениц, дочь литейщика шнейдеровского завода.

Узнав о митинге, Луиза поручила девочек заботам Пулен, а сама поспешно накинула жакетку, надела шляпку. Мать пыталась удержать ее, но Луиза отмахнулась:

— Нет, мама! Нет!

По дороге на кладбище поразилась множеству людей, с венками и букетами осенних цветов они торопились к кованым чугунным воротам.

У входа купила горшочек красных иммортелей и вслед за другими пошла по улочкам печального города мертвых. Шуршали под ногами желтые листья, с севера дул пронзительный ветер, монотонно звонил в кладбищенской церкви погребальный колокол.

Ее удивило обилие полицейских,— молча, сложив за спиной руки, ажаны наблюдали за толпой у неотесанной гранитной плиты, могилы Бодена.

Луиза пробралась сквозь толпу, поставила горшочек с бессмертниками. Она никогда не видела Жапа Бодена, не слышала его голоса, но считала себя вправе воздать должное тому, кто отдал жизнь борьбе с тиранией...

Говорили над могилой сурово и сдержанно. Луиза слушала, и в ее сознании рождались строчки будущего стихотворения: «Геройски пасть для нас отрада, Мы наши флаги развернем и в их полотнищах умрем, Нам лучших саванов не надо!..»

Складывавшаяся строфа на время отвлекла внимание Луизы, и, когда она снова «вернулась на землю», на каменном цоколе одного из памятников рядом с могилой Бодена стоял человек с густой черной бородой и такими же черными, растрепанными ветром волосами, оттенявшими мертвенную бледность лица. Стекла пенсне на горбатом хрящеватом носу поблескивали, словно лезвия, и Луиза через головы толпы заметила, что полицейские с соседних аллей следят за оратором внимательно и напряженно.

Чернобородый вскинул над головой кулак и сказал с яростной силой:

— Да здравствует Республика! Конвент в Тюильри! Разум в Нотр-Дам!

— Кто это? — спросила Луиза стоявшего рядом рабочего в синей куртке.

Он с недоверием покосился на ее шляпку, нехотя буркнул:

— Теофиль Шарль Ферре.

А оратор продолжал, и голос его становился громче, наливался гневом.

— При Людовике Шестнадцатом нищета народа достигла предела. Но когда в присутствии коронованной негодяйки говорили, что у рабочих нет хлеба, она мило удивлялась: «Почему же они не кушают булочки?» Я говорю о Марии-Антуанетте! Революция восемьдесят девятого года попыталась дать нашим отцам и дедам работу, предложив им за жалкие су выравнивать Марсово поле, но спустя год оно было залито их кровью!

Оратор скользнул взглядом по скрытому цветами могильному камню.

— А разве кровь, которую мы сегодня чтим, кровь тысяч наших братьев, убитых узурпатором второго декабря, разве она, как пепел Клааса, не стучит в наши сердца?!

Ферре говорил с той страстной убежденностью, какую дает только великая вера, и Луиза слушала его не в силах отвести взгляда от бледного, вдохновенного лица.

— Может быть, не все помнят, как умер Боден?! — продолжал Ферре.— Напомню! Это произошло в декабре пятьдесят первого, на баррикаде Святой Маргариты. Какой-то глупец попрекнул Жана депутатским жалованьем: «Э, вы годны лишь на то, чтобы получать свои двадцать пять франков в день!» Боден ответил: «Сейчас я вам покажу, приятель, как умирают за двадцать пять франков!» Поднялся на баррикаду и тут же упал, пронзенный десятками пуль...

Луиза не знала подробностей гибели Бодена и слушала с возрастающим волнением. Ферре предложил воздвигнуть памятник погибшему и первый положил на могильную плиту десятифранковый билет. Тут же избрали комитет, и в чью-то потрепанную шляпу щедро полетели серебряные монеты и купюры...

По окончании митинга Луиза догнала Теофиля у кладбищенских ворот, остановила.

— Вы прекрасно говорили! — сказала она.— Разрешите пожать вашу руку!

Сняв пенсне, он смотрел, близоруко щурясь, большие антрацитовые глаза были детски-чистыми и печальными.

— Я говорил то, что думаю, во что верю!

Так началась их дружба, которой было суждено трагически оборваться спустя всего три года!

Они часто встречались — на рабочих и студенческих собраниях Монмартра и Бельвиля или в облюбованных молодежью кафе и кабачках. Там всегда было шумно и весело, за квартой дешевого вина — бутылка шестнадцать су — компания могла провести вечер, обсуждая горькое настоящее и прекрасное будущее Франции.

Здесь не стеснялись крепких словечек, а если опознавали в ком-либо переодетого шпика, давали «навозу Империи» — так выражался Ферре — заслуженную взбучку. К этому времени Теофиль оставил работу счетовода в конторе некоего упитанного мосье и целиком углубился в политику, зарабатывая на хлеб и стакан вина репортажами в оппозиционных газетах и журналах, в том же рошфоровском «Фонаре» и в «Улице».

— Если бы вы знали, Луиза,— не раз говорил Ферре,— как я презираю эту ползучую мразь, готовую на любые подлости, лишь бы вскарабкаться повыше! И, заметьте, Луиза, чем мельче, чем подлее человечишка, тем яростнее он лезет вверх!

Горячий, необузданный, поклоняющийся такому же неистовому Огюсту Бланки, Теофиль всегда готов был вмешаться в потасовку, где представлялась возможность наделить тумаками прислужников Баденге. Именно это и привело его через год после знакомства с Луизой в «Бастилию Второй империи» — так окрестили парижане тюрьму Сент-Пелажи.

Об аресте Теофиля Луиза узнала из газет. Узнала и страшно встревожилась, внезапно поняв, что ей далеко не безразличен бородатый, близорукий юноша.

Купив кое-какой снеди, фруктов, коробку недорогих сигар, она за три су взгромоздилась на империал омнибуса и поехала на левый берег.

Не менее часа ей пришлось прождать в разношерстной толпе, у высокой неряшливо оштукатуренной стены,— зимний ветер лениво пошевеливал над глухими воротами трехцветный флаг.

Ворота тюрьмы, охраняемые угрюмым часовым в высоком кивере, оставались закрытыми, а толпа росла, все подходили и подходили женщины — жены, матери, невесты, сестры. У всех — корзинки или узелки с передачами. Негромко переговаривались, делились радостями и невзгодами.

В толпе Луиза увидела девушку, ее лицо показалось знакомым, хотя Луиза не встречала ее никогда. Темные глаза, выбивающиеся из-под шляпки курчавящиеся черные волосы, нос с горбинкой. Девушка не носила очков, но, видимо, страдала близорукостью и как-то по-детски щурилась, когда хотела что-нибудь рассмотреть. И вдруг Луиза поняла: да ведь это сестра Теофиля, он часто говорил о ней с такой любовью!

Луиза подошла.

— Простите. Вы Мари Ферре?

— Да-а-а,— недоуменно протянула девушка.— А вы?..

— Я...— Луиза смутилась и почувствовала, что краснеет.— Видите ли... Я знаю вашего брата по монмартрским клубам, встречала в библиотеке Святой Женевьевы. Мы одинаково думаем обо всем... И вот... я хотела...

— Понимаю, понимаю! — Мари улыбнулась Луизе так открыто и доверчиво, словно они были знакомы всю жизнь.— Он мне говорил о вас... Вы Луиза Мишель?

— Да!

Они разговорились и сразу же подружились. Луизе, конечно, не хотелось обнаруживать перед Мари подлинных своих чувств. Для нее привязанность к Теофилю была одновременно и женской, и как бы материнской,— все же она, к несчастью, была старше его на пятнадцать лет! А Мари... Ей казалось естественным, что все женщины Парижа влюблены в ее прекрасного брата...

Мари рассказывала о своей семье, о матери и об отце, Лоране Ферре, о Теофиле. О мелочах, из которых в итоге складывается облик человека. Луиза от души посмеялась над детскими прозвищами Теофиля — Маршал Нос, Полишинель, Безносый, Маркиз Карабас.

А потом Мари заговорила о Рауле Риго, и по тому, как вспыхнули ее щеки, как зазвенел голос, Луиза поняла: Мари влюблена в Рауля без ума.

— Они сейчас в одной камере, мадемуазель Луиза, и они и не думают унывать, вы увидите! Они похожи, как братья, оба неистовые, оба готовы на смерть, лишь бы утвердилась справедливость. Я слабая, Луиза, я просто женщина, но я бесконечно предана им. Вы посмотрели бы, что начинается в кафе «Ренессанс» или в «Спящем коте», когда появляется Рауль! О-ля-ля! Всё дыбом!

В ответ Луиза рассказала о себе, о дедушке Шарле, о школе, о своих крамольных проделках.

Так, беседуя, они прохаживались вдоль тюремной стены больше часа,— допуск на свидание непонятно задерживался.

— Поверьте мне, Луиза, это неспроста,— вполголоса сказала Мари.— Правда, я не удивлюсь ничему, что произойдет в Сент-Пелажи, поскольку там — вместе Теофиль и Рауль!

Как раз в эту минуту к воротам подкатил фиакр, и из него вылез начальник тюрьмы мосье Терро, дородный мужчина с бородкой и усами под императора, и с ним

два важных тюремных чина. Беспокойно оглядев гудящую у стен толпу, они скрылись за калиткой, прорезанной в полотнище ворот.

Через полчаса посетителей впустили. Комната свиданий, разгороженная железными решетками, между которыми расхаживали тюремные надзиратели, произвела на Луизу удручающее впечатление. Низкие потолки, бессолнечно, пятна плесени на стенах.

Но тягостное ощущение прошло, как только Луиза увидела Теофиля. Ей думалось — увидит изможденного, подавленного тоской узника, а Теофиль смеялся, словно виделись они не через две решетки, а где-нибудь в «Спящем коте» или «Старом дубе».

Рядом с Ферре, постукивая пальцем по табакерке, покачивался с пяток на носки Рауль Риго, тоже в пенсне, в неизменных желтых перчатках, с широкой, старившей его каштановой бородой. Он попал в Сент-Пелажи раньше Ферре, но они очутились в одной камере, где помещались и известные всему Парижу бланкисты — Тридон, Дюваль и Фортен.

Широкая улыбка Теофиля выражала признательность Луизе за приход в «живую могилу», а Риго приветствовал ее своим характерным жизнерадостным возгласом:

— Ау! Абу! Гражданка Луиза! Не желаете ли понюхать табачку? Я здесь всем предлагаю! От таких понюшек цепным псам империи здорово чихается!

Старший из тюремщиков, наблюдавших за свиданием, постучал увесистым ключом по пруту решетки:

— Заключенный Риго! Еще одна выходка — и вы будете водворены в камеру! Понятно?

С язвительной вежливостью Риго поклонился, протягивая тюремщику через прутья решетки открытую табакерку. Луиза укоризненно покачала головой: вы и тут неисправимы, Рауль!

Риго принялся болтать с Мари, а Луиза, немного смущенная, разговаривала с Теофилем,— всегда бледный, он стал еще бледнее.

Меж тем на столе в коридоре тюремные стражи разворачивали кульки и корзинки с передачами, резали на куски булки: не запечено ли в них оружие или ножовки, коими можно перепилить прутья решетки. Но в передачах Мари и Луизы не оказалось ничего запретного, и через несколько минут Теофиль взглядом поблагодарил Луизу за сигары. А неугомонный Рауль снова принялся за свои ядовитые шуточки, сунул в рот булочку и закричал с набитым ртом:

— Гражданка Луиза! Мари! Эти подонки империи надеются уморить нас голодом! Но это им не удастся! Скоро все полетит вверх тормашками! Да здравствует Республика!

Возглас Риго подхватили, десятки голосов скандировали:

— Да здра-вству-ет ре-во-люция! Гиль-оти-на для жирных! Долой Баденге!

Несмотря на поднявшийся шум, Луиза слышала: крик подхватили в камерах, раздался звон разбиваемых стекол.

В коридор между решетками вбежал дежурный по тюрьме, закричал во весь голос:.

— Свидание окончено! Всех вон!

Теофиль и Рауль, держась руками за прутья, хохотали и радовались, словно мальчишки, которым удалось как следует напроказить. Тюремщики тащили и толкали заключенных к двери. Напоследок оттуда донесся крик Риго:

— Мари! Гражданка Луиза! Вайян прав: короли и императоры нужны лишь затем, чтобы народ отрубал им головы!

Конца фразы Луиза не расслышала, но она помнила

знаменитую фразу Эдуарда Вайяна *,— ее любил повторять Ферре.

Во дворе их торопили, гнали к воротам; здесь кроме тюремщиков оказалось около сотни бретонских мобилей **. Их успели привести из казарм, угадывая назревающий бунт.

А тюрьма действительно бунтовала.

Сверкая, брызгали на камень двора осколки стекла, из-за решеток окон высовывались сжатые кулаки, кто-то размахивал красным шарфом. И вся тюрьма скандировала так, что было, наверно, слышно на правом берегу:

— Да здравствует Республика! Гильотину для Баденге!

Мари и Луизу вытолкали за ворота, но они еще с полчаса стояли возле тюрьмы, слушая доносившиеся из-за стен крики. Видимо, надзиратели и мобили волокли в карцеры и избивали заключенных, которые продолжали бушевать.

О, как хотелось Луизе оказаться там, с какой радостью она дралась бы с тюремщиками рядом с Теофилем! Но Мари увела ее от ворот, втащила на империал омнибуса.

— Успокойтесь, дорогая! — уговаривала она.— Будьте благоразумны!

— А они? Они благоразумны?! — возражала Луиза.— Они жертвуют собой, а мы, значит, слабее их? Да?!

Мари увезла Луизу к себе, познакомила с родителями, с младшим братом, а потом провела в мансарду, в крошечную комнатушку с одним окном, смотревшим на ступенчатое поле крыш, на лес закопченных дымовых труб.

---

* Эдуард Мари Вайян — деятель французского социалистического движения.

** Мобили — наемные войска, набирались главным образом в Бретани, отсюда — бретонские мобили.

Как и в комнате Луизы, в мансарде Мари — нагромождение книг. На одной из стен — портрет Теофиля: стоит подбоченясь и смеется, блестя стеклами пенсне. Дующий сбоку ветер лохматит черные волосы.

Но были в комнате Мари вещи, удивившие Луизу,— груды разноцветных клубков шерсти, вязальные спицы, пяльцы в углу. Мари перехватила взгляд Луизы.

— Нужно же зарабатывать, дорогая!

Переглянулись и засмеялись, сами не зная чему, наверно, от радости, что так нечаянно нашли друг друга.

Мари сварила на спиртовке кофе и, сдвинув к середине стола книги, они, не торопясь, пили обжигающий, пахнущий дальними странами напиток и говорили без конца. О чем? О ком? Да конечно же все о них, об узниках Сент-Пелажи. Мари достала фотографию, вырезанную из какого-то журнала,— Рауль в студенческой каскетке и куртке, ярко освещенный солнцем, сидит на ступеньках Пантеона и с иронической усмешкой наблюдает скошенным глазом за чем-то, что не попало в объектив.

— О-ля-ля, Луизетта! Ты не знаешь, как его величают друзья! — засмеялась Мари, легко переходя на «ты».— Большой Гаврош! Да, да! В нем столько мальчишеского, озорного. И в то же время на редкость умен и язвителен,— не приведи господь попасть на язычок. Окончил Бонапартовский лицей, Версальский коллеж, бакалавр. В шестьдесят пятом, совсем мальчишкой, ездил в Льеж на международный студенческий конгресс, это о чем-то говорит?! Работал в бланкистском «Кандиде». О! А отец — бонапартистская сволочь! Рауль насмерть поссорился с ним, бросил дом. Из Сорбонны выставили за революционные взгляды. Живет журналистикой, дает уроки высшей математики: знает ее как бог!.. О-ля-ля! Я убеждена — вы подружитесь.

— Они ровесники с Теофилем?

— Да! Но по тюремному опыту Рауль постарше,

впервые попал за решетку два года назад. Ему в полиции тогда заявили: вы, Рауль Риго, член тайного преступного общества, вам грозит смертная казнь! А он только смеялся им в лицо! Но улик оказалось маловато, выпустили. Освободившись, он шутил: «Не повезло, черт побери! Не познакомили меня с казематами Мазаса! Ну да, говорит, время мое не ушло, успею!» А как на суде себя держал! «Не нужно мне ваше снисхождение, господа неправедные судьи! Когда мы придем к власти, вы не получите снисхождения, не ждите!» Вот какой!

Луиза слушала с интересом, но с большей бы радостью узнала что-нибудь новое о Теофиле,— перед глазами стояло бледное лицо, каким видела его час назад.

И Мари спохватилась:

— Что это я все о себе да о Рауле?! — Встала, взяла Луизу за руку.— Пойдем!

Луиза не спросила куда. Вышли на крошечную лестничную площадку. Там, напротив двери в каморку Мари, оказалась вторая дверь, раньше, в полутьме, Луиза и не заметила ее.

— Здесь жил Тео,— пояснила Мари, распахивая дверь.

— Жил? — удивилась Луиза.— А разве теперь?..

— Да! Три года назад, когда за ним началась слежка, снял комнатушку в Латинском квартале.

— Почему же? — снова удивилась Луиза.

— Ну как не понимаешь?! Не хочет ставить под удар родных. В случае... ну, в очень серьезном случае они арестовывают и отца с матерью, стариков, дескать, все вместе, все отвечаете! Забегает изредка глянуть на мать, на отца. И опять неделями нет.

Стоя на пороге, Луиза молча оглядывала жилище Теофиля. Книги занимали два шкафа во всю стену, стопками громоздились на столе, на подоконниках и прямо на полу. На столе тоже книги, газеты и журналы, листы

бумаги, исписанные крупным почерком. Но — ни мусора, ни пылинки.

— Я убираю здесь каждый день,— будто угадав мысли Луизы, пояснила Мари.— Я ведь люблю Тео! И так за него боюсь! Порой мне снятся ужасные сны! Будто его ловят жандармы, хотят убить. И я просыпаюсь от боли в сердце... Ну, проходи же!

Луиза прошла к столу, склонилась над исписанным листом, прочитала:

«Жермэн-Касс на суде сказал: «Не трогайте топора, господин прокурор! Это тяжелое орудие, ваша рука слаба, а наше дерево кряжисто!» И мне пришли на память слова, прочитанные недавно в одной русской книге: «В топоры! В топоры!..» И я подумал: великий Бланки прав — лишь силой оружия, лишь топорами...»

Луиза посмотрела корешки книг. «Париж в декабре 1851 года» Тено, «Философия нищеты» Прудона и «Нищета философии» Маркса, томик Бодлера «Цветы зла» с посвящением Теофилю Готье.

Ей вспомнился суд над книжкой Бодлера вскоре после ее приезда в Париж, вспомнилось худое, болезненное лицо поэта, его саркастические усмешки в ответ на злобные выкрики судьи. Что ж, процесс над книгой только способствовал ее успеху, но несчастный Шарль умер нищим, с парализованной памятью в одной из дешевых больничек Парижа.

— Хочешь побыть здесь? — спросила Мари.— Я скоро вернусь.

Луиза осталась одна. Подошла к окну, где стояло обитое красным плюшем кресло,— видимо, Теофиль любил читать, сидя здесь. На подоконнике лежала «История десяти лет» Луи Блана и стояла пустая пепельница.

Луиза опустилась в кресло, задумалась, глядя в окно. За горбами красных черепичных и сизо-свинцовых крыш вонзались в небо шпили соборов, блестел купол Дворца

Инвалидов. По зимнему небу неслись разорванные ветром облака, солнце даже не угадывалось за ними.

Она не знала, сколько времени просидела так. Кончался серый зимний день, в углу комнаты сгущалась тьма.

Неслышно вошла Мари, чиркнула спичкой, зажгла газовый рожок у двери.

— Ну, погрустила немножко? Вот и хорошо. Надеюсь, все обойдется. Хотя... откровенно говоря, Луиза, я боюсь, что нашим сорванцам нынешний бунт не пройдет даром...

И Мари оказалась права: ей и Луизе пришлось лишних два месяца носить в Сент-Пелажи передачи,— Теофилю и Риго суд прибавил к прежним срокам по два месяца.

И лишь весной, когда на платанах и каштанах набухали и лопались почки, Луиза и Мари встречали у ворот тюрьмы сначала Теофиля, а через две недели — уже вместе с Теофилем — Рауля.

— Ну вот, наконец-то мы можем отправиться в «Ренессанс»! — вскричал Риго.— Надеюсь, кто-нибудь из вас одолжит мне десяток франков? Я стосковался в тюремной пещере по бокалу доброго перно!

Он был неисправим, этот задира и весельчак, будущий прокурор Коммуны, которому шел тогда двадцать третий год!

В «Ренессансе», как только Риго появился на пороге, почти все бывшие там повскакали с мест.

— Риго! Рауль! Пропащая душа! Узник темницы Иф!

Принялись сдвигать столики, кто-то уже тащил от стойки винные бутылки. Хозяин «Ренессанса», толстощекий и краснолицый, с нафабренными усами, следил за суматохой с довольной усмешкой. Ну, раз в кафе появился мосье Риго, значит, оно пустовать не будет. Правда, прибавится не только франков в кассе, прибавится и

беспокойства: чаще будет заглядывать полиция, чаще станут дежурить за столиками шпики. О, с мосье Риго шутки плохи! Ну вот, кажется, угадал, начинается!..

Да, Рауль Риго, только что севший за стол, вдруг отодвинул бокал и, озорно подмигнув, доставая на ходу табакерку, направился в полутемный угол кафе, где два субъекта скучали за кружкой пива. Наметанный взгляд Риго сразу приметил филеров — у него на них было особенное чутье,— недаром сам Бланки как-то заметил: «У Риго определенное призвание, он рожден, чтобы стать префектом полиции!»

Иронически усмехаясь, постукивая пальцем по табакерке, Риго подошел к сидевшим в углу.

— О! Бонжур! Как изволит поживать полицейский комиссар по надзору за молодежью, ваш обожаемый начальник мосье Лагранж? Не угодно ли понюшку? Угощайтесь, пожалуйста!

Мари шепнула Луизе:

— Ой, боюсь, Луизетта, недолго нашим сорванцам разгуливать на свободе! Видишь, что выделывает?!

Луиза кивнула, а стоявшие у столов в ожидании Риго скандировали хором:

— Шпи-ков вон! На-воз Им-пе-рии во-о-о-он!

Один из субъектов в углу пытался защищаться:

— Уверяю вас, вы ошибаетесь, мосье Рауль Жорж Адольф Риго!

Обернувшись к друзьям, Риго расхохотался.

— Вы слышали?! Ищейки Лагранжа полностью вызубрили мое имя! Сие делает честь мне и их способностям, не правда ли? Какая завидная лакейская прилежность! О, вы, мосье, не даром получаете сребреники комиссара Лагранжа!

Смущенно бормоча, не допив пива, шпики под хохот и улюлюканье зала ретировались через боковую дверь.



Когда Риго вернулся к компании, один из студентов, расплескивая вино, поднял над головой бокал.

— Мадемуазель и месье! Предлагаю тост за Робеспьера грядущей революции!

Тост подхватили, но Риго протестующе вскинул руку.

— Э, нет! Я не желаю быть похожим на Неподкупного! Своим «Верховным Существом», своей «новой религией» он унижал саму идею революции! Нет! Уж если говорить о преемственности, я желал бы быть похожим на Эбера или на Клоотца! * И не только жить, как они, а и умереть так же мужественно, как сумели они в ошейнике гильотины!

Сидя рядом с Теофилем, Луиза искоса поглядывала на него и радовалась: на впалых и серых после тюрьмы щеках появились пятна румянца, ярче стал блеск антрацитовых глаз. «Да,— думала она,— в будущих боях Теофиль и Риго пойдут впереди других,— я буду счастлива идти плечом к плечу с ними».

Домой вернулась за полночь, долго ворочалась в постели, думала о Теофиле, о предстоящей жестокой борьбе. Почувствовав, что уснуть не удастся, встала, села к столу и при свете свечи записала:

Империя в агонии старается упиться кровью;
Она еще царит в своих покоях,
На пороге которых кучами лежат трупы,
Но в воздухе уже победно звучит «Марсельеза»,
И солнце встает в красном тумане...

И еще быстрее завертелось колесо ее жизни. Утром и днем — занятия в школе; милые, доверчивые лица монмартрских девчушек, за чью судьбу она считала себя в ответе, кому старалась передать свое отношение к миру,

* Клоотц и Эбер — деятели времен Великой французской революции, левые якобинцы.

презрение и ненависть к насилию и стяжательству, готовность к борьбе и к жертве, если жертва окажется необходимой.

«Как прекрасно,— часто думала она,— что мы с мадемуазель Пулен ко всему относимся одинаково, и какая страшная беда, что доктора не в состоянии хотя бы замедлить течение ее болезни». Высокая температура, лихорадочный блеск глаз, пылающие щеки — все свидетельствовало о близости трагического исхода. А сама Пулен, с ее кроткой самоотверженностью, лишь улыбалась в ответ на сетования. «Ах, дорогая Луиза,— говорила она.— Не надрывайте из-за меня себе сердце. Я рада: рядом с вами мне удалось кое-что сделать на этой грешной и не особенно уютной земле!»

Но занятия в классах, где Луиза преподавала естествознание, историю и литературу, были для нее только прелюдией того часа, когда, наскоро проглотив немудреный обед, она с головой окуналась в кипящий страстями водоворот, каким и представлялся ей и каким на самом деле был в то предгрозовое время Париж.

Да, город был похож на вулкан накануне извержения! В организованных Варленом дешевых кооперативных столовых «Marmite» *, в кафе и трактирах произносились такие речи, каких парижане не слышали с июня сорок восьмого. Любимцы рабочих предместий — Флуранс и Делеклюз, Варлен и Ферре, Лефрансе и Риго выступали повсюду, разоблачая преступления Империи. Возвращаясь домой, Луиза писала в своем дневнике:

«Гнев, накоплявшийся в течение двадцати лет, прорывается неудержимо. Мысль освобождается; книги, проникавшие во Францию лишь контрабандой, издаются в Париже. Испуганная Империя надела маску «либераль-

* «Мармит» — котел, большая миска (*фр.*).

ной», но никто этой демагогии не верит... Париж все больше освобождается от Бонапарта. Крылья усатого орла отяжелели, налились свинцом. Революция зовет под красные знамена всех, кто молод, умен и горяч».

Сердце Луизы в те дни согревало не только сознание, что она служит делу освобождения. В ее душе навсегда поселились дорогие ей люди — Тео и Мари Ферре.

— Что с тобой, дочка? — радостно удивлялась Марианна.— Ты прямо расцвела!

— Ах, мама! — смущенно отмахивалась Луиза.— Я чувствую близкое дыхание революции!

— Только ли? — не унималась мать.

— Оставь, мамочка! Ты мешаешь мне сосредоточиться!

Наступили летние каникулы. В последний день ученицы явились с букетиками фиалок — старшеклассницы прощались со школой навсегда, остальные — до осени. Бедняжка Пулен не могла удержать слез: «А я, вероятно, и не увижу вас больше, разве летом добрый случай столкнет на улочке родного Монмартра. Счастливой и светлой вам жизни, девочки!»

Наконец-то Луиза почувствовала себя по-настоящему свободной. Если бы не болезнь Пулен, она считала бы, что вполне счастлива.

После полудня, как было накануне условлено, в одном из кафе на бульваре Сен-Дени она встретилась с Теофилем. Укрывшись за кадкой с пальмой в безлюдном уголке и обложившись газетами, он торопливо писал, ядовито посмеиваясь в бороду.

— А, Луиза! Рад видеть!

Она уселась напротив, гарсон принес кофе, и Луиза не спеша пила, любуясь нервными сильными руками Теофиля. Он вскинул на нее взгляд.

— Извините! Сейчас кончаю...

Да, ей все нравилось в этом человеке: его аналитиче-

ский, пронзительный ум, порывистая страстность, принципиальность, его глаза, руки, голос. Искоса поглядывая на свое отражение в зеркале напротив, Луиза вздохнула: вот когда ей особенно хотелось быть красивой и молодой... Моложе хотя бы на десять лет!

Когда Теофиль закончил статью, они отправились в Латинский квартал, где их должны были ждать Риго и Мари.

День был удивительно прозрачный, цвели белые и розовые свечи каштанов, по-весеннему нежно зеленела листва, щетинились неподстриженной травой газоны, немолчно звенели птицы.

Риго и Мари они нашли в кабачке у Пантеона. Рауль — оживленный, сияющий. Желтые перчатки — на стопке журналов.

— Ну как? Отпечатали? — спросил Ферре, присаживаясь к столику.

— Вот! — Рауль с торжеством придвинул журналы Теофилю.— Любуйтесь, гражданин Ферре!

Швырнув на соседний стул шляпу, Теофиль перелистывал странички, а Риго смотрел на него с победоносной улыбкой. Но вот Ферре вскочил, обхватил Рауля за плечи, и они так расхохотались, что многие в кафе оглянулись.

— В чем дело? — спросила Луиза, обиженная тем, что Большие Гавроши не посвятили ее в очередную проделку.— Что, Мари?

Девушка потянула Луизу за рукав, усаживая рядом, дала один из номеров журнала. Это издание Луиза видела впервые: «Природа», научно-популярный ежемесячник для юношества. Номер первый.

— Не понимаю...

— Читай вот здесь. Читай вслух, Луизетта!

И Луиза принялась читать:

— «Дорогие читатели, мы начинаем очерками по

естественной истории. И конечно, прежде всего — орел, которого называют «царем птиц». Орел — животное хищное, он — грабитель, вор, подл и жесток. Он питается мясом других, более слабых, животных и птиц и даже забирается в чужие гнезда и пожирает яйца. Он часто набрасывается на баранов, сдирает с них шкуру и устилает ею собственное логово. Он не останавливается перед любой жестокостью, лишь бы удовлетворить свои непомерные аппетиты.— Луиза почувствовала, как кровь прихлынула к лицу. На мгновение вскинув глаза, увидела, что сидевшие за соседними столиками внимательно слушают, и продолжала читать, повысив голос: — В конце концов, естественники, может быть, были правы, дав ему титул «царя», ибо большинство монархов, подобно орлу, питаются кровью своих подданных, как, впрочем, и их достоянием, с таким трудом добытым...»

Конечно, любой мальчишка понял бы... Здорово! Вот молодцы!

А Ферре и Риго хохотали, хлопая друг друга по плечам, выкрикивая между приступами смеха:

— Жерана-то нашего посадили? Да? — спрашивал Теофиль.— Плакали наши двадцать франков, Рауль?!

— Посадили! Плакали! — вторил Риго.

— Да объясните же! — уже всерьез рассердилась Луиза.— И почему вы все скрываете от меня? Разве я вам не друг?!

В ее голосе отчетливо прозвучали обида и горечь. Ферре присел рядом и, сняв пенсне, смотрел извиняющимся взглядом.

— Простите, Луиза! Мы никому ничего не говорили, так как не были уверены, что игру удастся довести до конца. И Мари узнала лишь сегодня, по выходе номера. Правда, сестра?

Мари кивнула в ответ. А Рауль, наполняя бокалы дешевым мартини, посерьезнев, принялся рассказывать:

— Так вот, гражданки! Две недели назад ваш покорный слуга отправился в министерство внутренних дел, к мосье Пипару, и с самым невинным видом испросил разрешения издавать сей научный журнал. Внес полагающийся залог и получил разрешительный штемпель. И вот перед вами первый номер высоконаучного и популярного издания! — Он не смог выдержать серьезного тона и рассмеялся.— Не правда ли, вы кое-что почерпнули из его публикаций? А?

— Но ведь за подобные проделки вас снова отправят за решетку! — с упреком заметила Луиза, с грустью глядя на Теофиля.— Вы же лезете в петлю!

— Э-э, нет, гражданка Луиза! — вскричал Риго.— Мы — битые, мы — ученые! Мы не зря кончали академию Пелажи! Я вам сейчас поясню... Затеяв издание сего полезного журнала, мы с гражданином Теофилем Ферре отправились на Центральный рынок, отыскали там самого несчастного и голодного забулдыгу, приодели его, сняли ему на три дня комнату в отеле, и за двадцать франков он стал нашим жераном, то есть лицом, отвечающим перед законом за содержание статей журнала. Так что не нам, а ему обеспечены казенные харчи в Пелажи!.. И не испепеляйте меня взором, гражданка Луиза, он не в претензии! Во всяком случае, ночлег и похлебка ему на три месяца обеспечены!

— Но ведь ваш крамольный журнал немедленно прикроют! — заметила Мари.

— Конечно! — весело согласился Риго.— И все же разок-то мы стукнули по кровавой морде!

— А номер не конфискуют?

— Пока докопаются до сути, тираж будет распродан!

— А дальше? — грустно спросила Луиза. Ей было обидно, что из-за маленькой статейки ее друзья рискуют свободой.

На сей раз расхохотался Ферре, вытаскивая из боко-

вого кармана испятнанную штемпелями и печатями бумагу.

— А вот, милостивые государыни, разрешение на издание журнала «Наука для всех». На сей раз на имя Теофиля Шарля Ферре. Вот так!

— Ну и ну! — покачала головой Луиза.— Светлые и отчаянные у вас головы, месье Большие Гавроши!

Риго поморщился. В разговоре со своими он признавал единственное обращение: «гражданин» и «гражданка», а «мадам» и «мосье» звучали в его устах площадной бранью. Но сейчас он не сделал Луизе замечания, молча взял со столика неизменные желтые перчатки.

— А теперь, дорогие, не теряя времени, отправимся в «Ренессанс»! Мы должны познакомить с новым изданием наших друзей!

Луиза вполголоса сказала Ферре:

— А не блошиные ли это укусы, Тео? Рискуете же вы страшно!

— Э, ничто не убивает вернее, чем смех! А разве вы не рискуете, дорогая, когда в школе вместо молитвы поете «Марсельезу»? Без риска нет борьбы, Луиза!

То был шумный, веселый день! По дороге в «Ренессанс» и в самом кафе Риго раздавал журнал направо и налево. Все читали и ликовали: ненавистная Империя получила еще одну оплеуху. Конечно, о дальнейшем издании журнала не могло быть и речи. Шпики и полицейские сновали от киоска к киоску, конфискуя оставшиеся экземпляры, и тащили их во двор префектуры, где пылал костер. Такой стиль расправы с крамольными изданиями утвердился с мая шестьдесят восьмого года, когда впервые был сожжен номер рошфоровского «Фонаря».

Тогда Луиза случайно оказалась свидетельницей этого аутодафе и сейчас, с тревогой поглядывая на Теофиля, вспоминала, что Рошфору, спасаясь от тюрьмы, пришлось бежать в Брюссель, где он живет под

покровительством другого изгнанника империи, Виктора Гюго.

— Меня обижает, что они не позволяют нам участвовать в их работе! — с горечью пожаловалась Луиза Мари, сидя за столиком в «Ренессансе».— Ведь и мы можем что-то делать!

— О-ля-ля! — беспечно рассмеялась Мари.— Наши мальчики слишком хорошо знают, как живется в Сент-Пелажи, и стараются отдалить наше знакомство с «Бастилией Второй империи».

— Но это же обидно!

— Не торопись, Луизетта! И Сент-Пелажи, и Мазас, и Сен-Лазар у нас впереди! Мы еще узнаем, что это такое. Мальчики берегут нас, значит — любят. И давай утешимся этим.

— Грош цена любви, основанной на жалости! — возмутилась Луиза.— Я хочу сражаться наравне с ними!

— О-ля-ля, как ты нетерпелива, Луиза! Будут еще в нашей жизни и сражения, и тюрьмы!

Посидев в кафе, они отправились бродить по букинистическим лавочкам. Потом отдыхали на набережной. Сена неспешно несла сизые, отливающие платиной воды, отражая дворцы и мосты, зелень каштанов и готику соборов. Когда Луиза собралась идти домой — ее тревожило состояние Пулен,— Риго остановил ее.

— А у вас нет желания, гражданка Луиза, посмотреть вечером веселое представление? Смею заверить, получите больше удовольствия, нежели на водевилях Скриба и Сарду.

— А что именно?

— Пока это наш с Мари секрет,— со смехом ответил Рауль.— Но чтобы заинтриговать вас, я приподниму уголок занавеса. Вам известна фамилия Дельво?

Луиза задумалась, припоминая.

— Дельво?.. Судья исправительной полиции?

— Он самый! — кивнул Риго.— Вначале сей гнусный тип служил рядовым шпиком, позже стал следователем исправительной полиции, а потом за особые заслуги на него напялили судейскую тогу. Именно эта темная личность отправила меня и Теофиля в Пелажи. Он же судил Варлена и Рошфора и многих наших! За ним накопилась изрядная задолженность... Так вот, сегодня вечером ему, возможно, придется расплачиваться по векселям... Хотите присутствовать?

— Конечно!

— Тогда извольте, гражданка Луиза, в десять часов вечера посетить кафе «Кумир» на бульваре Капуцинок. Надеюсь, наша затея удастся и вы получите возможность кое-что лицезреть... Больше сейчас ничего не скажу...

Луиза решила пойти, но не удержалась от упрека Мари: как она может заводить от нее секреты?

— Ну, не сердись, Луизетта! — Мари обняла ее, поцеловала в щеку.— В «Кумире» не подходи ко мне, сделай вид, что мы незнакомы! В этом — фокус! Обещаешь?

Луиза обиженно пожала плечами.

Со слов Теофиля она знала, что Рауль по выходе из Сент-Пелажи возобновил слежку за полицейскими и судейскими чиновниками Империи, изучал их повадки, склонности, пороки, ядовито и хлестко высмеивал их в своих фельетонах Ему отвечали ненавистью, угрозами, подсылали наемных головорезов. Но Риго всегда ходил с пистолетом, и застать его врасплох оказалось не так-то просто. А в ответ на упреки Мари и друзей он отмахивался, хохоча: «О, кому суждено быть повешенным, тот не утонет!» Он не пропускал ни одного политического процесса, его ежедневно можно было встретить во Дворце юстиции, где он позволял себе по адресу имперского судилища довольно рискованные шуточки и замечания. Но пока ему все сходило с рук.

В назначенный час Луиза сидела в одном из укром-

ных уголков «Кумира», наблюдая за шумной компанией,— в ней она сразу угадала судью Дельво. Она и раньше слышала о похождениях этого выпивохи и сладострастника, но видела его впервые. Обрюзгший толстяк с узенькими щелочками заплывших глаз, самодовольный и бесцеремонный, он произвел на Луизу отталкивающее впечатление.

Дельво и его компаньоны пили много и шумно, перебрасывались игральными картами, щипали официанток, запросто шутили с владельцем «Кумира»,— чувствовалось, что они здесь завсегдатаи.

Вскоре к Луизе присоединился Теофиль, они теперь часто проводили вечера вместе. В белоснежной рубашке с расстегнутым воротом он показался Луизе очень молодым. Если бы не черная разбойничья борода, выглядел бы совсем юным!

А вскоре появилась и Мари. Луиза успела заметить, что Рауль проводил девушку до дверей «Кумира», но сам не вошел.

— Что за маскарад, Тео?! — возмутилась Луиза, с неприязнью рассматривая кричащий наряд Мари. Обычно одетая строго и скромно, Мари была не похожа на себя! Красная шляпка, вульгарный красный ридикюль, насурмленные брови, подкрашенные губы — ну прямо девица с площади Пигаль! Отвратительно!

Теофиль положил теплую ладонь на руку Луизы.

— Не сердитесь, Луиза! И не думайте о ней плохо,— шепнул он.— Толстобрюхий должен клюнуть на такую приманку.

С вызывающим видом Мари уселась за свободный столик неподалеку от компании Дельво, попросила бутылку лимонада. Перекинув ногу на ногу, жеманно щурясь, смотрела по сторонам. Минут через пять судья швырнул карты на стол.

— О, друзья! Я пас, выхожу из игры! Не мешает за-

няться и более приятным делом! — И с откровенным призывом улыбнулся Мари, широким жестом приглашая за свой стол.

Мари отказалась, тогда порядком хмельной Дельво сам перебрался за столик Мари, повелительно постучал монетой по мрамору стола. И сейчас же перед Мари появилась бутылка шампанского в мельхиоровом ведерке со льдом, ваза с апельсинами, коробка шоколада.

Придвигаясь ближе к Мари, толстяк шептал ей что-то, девушка стряхивала со своего колена его пухлую руку.

— Вот уж никогда не думала, что Мари такая актриса! — недовольно шепнула Луиза Теофилю. Она лишь сейчас поняла, почему Ферре, прячась в уголке, присутствовал на этом спектакле,— вдруг кто-нибудь обидел бы его сестренку!

Вскоре собутыльники судьи попрощались и ушли, один из них пожелал Мари с пошлой улыбкой:

— Неспокойной вам ночи, мадемуазель!

Луиза с осуждением покачала головой.

— Не по душе мне эта комедия, Тео! Зачем вы ее затеяли, большие мальчишки!

Теофиль склонился над столиком.

— Послушайте, Луиза! Завтра в Верховном суде слушается дело студентов медицинского факультета Сорбонны, друзей Рауля. Судить будет Дельво. Ожидается жестокий приговор. И потому решено попугать сановную сволочь. Вдруг подействует?.. Маленькая порка ему не помешает.

— Как же вы ухитритесь его выпороть?

— А вот увидите...

Часом позже, когда Дельво с пьяной щедростью расплатился с владельцем «Кумира» и потащил Мари под руку к двери, Луиза заметила, как за окнами метнулись тени. А еще через секунду на улице раздался яростный крик Риго:

— Как?! Это ты, Мари?! Абу! Ты позволяешь старому борову волочиться за собой?! А ну, марш домой, негодная девчонка! А брюхатого донжуана мы сейчас проучим! Эй ты, жирная морда...

Посетители «Кумира» поспешили на шум, Теофиль тоже поднялся.

— Выйдем, полюбуемся, Луиза!

У дверей теснились любопытные, и, когда Теофиль и Луиза выбрались на улицу, красная шляпка Мари мелькнула за углом переулка. А Рауль и трое его друзей, прижав Дельво к стене, награждали его увесистыми пощечинами и тумаками.

— Ты будешь приставать к девушкам?! У тебя же, наверно, такие дочери, старый хрыч! — И тише, в лицо: — За каждый новый приговор, подлая тварь, будешь бит до полусмерти! А потом придушим! Крыса судейская! — И опять громко, на всю улицу: — Соблазнитель! Где полиция нравственности?! Или пузатым все позволено?!

Дельво жался к стене, старался прикрыть ладонями лицо, что-то бормотал, вздрагивая при каждой оплеухе.

Вдали раздавались свистки полицейских. Друзьям Риго пора было улепетывать. В переулке свистнул кнут, задребезжали по камням колеса экипажа.

Наконец появились полицейские, и Дельво набросился на запыхавшегося ажана, подбежавшего первым:

— Где вы шляетесь, безмозглая скотина?! За что платят вам, негодяи?! Вы знаете, кто я?! Завтра же доложу префекту, и вы узнаете, почем жареные каштаны! Как фамилия, остолоп?!

— Но, ваша честь! Пост далеко. Я не успел...

— Как фамилия, спрашиваю, болван?! — кричал Дельво, брызжа слюной.

— Пойдем! — Луиза тронула Ферре за локоть.— Противно!

Вернулись в кафе, расплатились и отправились по до-

мам. Теофиль проводил Луизу до площади Клиши, договорились завтра встретиться в Верховном суде. Интересно, как Дельво поведет процесс.

— А может, попросит заменить себя? — предположила Луиза.— Он же, наверно, весь в синяках.

— Посмотрим.

Заснуть Луиза долго не могла, прислушивалась к надрывному кашлю Пулен, к стрекоту невидимого сверчка. И думала: а как бы сейчас жила Франция, если бы бомба Орсини уничтожила узурпатора? Но — какая нелепость! — бомба, взорвавшаяся у подъезда театра, убила десять и ранила более ста ни в чем не повинных, а Бонапарт не получил и царапины!

Вспомнилось и еще одно покушение на Баденге, о нем как-то рассказывал Теофиль. Наблюдавшие за дворцом бланкисты обнаружили, что иногда по ночам кто-то в закрытом экипаже отправляется из Тюильри к дому «божественной графини», красавицы Вирджинии Кастилионе и остается там до рассвета. Как удалось выяснить, это был император!

Тогда по полуночным улицам Парижа без конца разъезжали скверно пахнувшие обозы. Заговорщики приобрели фургон для вывозки нечистот и три часа поджидали невдалеке от особняка графини. Если бы задуманное удалось, никто не догадался бы, что император, «слава и надежда Империи», окончил свои дни в клоаке Ла-Виллет. Но царственный любовник как раз тогда сменил одну прелестницу на другую, и его экипаж более не появлялся у дома Вирджинии на Елисейских полях.

Засыпая, Луиза шептала строки Гюго, недавно дошедшие контрабандой до Парижа с далекого острова Джерси:

О Франция! Пока в восторге самовластья
Кривляется злодей со свитой подлецов,
Тебя мне не видать, край горести и счастья,

Гнездо моей любви и склеп моих отцов...
Изгнание свое я с мужеством приемлю,
Хоть не видать ему ни края, ни конца.
И если силы зла всю завоюют землю
И закрадется страх в бесстрашные сердца,
Я буду и тогда республики солдатом!
Меж тысячи бойцов — я непоколебим;
В десятке смельчаков я стану в строй десятым;
Останется один — клянусь, я буду им!

И еще мелькнули в памяти строчки, это уже о нем, о самом ненавистном:

Для алой мантии его монаршей славы
Вам пурпуром, ткачи, не надо красить нить:
Вот кровь, что натекла в монмартрские канавы,—
Не лучше ли в нее порфиру опустить?

Уснула под утро. И снилось ей, будто мутная бескрайняя вода несла ее куда-то под грозовым небом, и смертная тоска сжимала сердце: потеряла и никогда больше не увидит Теофиля...

Утром отправилась в здание Верховного суда и там застала Теофиля и Риго.

Зал суда был полон — студенты, журналисты, рабочие. Трое друзей с трудом протиснулись к первым рядам. Блюстители порядка стеной окружали судейский стол и барьер, за которым находилось четверо подсудимых. Они обвинялись в том, что «высмеивали в студенческом журнале безнравственность обреченного на безбрачие католического духовенства». Риго жестом приветствовал приятелей, студенты помахали ему своими каскетками.

Оказывается, Дельво не запугала вчерашняя взбучка. Вон он, облаченный в длиннополую черную мантию, насупившись, шествует к судейскому столу. Он сразу узнал Риго, тигрино сверкнули хищные глазки, злобно скривился рот.

Суд оказался коротким, а приговор суровым. «Стоячий судья», прокурор, метал словесные громы, потрясал над головой брошюрками студенческого журнала, призывал суд обрушить на богохульников жестокую кару.

Когда Дельво огласил приговор,— каждому четыре месяца тюрьмы и двести франков штрафа,— свора жандармов принялась выталкивать осужденных из зала. Рауль махал друзьям шляпой, пока за ними не закрылась дверь, а потом, подмигнув, поманил Луизу и Теофиля за собой.

— Пойдем!

Завсегдатай, он знал все закоулки здешнего лабиринта. По боковым переходам он привел друзей к дверям, через которые покидали здание чиновники правосудия и свидетели обвинения. Главный вход не для всех был безопасен. Здесь он показал служителю журналистский билет:

— Интервью для правительственных газет, любезный!

— Пожалуйста, мосье!

— Подождем? — шепнул Риго.— Я знаю повадки этой грязной свиньи. Он сейчас побежит выпить стаканчик мартини, у него пересохло в глотке.

— Но, Рауль, он же узнал вас! — заметила Луиза.— Вы видели, какая злоба в глазах? Он возбудит против вас дело об избиении, как было с Рошфором, поколотившим типографа Рошета. Вспомните: несмотря на блестящую защиту, Дельво отправил Рошфора на четыре месяца в тюрьму!

Служитель, отходивший, чтобы закрыть окно, возвращался, и Риго договорил шепотом:

— О нет, гражданка Луиза! Высокочиновный боров слишком дорожит своим корытом, он не захочет огласки вчерашнего!

Тяжелая дверь распахнулась, и из нее чередой потя-

пулись чиновники имперской Фемиды. При виде Риго Дельво отшатнулся.

— Зачем вы пускаете сюда посторонних, Жюльен? — накинулся он на служителя.

Риго нахально рассмеялся в лицо Дельво.

— О! Не бойтесь повторения вчерашнего, ваше бесчестье! Мы намеревались лишь справиться о вашем драгоценном здоровье и спросить: значит, вчерашнее не пошло впрок?!

Дельво побагровел, щеки затряслись и стали похожи на переспелые помидоры. Он не сказал, а прошипел, проходя мимо:

— Вы еще попадете в мои лапы, Рауль Жорж Адольф Риго! И, поверьте, я не позавидую тогда вашей участи! Я буду беспощаден!

— К вашим услугам! — ослепительно улыбнулся Риго.— Когда-нибудь, ваше бесчестье, и вы попадете в мои лапы. И я тоже буду беспощаден! — И уже без улыбки, став серьезным, спросил: — Неужели вы, Дельво, не чувствуете, что дни Империи сочтены? А ведь я считал вас умным человеком!

Не ответив, судья пошел дальше.

Оглянувшись на шагавшего рядом Теофиля, Луиза помрачнела: еще одна-две такие истории — и Большие Гавроши снова окажутся в тюрьме. Любившая озорные проделки, она все же не могла удержаться от укора.

— Безрассудны такие мальчишеские выходки, Рауль,— она покачала головой,— слишком дорого приходится за них платить. Он же сожрет вас вместе с ботинками и вашей пышной шевелюрой, если вы попадете в его когти!

— О-ля-ля! — ответил Риго любимым восклицанием Мари.— Скоро, надеюсь, я стану прокурором или судьей Республики, и тогда горе таким Дельво!

Тревожные предчувствия не покидали Луизу, она боялась нового ареста Теофиля.

По Парижу ползли слухи, что жандармы и шпики «фабрикуют» очередной заговор о государственном перевороте и покушении на жизнь «обожаемого» монарха. При обысках подбрасывают в квартиры гремучую ртуть, селитру и что-то еще, необходимое для изготовления бомб,— о, они тоже кое-чему обучились у безвременно погибшего Орсини *!

Да, Париж переживал бурные дни, пробуждался после почти двадцатилетней инквизиторской «ночи Империи». По выражению одной из газет, Гулливер просыпался и потягивался со сна, трещали и лопались его путы. Зарева близких пожаров, чудилось, уже пламенели в зеркальных окнах дворцов. Потомственные аристократы и буржуа-нувориши в ожидании революционного грома тряслись от страха в раззолоченных покоях.

Всколыхнула страну небывалая волна забастовок. Прекратили работу десять тысяч литейщиков на металлургических заводах одного из «столпов нации», главы Законодательного собрания, Эжена Шнейдера; требовали своих прав шахтеры Сент-Этьена и ткачи Лиона; бастовали сыромятники, переплетчики и печатники Парижа. В июне полиция, войска и мобили расстреляли демонстрацию бастующих шахтеров на улицах Ла-Рикамари. На следующий день братская могила приняла тринадцать гробов, украшенных черными и красными лентами.

Не прекращались аресты — в камеры Мазаса, Сент-Пелажи и Консьержери набивали столько узников, что спать им приходилось по очереди. Без отдыха трудились Дельво и его коллеги, похожие в своих черных мантиях

* Феличе Орсини — итальянец, покушался на жизнь Наполеона III за вторжение в Италию. Казнен в 1858 году.

на зловещих воронов. И эта кровавая камарилья смела называть себя «либеральной»!

Так, задыхаясь от гнева, думала Луиза. И поздней ночью, при свете свечи, записывала:

Смерть вам, презренным негодяям,
Но смерть не на святых полях,
Где наших мучеников прах!
Их кровь мы с вашей не смешаем.

Как-то в октябре под вечер Луиза, как обычно, забежала поужинать в один из варленовских «котлов» вблизи ворот Сен-Дени. Она любила эти рабочие столовки с дешевой и неприхотливой едой. По вечерам они превращались в своеобразные клубы — для отвода глаз в них подавали дешевую выпивку,— за стаканом вина или кружкой пива здесь коротал свободные часы рабочий люд.

Здороваясь на ходу со знакомыми, Луиза пробиралась между столиками в угол, к окну, где они с Мари обычно ужинали. Но сестра Теофиля еще не явилась, на ее месте сидела незнакомая девушка в синей жакеточке и такой же шляпке.

— Я вам не помешаю?

— О нет, как можно!

Из-под полей шляпки на Луизу приветливо глянули большие, не то синие, не то зеленые глаза. «Какие красивые»,— подумала Луиза. Да и сама девушка была красива: нежное, хотя и утомленное, лицо, выбивающиеся на лоб белокурые вьющиеся прядки, толстая коса, переброшенная на грудь. И губы — милые, мягко очерченные, по-детски чуть припухшие. «Она не француженка»,— решила Луиза. Ожидая, пока ей принесут тарелку бобового супа, смотрела на руки девушки, на тоненькие аристократические пальцы, их кончики были темными,— по ним Луиза догадалась о профессии незнакомки.

Та неторопливо доедала поджаренные макароны и изредка вскидывала глаза на входную дверь: кого-то, видно, ждала.

— Вы работаете в типографии? — спросила Луиза. Здесь, в рабочих столовых, люди заговаривали друг с другом и знакомились запросто, без церемоний.

Отодвинув тарелку, девушка откинулась на спинку стула и ответила Луизе открытым, доверчивым взглядом, с грустной улыбкой посмотрела на свои пальцы.

— Никак не отмываются, негодные! — сказала она с каким-то детским выражением.— Свинцовая пыль ужасно въедливая!

Чуть помолчали, с симпатией рассматривая друг друга.

— Вы не француженка,— сказала Луиза.— Кто же вы?

— Я русская,— легко отозвалась блондинка.— И в Париже всего полгода, приехала в апреле. А иногда кажется, что живу здесь всю жизнь. И, знаете, Россия — Москва, Петербург, родовое имение — все вспоминается как далекий-далекий сон, все словно в дыму, в тумане...

— Россия,— задумчиво протянула Луиза.— В прошлом году я прочитала «Записки из Мертвого дома» — какая страшная обвиняющая книга! Меня она так взбудоражила, что я принялась искать все, что написано у нас о процессе петрашевцев. Очень напоминает нынешнюю Францию. А вы не встречали в Москве или Петербурге Достоевского?

Луиза с удивлением заметила, что девушка покраснела и нахмурилась, тоненькая вертикальная складочка легла на лбу между плавно изогнутыми бровями. Девушка тряхнула головой, словно отгоняя грустные мысли, но ответила просто:

— Я хорошо знаю Федора Михайловича... Одно время мы очень дружили... четыре года назад...

— Простите,— сказала Луиза, отставляя тарелку.— Давайте знакомиться. Меня зовут Луиза Мишель.

— А меня зовите Аней,— улыбнулась девушка.— Так зовут меня друзья. Фамилия — Корвин-Круковская, а по мужу — Жаклар. Я в Париже успела влюбиться и выйти замуж.

— Ну расскажите же о себе! — попросила Луиза.— Что привело вас в Париж? Что выгнало с родины?

— О, весьма обычная для матушки-Руси история.— Аня вздохнула и снова улыбнулась.— Мой отец — генерал и помещик, ретроград и крепостник, он до сих пор не может простить царю реформы шестьдесят первого года. Все время твердит: «Царь Александр предал и ограбил нас, самых верных своих слуг». И так далее в том же роде... А жили мы в имении Палибино в Витебской губернии. И я еще девочкой насмотрелась на безысходную крестьянскую жизнь. Боже мой! Как было непереносимо горько, как хотелось вырваться, уехать. Я умоляла отца отпустить меня учиться в Петербург или за границу, но он и слушать не хотел. А тут появился у нас в Палибино сосед, питерский студент, Николя Межинов. Тайком от отца он приносил мне «Современник», «Русское слово», герценовский «Колокол»... Ой, как я мечтала и не чаяла вырваться! Представьте, я даже решилась на фиктивный брак, лишь бы освободиться от отцовской опеки. Но к несчастью,— а может быть, и к счастью! — мой избранник господин Ковалевский предпочел мне мою сестру, Соню. Я его понимаю: Сонечка чрезвычайно талантлива и умна, ее работы по математике печатаются во многих странах! И, представьте, как чудесно вышло! Они поженились, поехали за границу, и отец отпустил меня с ними. Поверите ли, я плакала от радости, когда села в вагон, когда переезжали границу.

Аня звонко, на весь зал, рассмеялась, сконфузилась и, робко глянув по сторонам, развела руками.

— И вот видите — я здесь!

— А сестра тоже в Париже? — поинтересовалась Луиза.

— Нет, они остались в Швейцарии.

— И ваш отец, узнав о происшедшем, перестал посылать вам денежки? — усмехнулась Луиза, показав глазами на руки собеседницы.

— Вы угадали! — И Аня снова рассмеялась. Смех у нее был удивительно заразительный, чистый и звонкий, на розовых щеках играли милые мягкие ямочки, смешно морщился носик.— Но я счастлива! Мне всегда жгли ладони отцовские деньги, всегда думалось, что они украдены у голодных мужицких ребятишек.

— Расскажите о Достоевском,— попросила Луиза, положив руку на тоненькие пальчики Ани.— «Преступление и наказание» произвело у нас на всех потрясающее впечатление! Трагическая фигура Раскольникова, его надлом, его обреченность,— я, пожалуй, не смогу назвать литературного произведения, которое подействовало бы на меня сильнее.

Аня опять задумалась, печальная морщинка снова рассекла матово-нежную кожу ее лба, зеленоватые глаза потемнели.

— Ну, хорошо...— Легко вздохнула и провела ладонью по лбу, будто стараясь стереть морщинку.— Мне больно говорить о прошлом, Луиза, но я чувствую себя бесконечно виноватой перед Федором Михайловичем, и, наверно, мне до конца дней моих суждено носить в себе эту боль...

Она на секунду умолкла, но Луиза не торопила, ждала.

— Четыре года назад,— продолжала Аня,— Федор Михайлович просил меня стать его женой. Я ему отказала. Я слишком слаба, чтобы принести себя в жертву. Даже ему, гению! Его жена должна совсем, совсем по-

святить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я так не могу, я сама хочу жить, бороться! Понимаете, Луиза? Наверно, я просто мелкая и подлая эгоистка? Да? Вы меня осуждаете, Луиза?

Луиза нерешительно покачала головой.

— Не знаю... А он не был женат?

— Был. Женился вскоре после каторги, в Кузнецке. Но Мария Дмитриевна умерла пять лет назад. А ему так необходима женская забота, женская рука... Три года назад он все-таки женился на некой Сниткиной, стенографистке,— диктовал ей «Игрока»... Надеюсь, счастлив с ней...

— Они в Петербурге?

— Сразу после свадьбы куда-то уехали, кажется в Швейцарию. В Петербурге утверждают, будто им пришлось бежать от кредиторов. Вот она — российская действительность! Гений, равного которому нет в мире, вынужден спасаться от нужды бегством. Каково?!

Луиза вспомнила о Гюго, скитающемся на чужбине, но ничего не сказала. Помолчали, прислушиваясь к ожесточенному спору за соседним столиком. Там пожилой бородач в запыленной белой блузе каменщика, сердито сверкая глазами, кричал собеседникам, стуча пивной кружкой по столу:

— А я говорю, что ваш хваленый Пьер Жозеф Прудон — путаник. Он пытается увести нас от насущных задач дня! Его «социальная гармония», его призыв к единению с буржуазией, его осуждение забастовок и профессиональных союзов — это отказ от борьбы, это на руку только кровососам! Как вы не понимаете?! Я его «Пепль» еще в сорок восьмом читать не мог. А вы твердите: Прудон, вождь, мессия!

О, сколько похожих, шумных и страстных споров слышала Луиза, в скольких сама принимала участие! Она снова повернулась к собеседнице, протянула задумчиво:

— Жаклар? Я понаслышке знаю вашего мужа, мне рассказывал о нем Рауль Риго. Они вместе учились на медицинском факультете Сорбонны, вместе ездили на Льежский студенческий конгресс в шестьдесят пятом. Не ошибаюсь?

— О, нет! И их обоих с грохотом выставили из Сорбонны! Такие негодные мальчишки!

— Большие Гавроши? — улыбнулась Луиза.

— Вот-вот! — При первом же упоминании имени мужа лицо Ани как бы осветилось изнутри, загорелись ласковым теплом, стали почти синими глаза, налились румянцем щеки. «Счастлива в любви»,— с невольной завистью подумала Луиза. Спросила:

— Его зовут, кажется, Шарль?

— Да, Шарль-Виктор. О, он такой замечательный, такой смелый! В прошлом году делегировался в Берн на конгресс Лиги мира и свободы... А в шестьдесят шестом полгода просидел в Сент-Пелажи...

Аня наклонилась над столом, приблизила лицо вплотную к лицу Луизы.

— Я боюсь за него, Луиза! — вполголоса, со страстной тоской воскликнула Аня.— Каждую ночь жду, что за ним придут, схватят, засудят, сошлют в Кайенну! За ним все время следят, шпионят...

Луиза печально улыбнулась: разве не те же чувства одолевают и ее, и Мари Ферре?

— Вы смеетесь?! — изумленно, с удивлением и горечью спросила Аня, отшатываясь.

— О, нет, нет! Я просто подумала о сходности женских судеб...

— Ваш муж — тоже? — быстро спросила Аня, накрывая своей рукой руку Луизы.

— Я не замужем! — ответила Луиза и почувствовала, что краснеет.

— Да? — Аня почему-то смутилась, но, оглянувшись

на скрипнувшую входную дверь, вскочила и, размахивая шляпкой, закричала, стараясь перекрыть шум зала:

— Шарль! Шарль! Сюда!

Полуобернувшись, Луиза увидела у двери высокого чернобородого юношу с темными живыми глазами. Рядом с ним, вскинув над головой стиснутые кулаки, стоял Эжен Варлен.

И сразу в зале «Котла» прекратились споры и крики, все вскочили, приветствуя Варлена. Со слов Теофиля Луиза знала, что Варлен уехал в Базель на очередной конгресс Интернационала, его возвращения ждали с нетерпением. И сейчас Луиза наблюдала, как десятки людей обнимают Варлена, как каждая компания старается увлечь его к себе.

Но Жаклар никому не уступал своего спутника. Крепко держа его под локоть, пробирался сквозь шумную толпу к столику, где стояла сияющая Аня.

Угловой столик тут же отодвинули от стены, и вокруг него столпились множество людей,— всем хотелось знать, что произошло в Базеле, что постановил конгресс?

Варлен посматривал на собеседников с обычной мягкой улыбкой. Кто-то поставил перед ним стакан вина.

— Каковы решения конгресса, спрашиваете?.. Что ж, могу обрадовать, друзья: силы наши растут! До сих пор мы были бессильны, потому что были разъединены. Но наступает эпоха великого единения рабочего класса!

Луиза слушала, а сама искоса наблюдала за Аней Жаклар,— та нежно поглаживала руку Шарля. Счастливые!

Под окном остановилась темная фигура в треуголке: дежурный ажан интересовался, что происходит в «Мармите».

А Варлен продолжал:

— Сейчас важнейшей задачей является слияние всех

рабочих обществ в Федеральную палату,— тогда мы станем несокрушимой силой...

Послышался звон разбитого стекла,— кто-то так стремительно распахнул двери, что одно из стекол от удара в стену брызнуло на пол. Все оглянулись. Варлен замолчал и сделал глоток вина. Лицо у него было усталое.

А к столику сквозь толпу пробивались Ферре и Риго.

— Привет! Привет, граждане! — кричал Риго, помахивая перчатками.— Привет, Эжен! Ты вовремя вернулся, молодчина! — Риго вскочил на свободный стул.— Слушайте! Слушайте, граждане! Империя опять заливает кровью грудь рабочего класса! В Обене полиция и мобили расстреляли безоружную демонстрацию бастующих шахтеров, их жен и детей! Десятки убитых, сотни раненых! Снова на землю Франции льется кровь!

Крики возмущения заглушили последние слова Риго, а он, спрыгнув со стула, шагнул к Варлену.

— Гражданин Варлен! К твоему голосу прислушивается весь рабочий и молодой Париж! Необходимо десяток слов за твоей подписью для моей новой газеты «Демокрит»! Пиши, Эжен! — И положил перед Варленом карандаш и раскрытый блокнот.

Потирая ладонью широкий лоб, Варлен посмотрел в окно, где неподвижно маячила фигура в черной треуголке.

— Ладно! — Придвинув блокнот, написал и тут же прочитал вслух: — «То, что произошло в Обене, подобные зверские убийства вынуждают нас еще раз заявить, что невозможно жить при таком социальном строе, когда на мирные манифестации капитал отвечает смертельными ружейными залпами...»

Луиза смотрела на спокойное лицо Варлена, на сильные руки ремесленника и думала, что этот крестьянский сын, простой переплетчик заслуживает не только уважения, но и удивления. Вместе с ней он посещал курсы

на улице Отфейль, самостоятельно изучал латинский и греческий, чтобы в подлиннике читать писателей древности,— разве это не поразительно? Какие же могучие силы таятся в нашем народе!

Той памятной осенью Луиза просто изнемогала. Ее властно тянула к себе мечта всей ее жизни — борьба, но невозможно было ни бросить школу, ни передоверить занятия таявшей на глазах мадемуазель Пулен.

Школьные занятия были бы для Луизы просто невыносимыми, если б не сознание, что она воспитывает «своих девочек» так, как того требует завтрашний день Франции, что благодаря ей они вырастут не тупыми самодовольными мещаночками, а патриотками, готовыми на подвиг и самопожертвование,— не зря же она часто напоминает им о славной и трагической судьбе сожженной на костре крестьянской девушки из Домреми...

А обстановка во Франции все накалялась! На основных выборах в Законодательный корпус оппозиция получила па полтора миллиона голосов больше, чем шесть лет назад, трон под усатым императором шатался и скрипел все сильней...

— Мы живем на вулкане, Луиза! — сказал ей как-то Ферре.— Лава народного гнева вот-вот прорвется и испепелит Баденге и его прихвостней! Вы полюбуйтесь на его жирную свору!

Разговор происходил в «Комеди Франсез», куда неугомонная Мари затащила брата и Луизу. Нет, их привлек в театр не душещипательный водевиль покойного мосье Скриба! В журналистских кругах стало известно, что этот спектакль «соизволит осчастливить присутствием Его Величество с семейством и гостящей в Тюильри царственной родней» — так завтра с восторгом сообщит лакейская «Фигаро».

Сейчас партер и ложи слепили глаза: модные диадемы а-ля императрица Евгения, блистающие колье, ожерелья и браслеты великосветских львиц, эполеты и ордена военных чинов и сановников, кресты, аксельбанты, ленты Почетного легиона, трехцветные перевязи депутатов. Шуршали шелка и бархат, отделанные нежнейшим гипюром и валансьенскими кружевами, перезванивались серебряные шпоры, искрилось драгоценными каменьями именное оружие.

Императорская семья еще не появлялась, и зал непринужденно шумел, но глаза «верноподданных» постоянно обращались к державной ложе, где на фоне красного бархата простирал крылья и топырил когтистые лапы позолоченный орел.

Журналист и газетчик, Теофиль знал в лицо почти всех вельмож и сановников, «славу и гордость нации», и с саркастической усмешкой сообщал Луизе подробности.

— Этот? В генеральском? — язвительно переспрашивал он, щурясь сквозь пенсне.— Стыдно не знать, миледи! Это известный всему миру герой, маршал Ашилль Базен! Именно он покрыл себя немеркнущей славой, возглавляя Мексиканскую экспедицию, именно на его руках кровь тысяч французских парней, закопанных в землю Америки! А рядом видите уродливо-лобастую, горилью башку? Это генерал Трошю, тоже герой. Посмотрите: вся грудь в звездах, словно иконостас! А толстяк в соседней ложе — глава Законодательного корпуса Эжен Шнейдер, владелец сталелитейных и пушечных заводов в Крезо и...

Теофиль не договорил — грохот аплодисментов и ликующие крики прервали его. Стоя спиной к сцене, сановная, вельможная Франция приветствовала своего кумира.

— О-ля-ля! — с гримаской деланного восхищения

воскликнула Мари.— И маленький Баденгетик, Наполеончик Четвертый тут. О-ля-ля, пупсик!

В парадном мундире, с широкой голубой лентой через плечо Луи Бонапарт стоял в глубине ложи и напряженно смотрел в зал.

— Клянусь, душонка у него в пятках! — усмехнулся Ферре.— Он не может забыть бомбы Феличе Орсини!

— С какой радостью я отдала бы жизнь, чтобы увидеть эту гадину дохлой! — шепнула Луиза. Лицо у нее побледнело, ноздри тонкого носа нервно раздувались.

— А вы думаете, Луиза, что здесь,— Теофиль сердито кивнул вниз,— не найдется ему замены?! Будьте спокойны, сударыня! Убивать их надо всех вместе, лишь тогда восстание обретет смысл!

Луиза с удивлением оглянулась на Теофиля,— никогда не видела его таким ожесточенным.

Водевиль оказался пошленький, сентиментальная мелодрамка с обязательной мещанской назидательностью. С отвращением глядя на сцену, Луиза вспоминала пьесы Гюго,— восемнадцать лет Париж не видит «Рюи Блаза», «Марии Тюдор», «Лукреции Борджиа»!

В антракте журналисты оживленно обсуждали последние события.

— Вон там галдят о чем-то мои соратники по «Улице» и «Шаривари»,— сказал Теофиль своим спутницам, пробираясь сквозь толпу.— Пойдемте. Я познакомлю вас.

У задернутого драпировкой окна стояли братья Луи и Виктор Нуары, красивые, ладные, похожие друг на друга, «словно два су чеканки одного года» — так посмеивался над ними Теофиль. Были здесь: знакомый Луизе писатель и публицист Жюль Валлес с иконописным лицом, с задумчивыми обжигающими глазами; журналисты Паскаль Груссе и Гастон Дакоста; бывший бочар, а ныне газетный издатель Жан Баптист Мильер, многие дру-

гие,— кое-кого Луиза встречала в редакциях прогрессивных газет.

— О чем шум, братия? — спросил Ферре, подходя.— Какая-нибудь сенсация?!

— Да, Тео! В Фени, на границе, арестован Рошфор!

Теофиль представил друзьям сестру и Луизу, и все снова заговорили, зашумели. Да, да! Находившийся с августа прошлого года в эмиграции редактор знаменитого «Фонаря», бежавший от тюрьмы за границу, возвращался в Париж по приглашению избирателей,— на дополнительных выборах он выдвинут в Законодательный корпус. Но на перроне пограничного Фени полицейский комиссар задержал Рошфора, и «кандидат в депутаты» находится сейчас под надежной охраной.

— Ну и дураки, повторяю я! — усмехнулся Паскаль Груссе, обращаясь к Теофилю.— Безмозглые! Они лишь увеличивают популярность Рошфора!

— Безусловно! — согласился Ферре.— Хотят они или не хотят, а освободить Анри им придется. А уж после такой рекламы избрание обеспечено!

— Вы уверены? — язвительно улыбнулся Гастон Дакоста, поглаживая чисто выбритую щеку.— А почему не предположить, что они все же упрячут Рошфора в Сент-Пелажи? Ему же что-то причитается по суду за избиение пасквилянта Рошета!

Луиза знала Анри Рошфора, которого трибунал под председательством того же Дельво «за оскорбление особы императора, возбуждение ненависти и презрения к правительству» приговорил к тюрьме. Предупрежденный издателем Вильмессаном, Рошфор успел уехать за границу, где и продолжал издание «Фонаря». Журнал доставлялся в Париж контрабандным путем.

— Да! Вы, может быть, не знаете, что приключилось с «Фонарем» не так давно,— рассмеялся Груссе.— Анри

умудрялся, оказывается, доставлять брошюрки «Фонаря» в Париж в... можно ли поверить?! — в гипсовых бюстах императора! Да, да! Во Франции больше тридцати тысяч общин, и большинство из них заказало бельгийскому скульптору — уже не помню имени — бюст самодержца! Бюсты ежедневно перевозят через границу. Ну, у кого же из таможенников или полицейских поднимется рука потрошить бюст великого?! Кощунство! А бюсты-то полые! И вот однажды на той же Фени очередной бюстик нечаянно кокнули, и — представьте! — из императора посыпались красные рошфоровские книжечки! Боже мой, что творилось на таможне!

— И все же я убежден,— сказал Груссе,— что завтра Рошфор приедет в Париж! И приедет свободным!

— А засим — новость номер два! — глуховатым баском произнес молчавший до сих пор Жан Мильер.— Ваш покорный слуга,— он чуть поклонился,— внес залог и получил разрешительный штемпель на издание газеты «Марсельеза». Он счастлив пригласить мадемуазель и мосье сотрудничать! Он заручился согласием Огюста Бланки, Поля Лафарга, Эжена Варлена и Женни Маркс. Первый номер «Марсельезы» имеет выйти в свет двадцать девятого декабря сего года. Жду вас на улице Абукир, что у ворот Сен-Дени! А кто из вас первым увидит Рошфора, прошу передать, что один из редакторских столов в моей газете его ждет.

А через две недели, десятого января...

В тот хмурый день, отпустив учениц, Луиза заторопилась на курсы, где слушала лекции по естествознанию, физике и химии. Она любила не только эти занятия, она любила шумную толпу, наполнявшую классы и коридоры курсов,— их посещали в основном мятежно настроенные молодые люди. Теперь именно здесь она часто встречалась с Теофилем.

Торопливо бежала по спускавшимся с Монмартра узким улочкам. Вечерело. В переулки наползали тени. Прошел, волоча ноги, фонарщик с лестницей на плече,— его путь отмечали синеватые огни загорающихся газовых фонарей. Прошагали два трубочиста в цилиндрах, с испачканными сажей, утомленными лицами. Промаршировала, вызывающе звеня шпорами, группа напыщенных кавалерийских офицеров. На ступеньках паперти церкви Святого Жака скорчилась закутанная в изодранную кофту девочка. У Луизы защемило сердце.

Порылась в кармашках старенького, на рыбьем меху, пальтишка, наскребла горсть монеток и, оставив себе полфранка, сунула остальные в худую, иззябшую ладошку.

— Иди! Купи хлеба и беги домой.

Когда добралась до людного, как и всегда в эти часы, бульвара Сен-Дени, услышала пронзительные вопли газетчиков:

— Убийство на улице Отейль!

— Принц Пьер застрелил Виктора Нуара!

— Убит сотрудник «Марсельезы», секундант Паскаля Груссе!

Луиза остановилась, пораженная. Убит Виктор, такой молодой, такой талантливый?! Не может быть!

— Читайте «Марсельезу»! Читайте...

Вечерний выпуск «Марсельезы» и по формату, и по хлесткой краткости напоминал прокламацию,— текст набран крупным, жирным шрифтом.

Остановившись под газовым фонарем, Луиза прочитала:

«Я имел глупость думать, что Бонапарт может быть чем-нибудь другим, кроме как убийцей! Я смел воображать, что лояльный поединок возможен в этой семье, в которой убийство и западня являются традицией и обычаем.

Наш сотрудник Паскаль Груссе разделял со мною это заблуждение — и сегодня мы оплакиваем [его секунданта] нашего бедного и дорогого друга Виктора Нуара, убитого бандитом Пьером Наполеоном Бонапартом.

Вот уже восемнадцать лет, как Франция находится в окровавленных руках этих разбойников, которые, не довольствуясь расстрелом республиканцев на улицах, завлекают их в гнусные ловушки, чтобы укокошивать их у себя на дому.

Французский народ! Разве не находишь ты, что пора положить этому конец?»

Подписано: Анри Рошфор.

Луиза перечитала два раза и лишь тогда подняла голову. Возле фонаря толпились люди с газетными листками в руках.

— Н-да! — рассерженно хмыкнул корепастый человек в потертом пиджаке, ни к кому не обращаясь.— Упрячут они теперь Рошфора за решетку. Как пить дать, упрячут! Дерзкий господин! Недаром министр юстиции мосье Оливье заявил на днях, что Францией невозможно управлять, пока Рошфор на свободе!

— В тюрьмах и без Рошфора тесно,— хмуро заметил кто-то, кого Луиза не смогла рассмотреть.— Скоро половина Франции перейдет на казенный харч — в Мазас и Сент-Пелажи!

Она медленно пошла дальше. У арки Сен-Дени вкусно пахло жареными каштанами,— краснощекая женщина топталась у пышущей жаром сковороды. Луиза любила жареные каштаны и, когда в кармане позванивало несколько су, всегда покупала. Но сейчас равнодушно прошла мимо.

Как такое могло произойти? Почему двоюродный брат императора убил сотрудника «Марсельезы», республиканской газеты, которая с первого номера позволяет себе весьма язвительные выпады против Империи Луи Напо-



леона и лично против него? Ведь всему Парижу известно, что вот уже много лет принц Пьер не в ладах с царствующим кузеном!.. О, здесь есть над чем подумать!

Недоумения Луизы рассеял Теофиль. Она застала его в вестибюле курсов,— он ожидал, сидя на подоконнике, с неизменной сигарой во рту. Бледный, как всегда, блестя сквозь сильные стекла пенсне антрацитовыми глазами, ероша густую черную бороду, шагнул навстречу.

— Пошли! Не может быть, чтобы это кончилось просто! Час пробил! — Он с силой взял Луизу под руку.

В пути Теофиль пояснил Луизе, ради чего Пьер Бонапарт мог убить Виктора Нуара. Оказывается, принц послал вызов на дуэль Анри Рошфору, но того в редакции «Марсельезы» не было, и один из его друзей, Паскаль Груссе, немедленно отправил к принцу Пьеру секундантов: Виктора Нуара и Ульриха де Фонвиеля. Пьер Бонапарт намеревался убить Рошфора, чтобы войти в милость к царствующему кузену,— это ясно! Взбешенный тем, что к нему явился не Рошфор, не сумев сдержать необузданного корсиканского нрава, он и застрелил Нуара. Вот какова подоплека! Недаром же императрица Евгения, узнав о происшедшем, с восторгом воскликнула: «Пьер — настоящий родственник!»

— Париж в ярости! — говорил Ферре.— Париж бурлит! Вы посмотрите, Луиза, что делается на улицах. И обратите внимание — уже скапливаются войска и отряды полиции.

— Но ведь его положено судить, как уголовного преступника! — воскликнула Луиза.— За убийство полагается гильотина!

— Ой! До чего же вы наивны, Луиза,— усмехнулся Ферре.— Разве позабыли, что еще в пятьдесят втором году правительство приняло закон, по коему никто из императорской семьи не может быть предан обыкновенному суду. Убийца-то — Бонапарт! — Он помолчал, чер-

ные брови туго сошлись на переносице.— Ах, как жаль Виктора!

У дома принца Пьера на улице Отейль бушевала толпа, хотя Луи Нуар уже увез тело брата домой, а убийцу отряд полиции препроводил в тюрьму Консьержери.

В толпе раздавались крики:

— В Консьержери! Схватить принца-убийцу! Покончить с ним!

Луиза и Теофиль пробрались сквозь давку к парадному входу, поднялись на ступеньки. Кто-то из толпы крикнул им:

— Не входите! Там убивают!

Дверь оказалась заперта, и на стук Ферре никто не отозвался.

— Голову даю на отсечение, полиция просто спасала убийцу от суда Линча! — сказал Теофиль, когда они возвращались на Монмартр.— Народ разорвал бы эту падаль на мелкие клочья! Вот увидите, Луиза, во что выльются похороны Виктора! У вас есть оружие?

— Да. Кинжал. Я стащила у деда, когда мечтала о подвиге Гармодия.

— Возьмите с собой. Завтрашний день мы можем встретить на баррикадах! Взгляните, как кипят улицы!

На Монмартр Луиза добралась поздно, но и здесь, в кабачках и на улицах, не затихало возбуждение.

Мама Марианна поджидала Луизу у дверей, лицо — измученное, в глазах страх. И желтенькая Фифетка, скуля, бросилась под ноги, прыгая и стараясь лизнуть руку.

— Как я волновалась, Луизетта! — с горечью упрекнула мать.— Весь Париж, говорят, клокочет! А ты такая... с тобой любая беда может приключиться!

— О, мама! Ведь должны же мы добиться свободы! Придет же когда-то конец кровавому режиму! Этого рыжеглазого деспота...

— Ах, дочка, дочка! — перебила мать.— Ну разве можно?! Ведь за такие слова...

Луиза обняла ее, прижала к груди.

— Ой, мама, мама! Ничего ты, старенькая, не понимаешь!

В своей комнате, заваленной книгами и рукописями, Луиза прошла к столу, взяла чистый лист бумаги, написала легким летящим почерком:

Вперед, под пенье «Марсельезы»!
Вперед, друзья, вперед, вперед!
В гул битвы наши львы несутся.
Монмартру эхом вторит даль.
Не устоять тебе, Версаль,
Пред океаном революций!

Но долго усидеть за письменным столом не могла. Вскакивала, подходила к окну, раздвигала жалюзи, выглядывала на улицу. Обычно в этот час рабочие кварталы Монмартра уже спят: завтра подниматься чуть свет, спешить к станкам и машинам, гнуть спину четырнадцать — шестнадцать часов за жалкий кусок хлеба!.. Но смотри, Луиза, сегодня сквозь жалюзи и занавески светятся все окна, от первых этажей до мансард! Париж не спит, Париж готовится сорвать смирительную рубаху, напяленную на него косоглазым Баденге!

Шагая из угла в угол, Луиза прислушивалась к тому, что делается в спальне матери. Кажется, она легла,— стукнули о пол сброшенные — нога об ногу — туфли, скрипнула деревянная кровать. Нет, сейчас еще нельзя уходить, услышит.

Снова присела к столу и под недавно написанным стихотворением вывела крупными буквами:

«Мы грезим о будущем, и герой декабрьского переворота кажется нам единственным препятствием к свободе!»

Через полчаса, выйдя на цыпочках в коридор, Луиза

постояла у дверей спальни матери, прислушалась к сонному дыханию. Теперь можешь, Луиза, часа два побродить по улицам. Неужели Теофиль прав, и правительство, предчувствуя завтрашние события, стягивает в город войска и полицейскпе силы?

Накинув плащ и надвинув на лоб широкополую шляпу, стараясь не скрипнуть дверью, Луиза выскользнула на лестницу.

Узкие улочки Монмартра опустели, лишь уборщики мусора копошились возле магазинов и складов да изредка грохотали колеса ломовых телег, подвозивших к утру хлеб, мясо и овощи.

Луиза направилась к центру, хотелось взглянуть, что делается в фешенебельных кварталах, где в роскошных особняках обитают потомственные буржуа и нувориши. Перейдя площадь Пигаль, по улице того же наименования спустилась к незаконченной постройке, обнесенному лесами колоссальному зданию Оперы, вышла на бульвар Капуцинок.

О, здесь вовсю кипела ночная жизнь!

Празднично пылали окна ресторанов и кафе, за которыми вспыхивали многоцветные искры драгоценных камней, радужно переливались шелка, гарсоны с ловкостью циркачей скользили между столами, неся над напомаженными головами сверкающие хрусталем подносы, приглушенно звучала музыка. А у подъездов с деланно скучающим видом прогуливались женщины, разодетые с показной и убогой претензией на роскошь.

Но сегодня Луиза отмечала и необычное, настораживающее. Да, Теофиль прав, во многих переулках попыхивают сигарками темные фигуры, поблескивают штыки. Ей даже показалось, что в одном из тупичков, неподалеку от редакции и типографии «Марсельезы», виднелись в полутьме очертания колес и пушечных дул.

Несмотря на молодость — ему не исполнилось и два-

дцати пяти,— Ферре часто оказывается прав в оценке и сегодняшних событий и будущего.

Как не раз бывало и раньше, Луиза поймала себя на мысли, что слишком много думает о Теофиле. Она боялась признаться себе, но еще никогда и ни к кому ее не влекло так, как к дерзкому и безрассудно отважному Ферре. Но не надо об этом, пусть все останется так, как есть. Пожалуй, и того, что имеешь, достаточно для счастья...

Домой Луиза вернулась поздно. Поднимаясь на Монмартр, на углу улицы Марти увидела ломовую телегу, груженную мясными тушами. Людей возле не было, а лошадь лежала на мостовой, бессильно откинув голову с растрепанной гривой. Дышала она тяжело, глаз ее в свете газового фонаря мерцал остро и жалобно.

Луиза подошла, присела на корточки, прикоснулась ладонью к лошадиной голове, та под ее рукой чуть заметно дрогнула.

— Что с тобой, лошадь? — спросила Луиза.

И только тут рассмотрела, что левая передняя нога лошади, неестественно согнутая под прямым углом, застряла в провале мостовой, между булыжниками.

— Тебе больно? — шепотом спросила Луиза.

И в ответ лошадь влажно сверкнула фиолетовым глазом, словно пожаловалась: да, больно.

Луиза погладила лошадиную морду, села на мостовую и, с трудом подняв голову лошади, положила себе на колени.

— Ты потерпи. Потерпи...

Она не знала, чего ждет и сколько просидела так. От промерзшей земли тянуло холодом. Тело ее окоченело. Она не заметила, что с головы свалилась шляпа.

Но вот послышались приближающиеся шаги и голоса. Это возвращался возчик, рядом с ним шагал плечистый ажан,— лишь его и смог отыскать незадачливый

возница, чтобы кто-нибудь помог ему в беде. Они подошли, увидели Луизу, сидевшую на земле и державшую на коленях лошадиную голову.

— Чего вы делаете, мадемуазель? — недоуменно спросил возчик, пытаясь рассмотреть в полутьме лицо Луизы.

— Я думала, ей так легче,— виновато отозвалась Луиза.— Хотела помочь...

— К сожалению, никто не может помочь моей бедной старухе, мадемуазель! — с горечью и ожесточением буркнул извозчик. Его крупное, мясистое лицо было напряженно-печальным, казалось, он вот-вот заплачет.— Ни вы, ни я ничем не можем помочь, мадемуазель! Она поломала ногу, будь прокляты парижские мостовые! Чем я буду дальше кормить семью?! Прямо хоть в петлю!

— А что же вы хотите сделать с ней? — спросила Луиза.

Возчик промолчал, а ажан сухо и сердито сказал:

— Вам на это не нужно смотреть, мадемуазель! Идите-ка вы домой!.. Единственное, что можно сделать,— это облегчить страдания несчастного животного.

— Вы... вы убьете ее?! — закричала Луиза, изо всех сил прижимая к коленям горячую лошадиную голову.

— У нее сломана нога, мадемуазель. Она даже не сможет добрести до конюшни.

— Нет! Нет! — закричала Луиза.

Но возчик и ажан взяли Луизу под руки, силой подняли и отвели в сторону.

— А ну, отправляйтесь домой, мадемуазель! — сердито приказал ажан.— Куда вам нужно?! И возьмите шляпу, если она ваша!

Луиза пыталась освободиться, но они крепко держали ее под руки, а когда довели до угла, остановились. И тут Луиза вырвалась и не пошла, а побежала, словно преследуемая чем-то ужасным. Бежала и зажимала ладонями уши, чтобы не слышать выстрела...

Утро двенадцатого января — пасмурное и холодное, низкие облака касались тускло-красных черепичных крыш, каменного леса дымовых труб, скрывали шпили и кресты соборов. Но никто из парижан в то утро не смотрел в небо, всех волновало то, что должно было произойти на земле, на улицах и площадях Парижа.

Глянув в зеркало, Луиза увидела горячечно пылавшие щеки, ввалившиеся глаза, пересохшие губы. Ну вот, Луиза, пришел и твой час! Помнишь, как однажды, в ранней юности, тебе приснился Сен-Жюст, который сказал: «Слышишь голос, зовущий тебя? Час пробил, идем!» Ты рассказала тогда сон деду, но он ничего не ответил, лишь посмотрел с грустной и вдумчивой значительностью.

Да, настало время проклятому Наполеончику расплачиваться за кровь французов, пролитую на мостовые Парижа мамелюками, пробивавшими ему дорогу к престолу великого дяди, прах которого, перевезенный с острова Святой Елены, ныне покоится в величественном красногранитном саркофаге во Дворце Инвалидов... Нет, в народе не зря говорят, что кровь, пролитая Баденге, доходит до брюха его лошади!

Раздвинув книги на одной из полок стенного шкафа, Луиза достала припрятанный за ними кинжал, отыскала в чулане мужскую куртку и брюки, их оставил гостивший у них брат Марианны. Иногда по вечерам, выходя из дому, Луиза надевала этот поношенный костюм и шляпу,— в мужской одежде чувствовала себя спокойнее и смелее.

Мать с беспокойством наблюдала за ней.

— Ты обязательно должна идти, Луизетта? — Она смотрела умоляющими глазами, готовая заплакать.

— Да, мама!

— А если там будут стрелять, Луизетта?!

— Тем более!.. Мы так долго ждали этого дня! Не-

ужели ты простила бы, если бы твоя дочь в такой день трусливо, как крыса, спряталась в своей норе! Да ты первая стала бы презирать меня!

— Береги себя, Луизетта! — дрожащим голосом попросила Марианна.— Помни: кроме тебя, у меня никого нет.

— Не беспокойся обо мне, мама! Я верю, что с похорон Виктора мы вернемся уже не в ненавистную Империю Бонапартов, а в республику! — Ей хотелось добавить: «Или не вернемся совсем!», но, глядя в полные слез глаза матери, не решилась произнести беспощадные слова.

Луиза знала, что тело Виктора Нуара увезли в Нейи, на улицу Марше, где он жил. И именно туда сейчас устремлялся рабочий и студенческий Париж, толпами шли пешие, заворачивали с обычных маршрутов омнибусы. Полиция пока ничего не предпринимала. Да, пожалуй, и рискованно было вмешиваться: глаза людей пылали, громко звучали слова проклятий и ненависти. Негодование вызвал слух о том, что принц-убийца вовсе не содержится в тюремной камере Консьержери, а является почетным гостем начальника тюрьмы, обедает и ужинает за его семейным столом.

— Все они — одна шайка! — ворчал седоусый рабочий, потрясая прокуренной трубкой.

У вокзала Сен-Лазар этот рабочий помог Луизе втиснуться в омнибус, едущий по бульвару Османа к площади Этуаль и далее — от Триумфальной арки в Нейи. В омнибусе никто не сдерживался в выражениях. Многие, как и Луиза, были вооружены. Один студент-архитектор заткнул за пояс большой стальной циркуль, иного оружия у него не нашлось.

— И этим можно убивать тиранов! — сказал он Луизе с застенчивой усмешкой.— Ведь иногда ненавистное горло рвут просто голыми руками. Не правда ли?

И Луиза засмеялась в ответ.

Она не запомнила номер дома в переулке Массена, по улице Марше, где ждало похорон тело Виктора. Да и не было необходимости запоминать: многотысячная толпа заполняла все улицы, ведущие к дому Нуаров. На каждом рукаве, на каждой шляпе темнела траурная креповая повязка или пламенел красный лоскут.

Луиза медленно пробиралась сквозь толпу.

— Пропустите! Пропустите! Он родной мне! — повторяла она.

И ее пропускали, проталкивали вперед. Через полчаса она оказалась в комнате, где помещался гроб. Он стоял у дальней стены, на стульях, у изголовья — две женщины в черном, старая и молодая. За ними белела простыня, закрывавшая зеркало.

Там же, в изголовье гроба, увидела она брата Виктора и Теофиля Ферре, Шарля Делеклюза, Анри Рошфора и Жюля Валлеса.

Притиснутая к стене, поднявшись на цыпочки, через плечи стоявших впереди, увидела неподвижно-белое лицо, окруженное красными гвоздиками, сложенные на груди руки, наискось переброшенные через гроб черные и красные ленты.

С трудом отвела глаза и столкнулась с немигающим взглядом Теофиля. Сердце ее дрогнуло. Рядом с Теофилем Шарль Делеклюз задумчиво теребил худыми пальцами седую бородку. Возможно, если бы не эта нелепая смерть, Виктор Нуар прожил бы жизнь так же, как прожил ее Шарль Делеклюз! Рискованнейшая работа в тайных обществах «Молодая гора» и «Марианна», аресты, жестокие допросы, тюрьмы, ссылки... Луизу подкупало в Делеклюзе то, что во имя служения революции он отказался от личной, семейной жизни. «Стальной брус» — так прозвали его друзья.

С трудом переводя дыхание, она смотрела то на мра-

морное лицо мертвого, то на сурово-печальные лица живых — Теофиля, Валлеса, Делеклюза.

И еще один человек привлек внимание Луизы. В самом темном углу комнаты она увидела тонкий нервный профиль, обжигающие глаза проповедника, властный рот. Чувствовалась в этом человеке необычная и страстная сила, и в то же время сквозь внешнюю суровость проглядывала доброта.

Луиза спросила у стоящего рядом, показывая глазами:

— Это кто?

Тот проследил за ее взглядом, и губы его чуть приметно дрогнули, будто он испугался.

— Тш-ш! — ответил едва слышно.

Через полчаса, на улице, когда они медленно шагали за катафалком, Теофиль на вопрос Луизы сказал, что это — Огюст Бланки, приговоренный к смертной казни за организацию восстания против Луи Филиппа в тридцать девятом году, просидевший десятки лет в крепости Мон-Сен-Мишель, недавно бежавший из тюрьмы на Корсике. Бланки не имеет права появляться во Франции, если его опознают — снова тюрьма! Он «вечный инсургент», «вечный узник!».

Но это было чуть позже, а пока в дом набивалось все больше людей, Луизу оттесняли вглубь. Теперь, через окно, за пылавшими на подоконнике геранями она видела множество обнаженных мужских и покрытых чепцами и шляпками женских голов.

Возвышаясь над толпой, сквозь скорбное человеческое море медленно пробирался к дому погребальный катафалк, запряженный темными, в траурных попонах, лошадьми, высокие белые султаны мерно покачивались над их головами. Служитель в черном сюртуке и блестящем цилиндре что-то говорил, разводя в стороны руки.

Рядом со служителем на облучке стоял высокий и

стройный человек тоже во всем черном,— лицо Луизе знакомо. Когда катафалк приблизился, она узнала: Гюстав Флуранс! Она с восхищением слушала его дерзкие атеистические лекции по естественной истории в Коллеж-де-Франс.

В комнате становилось теснее, Луиза вскоре оказалась у изголовья гроба, рядом с братом убитого. Она слышала, как Луи Нуар шепнул Делеклюзу:

— Но как же вынесем? Невозможно!

— Поднимем вверх! — кратко отозвался Делеклюз.

— Тогда пора. Катафалк у подъезда,— сказал Жюль Валлес.

И вот десятки рук подняли гроб, обитый красным и черным шелком, и он словно поплыл над головами к двери, передаваемый с рук на руки. Следом за гробом двинулись люди, минут через десять Луиза с Теофилем были на крыльце. Черно-красный гроб с серебряными кистями покачивался над толпой.

— Идем! — приказал Теофиль Луизе, проталкиваясь сквозь толпу к катафалку.— Не отставайте!

— А где хоронить? — спросила она.

Теофиль не ответил.

Да, это еще предстояло решать! Одни, возглавляемые неистовым Флурансом, требовали нести останки Виктора через весь Париж — на улицу Абукир, к редакции «Марсельезы», и оттуда, после гражданской панихиды,— на кладбище Пер-Лашез.

— Да, через весь Париж! — сверкал синими глазами Флуранс.— Мы не должны отступать! Мы встали на дорогу восстания, на порог революции! Нам ли, братья, бояться крови?!

Спокойный, седой Делеклюз возражал Флурансу, а похоронная процессия с печальной неторопливостью приближалась к главной авеню Нейи, ведущей к центру Парижа.

— Я ничего не предвижу, Гюстав, кроме тысяч и тысяч напрасных жертв! — убежденно качал головой Делеклюз.— Бесспорно, мы должны отомстить за Виктора. И отомстим! Но не сегодня! Поймите, Флуранс, Империи сейчас нужен лишь повод для избиения. Нас ждут засады, каким бы путем мы ни пошли. Генералы Баденге готовы на любую провокацию, только бы перебить побольше республиканцев!

И все же те, кто хотел нести тело Виктора по Парижу, попытались повернуть катафалк к Елисейским полям. И когда служитель похоронного бюро отказался подчиниться, они перерезали постромки и сами впряглись в траурные дроги.

Делеклюз бросился к Луи Нуару:

— Луи! Только вы можете предотвратить бойню! Вы брат! Вас послушают! Остановите, пока не поздно!

Секунду помедлив, Луи Нуар вышел и встал перед катафалком, преграждая путь.

— Я не желаю для брата кровавых похорон! Погребем его на кладбище Нейи!

О, как Луиза была не согласна с ними, с Луи Нуаром и Делеклюзом, как ей не терпелось сразиться с коронованной сволочью и ее приспешниками. Но шедший рядом Теофиль стиснул ей руку, и она подчинилась.

Кладбище Нейи...

Луиза не слушала, что говорили над гробом, так ей было тяжко. От тревог, от бессонной ночи она очень ослабела, и когда могилу зарыли и покрыли горой венков, Луиза не в силах была идти. Теофиль нанял фиакр: к концу похорон они во множестве поджидали у кладбища.

Словно сквозь сон Луиза видела, что в стоявший впереди экипаж сели Анри Рошфор и Паскаль Груссе. Но большинство участников похоронной процессии возвращалось в Париж пешком. Шли плотной толпой, растя-

нувшейся на километры. Экипажи и кареты, подчиняясь ее движению, следовали вместе с нею.

У Триумфальной арки, на площади Этуаль, возвращавшихся ожидал десяток эскадронов имперской гвардии и, когда экипажи Рошфора и Ферре выехали на площадь, у строя кавалерии раздалась трескучая барабанная дробь. Картинно гарцуя на выхоленном жеребце, к арке подскакал полицейский комиссар.

— Рра-а-а-зо-ой-ди-ис-сь! — прокричал он.

Странно, что полицейский комиссар собирался командовать армейскими частями, но Луиза поняла, что и полицейские подразделения стоят где-то поблизости и команда будет отдана и тем и другим сразу.

Приподнявшись в коляске, она видела, что из переднего фиакра выскочил Рошфор и, подняв руку, шагнул навстречу полицейскому комиссару.

— Сударь! — громко крикнул Рошфор.— Мы возвращаемся с похорон нашего друга. У нас мирные намерения!

— Разойдитесь немедленно! — с угрозой повторил комиссар.— Иначе... изрубят саблями!

Оглянувшись, он властно махнул рукой, и в стороне приготовившихся к атаке эскадронов снова раздалась напряженная дробь барабанов. Только тут Луиза увидела в глубине выходивших на площадь улиц синевато-сизые полицейские мундиры.

— Но я депутат Законодательного корпуса! — продолжал Рошфор.— Извольте меня пропустить!

— Вы первый будете изрублены! — багровея, рявкнул комиссар.— Прочь с площади! Про-о-очь! Слышите, вы?!

И лишь теперь Луиза убедилась, как правы были Делеклюз и Луи Нуар: в Париже все готово к массовому избиению и нет сомнения, что первыми жертвами станут наиболее ненавистные империи республиканцы.

Много позже Луиза прочитает строчки из письма Энгельса Марксу:

«Истинное счастье, что, вопреки Г. Флурансу, на похоронах Нуара не началась заварушка. Бешенство «Pays» * свидетельствует о жестоком разочаровании бонапартистов. Ведь лучшего и желать нечего, как захватить все революционные парижские массы *вне* Парижа, именно *вне крепостных стен,* имеющих лишь два-три прохода, в открытом поле на месте преступления».

Толпа, хоронившая Виктора Нуара, рассеялась. Вернувшись домой, Луиза с трудом удерживала слезы бессилия и разочарования. Она считала, что благоприятный момент для свержения Баденге безвозвратно упущен!

Марианна, как могла и умела, утешала дочь:

— Ну что сделаешь, Луизетта?! У них сила.

— Ах, мама, мама! Неужели тебе не осточертело всю жизнь чувствовать над собой эту злую, неправую силу?!

— А что делать, Луизетта?

— Бороться!

Закрывшись в своей комнате, она поцеловала лезвие кинжала и поклялась жизнью,— если окажется возможно, она пронзит этим лезвием жирную, оплывшую тушу последнего Бонапарта...

— Все познается в сравнении,— с горечью повторяла Луиза, сидя в опустевшей комнате Пулен.— Никогда не думала, что так больно будет расставаться с Нинель, хотя и понимала, что тягостный час вот-вот настанет.

Да, Нинель Пулен не суждено больше вернуться в эту комнату. Как много умирает во Франции девушек и женщин, не доживших даже до тридцати, так и не получивших от судьбы своей дольки счастья!

* «Pays» (*фр.*) — «Родина», бонапартистский орган.

При мысли о смерти встало перед глазами мертвое лицо Виктора Нуара, алебастрово-белое, с потемневшими веками, неподвижная рука с красной гвоздикой. Только после смерти Виктора Луиза узнала, что подлинная фамилия Нуаров — Сальмон, а его настоящее имя — Иван. Да, да, не французское Жан, а русское Иван! Что связывало убитого с далекой и загадочной Россией?

Взяла со стола раскрытую книгу — роман Андре Лео «Скандальный брак» с дарственной надписью ей, Луизе. Бедная Нинель любила эту книгу, осуждающую бесправие женщины, воюющую против предрассудков и мракобесия.

И вдруг Луизу как бы опахнуло холодом: она только что подумала о Пулен, словно о мертвой — «любила»! Но ведь она жива, еще жива! Нужно почаще навещать ее в больнице, чтобы ей не было так одиноко, чтобы чувствовала, что есть люди, которым она дорога!

Взяла со стола второй роман Андре Лео — «Развод», такой же горький и гневный, над страницами которого поплакала и еще поплачет не одна обиженная, оскорбленная женщина... Кстати, Андре тоже подписывает свои произведения не подлинным именем Леони Бера, а вымышленным. Правда, здесь есть логика: ее сыновей зовут Лео и Андре, отсюда и псевдоним. Но откуда: Иван-Виктор?

Под окном вспыхнул синеватый свет,— прошел с лестницей на плече фонарщик, зажигая уличные огни.

Луиза спохватилась: сегодня в столовой у Сен-Дени она должна встретиться с Анней Жаклар и Андре Лео. Непростительно опоздать!

Поправила одеяло на постели Нинель, прикрыла жалюзи. В своей комнатке оделась потеплее: за окнами сорился редкий медленный снег.

Из кухни выглянула Марианна.

— И сегодня уходишь, Луизетта?

— Да, мама.

— Господи, как мне тоскливо одной! Теперь, без Нинель, я и вовсе умру с тоски. В доме только кошки и Финеттка, добрые, но бессловесные твари... А ты...

— Перестань, пожалуйста, мама! Сама знаешь, у меня дела.

Поцеловала мать в щеку, приласкала Финеттку, сбежала, стуча каблуками, по лестнице.

Таял под ботинками влажный снег, фонари в ореоле падающих снежинок походили на огромные пушистые одуванчики.

Как ни торопилась, все же опоздала: в «Котле» у Сен-Дени уже ждали. Андре Лео писала, склонившись над столиком, а Аня Жаклар разговаривала с Натали Лемель. У Жаклар — встревоженное лицо, горькая складочка перечеркнула лоб.

Потирая озябшие руки, Луиза присела к столу. Натали и Аня поздоровались, а Лео, не переставая писать, лишь улыбнулась, как всегда, мягко и добро.

— Прости, Луиза. Сейчас кончу...

Вполголоса, чтобы не мешать Лео, Луиза спросила Аню, что случилось, на ней же лица нет! И Аня шепотом рассказала, что ночью в их квартирку в Пюто ворвались жандармы и все перевернули вверх дном, искали оружие и бомбы — доказательства причастности к заговору.

— Но, к счастью, Луиза, мы с Шарлем поджидали их — квартира абсолютно чиста. Убрались они не солоно хлебавши, им не удалось ничего ни найти, ни подбросить. Но ведь это, вероятно, только начало.

В глазах Ани не гас огонек тревоги, Луиза прекрасно понимала ее!

Зал «Котла» наполнялся. Прямо с работы, в засаленных блузах и пальто вваливались в столовую те, кому не терпелось услышать новости. У оцинкованной стойки тесно толпились мужчины, дымя трубками и дешевыми

сигарами. Газовые рожки бессильно светились сквозь дым.

— Так вот, сударыни,— торжественно провозгласила Лео, складывая исписанные листочки.— Вы, вероятно, знаете, что на конгрессе Интернационала приняли прудонистскую резолюцию: «Место женщины — в семье; ее задача — воспитывать детей». Но думается, хватит нам плясать под прудонистскую музыку! Не настало ли время создать «Общество борьбы за права женщин»? Не пора ли приступить к изданию газеты «Право женщин»? А? Кто из вас согласен работать в обществе и газете?!

— Вы молодец, Леони! — сказала Луиза, стискивая лежавшую на столе руку Лео.

— Замечательно! — поддержала Лемель с покрасневшими щеками.— Своя газета! — И вдруг будто споткнулась о несказанное слово.— Но... дорогие... На газету нужна куча денег! Внести залог, нанять типографию, купить бумагу, платить наборщикам, печатникам!

Аня Жаклар впервые за вечер оживилась:

— А разве я не наборщица? Для такого дела я найду женщин, которые будут работать, не требуя ни одного су!

Лео снисходительно улыбнулась.

— Не беспокойтесь, Аннет! Вчера я запродала издателю Дюбиссону мой новый роман «Идеал в деревне». Так что пять тысяч франков для начала у нас есть!

Женщины рассуждали о будущей газете, а зал вокруг гудел грубыми мужскими голосами, и все гуще слоился над головами табачный дым.

Разговаривая, Луиза изредка поглядывала в сторону входа, ждала Теофиля. Тревога Ани передалась ей: если обыск был у Жакларов, он, наверно, произведен и у Ферре.

В дальнем углу зала Луиза заметила живописную группу. Вельветовые и бархатные куртки, яркие шарфы и шейные платки, волосы, ниспадающие на плечи,— все

обличало художников. В компании выделялся толстяк с мясистым, крестьянским лицом и пристальными глазами. Пальто распахнуто, красный шарф переброшен на спину, во рту — массивная дымящаяся трубка. Знаменитый Курбе! А рядом с ним знакомое лицо. Луиза не сразу узнала, кто это. Ба! Да это же Камилл, брат Терезы! Он изменился, отрастил темные пушистые усы и бакенбарды и, пожалуй, постарел. Надо обязательно подойти!

Но тут в дверях «Котла» появились Ферре и Риго. Здороваясь на ходу, они пробирались между столиками, раскрасневшиеся, возбужденные. Каштановая бородка Риго и черная борода Теофиля серебрились инеем. За их плечами алело морозным румянцем лицо Мари.

— О-ля-ля! — пропела она издали.— Вот вы где, Луиза! А я забегала за вами на Удо!

Швырнув на подоконник шляпу, Рауль отправился к стойке за бутылкой вина, а Теофиль сел рядом с Луизой. К их столику со всех сторон потянулись любопытные, жадные до новостей.

Дымя сигарой, отгоняя ладонью дым, Теофиль рассказывал:

— Сегодня подписаны ордера на арест Рошфора, Паскаля Груссе и жерана «Марсельезы» Дерера. Мы ждали, что Рошфора схватят, когда он выйдет из Бурбонского дворца,— у него хватило дерзости явиться на заседание Законодательного корпуса. Но там его не тронули, уж слишком много у дворца народу. Час назад его видели в ресторане Бребана, ужинает там со старушкой Жорж Санд. Но вечером у него встреча с избирателями на улице Фландр, в Ла-Виллет. И вот там-то его, должно быть, и возьмут.

Крики негодования заглушили Ферре:

— Нельзя отдавать Рошфора!

— На Фландр! В Ла-Виллет!

— Когда там начало, Ферре?

Теофиль достал из жилетного кармана часы.
— В половине девятого! У нас сорок минут!
Договорившись с Лео о завтрашней встрече, Луиза направилась к столику Камилла, было бы непростительно снова потерять его.
— Камилл! Камилл! — звала она, помахивая перчатками.
В поднявшейся суматохе художник не сразу разглядел, кто его окликает. Наконец увидел, узнал, пошел навстречу.
— О, Луиза! Я так рад видеть вас! Тереза писала, что вы в Париже, но где же вас отыскать!
Луизе была приятна радость молодого художника, хотелось поговорить, но Теофиль и Мари звали ее, а отставать от них ей сейчас не хотелось.
— Где вас найти, Камилл? — спросила она.
— Улица Отфейль. Мастерская мэтра Курбе! — Он кивнул на бородатого толстяка, укутывавшего горло красным шарфом.
— Улица Отфейль? — удивилась Луиза.— Да я же бываю там каждый вечер! Я найду вас, Камилл!
— Жду, Луиза!
Она догнала Теофиля и Мари уже у дверей. Торопливо шагая, они из путаницы переулков выбрались к каналу Святого Мартина и с набережной Вальми, мимо бассейна Ла-Виллет, вышли на улиту Фландр. Здесь было полно полицейских и мобилей.
— Обратите внимание, какими бандами разгуливают ажаны,— заметил Ферре.
Зал, арендованный Рошфором для собрания, угадывался издалека по сверкавшим окнам, по кишевшей у входа толпе.
— Сможем ли пробраться, Мари? — с сомнением заметила Луиза.— Такая давка!
— О-ля-ля! — беспечно отмахнулась Мари.— У нас

могучие кони — Теофиль и Рауль! Вывезут куда угодно!

В переполненный зал им удалось протолкаться с трудом. Люди были взволнованы, возмущены: многие знали и об аресте Рошфора в Фени, и о вновь угрожающей ему тюрьме. Сновали по залу вездесущие журналисты — мелькнул аристократический профиль Гастона Дакосты, вот волнистая шевелюра Марото, остро блеснул искусственный глаз Гамбетты.

Луизе вспомнилась дерзкая речь Гамбетты на «Боденовском процессе», где судили тех, кто собирал деньги на памятник Бодену. Защищал их Леон Гамбетта и, по выражению газет, «вывалял Луи Наполеона в грязи». Эта речь принесла ему необыкновенную популярность и обеспечила победу на выборах сразу в Париже и Марселе. Он предпочел стать депутатом от Марселя, поэтому-то Рошфор и получил возможность баллотироваться на дополнительных выборах по первому округу Парижа.

На эстраде за маленьким столиком восседали полицейский комиссар, при револьвере и сабле, и два безликих писца из префектуры. А за большим столом разговаривали о чем-то друзья и «секунданты» Рошфора — седой Делеклюз, синеглазый Флуранс, Мильер и Дебомон.

Зал гудел встревоженно, позолоченные стрелки часов над парадной дверью показывали почти девять, а Рошфора все не было. И как раз в тот момент, когда прозвучал последний удар часов, у двери закричали:

— Пропустите! Пропустите!

Привстав на цыпочки, Луиза увидела размахивавшую шляпой руку. Кто-то у двери вскарабкался на подоконник и, выпрямившись, прокричал:

— Сейчас... на улице... арестован Рошфор!

После секундной тишины зал взорвался тысячами голосов:

— Позор!

— Долой Империю!

— Долой Бонапарта!

Полицейский комиссар вскочил, постучал по столу эфесом сабли. Что-то сказал, подойдя к краю эстрады, Флуранс. Пламя газовых рожков металось из стороны в сторону.

— Как?! — пробился сквозь шум голос Флуранса.

Человек на подоконнике поднял над головой руки, стало тише.

— Он не смог подъехать в карете! Толпа, давка. Он вышел. И тут его обступили, затолкали во двор и заперли калитку. Когда мы ее взломали, за ней никого! Двор проходной. Его увезли!..

И снова ревом и криком ответил зал. Луиза тоже кричала, не помня себя.

Полицейский комиссар продолжал грохать эфесом сабли по столу. Но вот Флуранс шагнул на край эстрады и поднял руку. И как ни странно, в зале наступила тишина.

— Итак,— прозвучал в тишине напряженный и ясный голос Флуранса.— Избирательного права во Франции, неприкосновенности депутата больше не существует! Все законы попраны! — Он повернулся к полицейскому комиссару, положил ему на плечо руку.— Провозглашаю революцию! Вы арестованы, комиссар! Сдайте оружие!

Побледнев, доставая из кобуры револьвер, комиссар, запинаясь, сказал Флурансу:

— Сударь, у меня семья!

Стоявшие ближе расслышали этот шепот.

— А у Бодена не было семьи?!

— А у тех, кого вы убили в Рикамари и Обене? А у тех, кто в Мазасе и Сент-Пелажи?! У них нет семей?!

Держа в вытянутой руке револьвер, Флуранс приказал комиссару:

— Идите впереди и ведите себя спокойно, или я вас убью! Дайте знак своим молодчикам: никакого сопротивления!

Вслед за Флурансом все ринулись к выходам.

Заполнявшая улицу толпа бушевала. Бородатый студент, взобравшись на решетку, требовал штурмовать Сент-Пелажи и Мазас; рабочий в замасленной блузе призывал возводить баррикады, кто-то звал к Ратуше, чтобы водрузить над ней флаг республики.

— В полицейскую префектуру! Там заседают Оливье и Вальдром, эти жирные свиньи что-то замышляют! Оружейная фабрика Лефоше на Лафайет захвачена нами. Добыли пятьсот револьверов! Вооружайтесь!

Рассыпая искры, горели над толпой самодельные смоляные факелы. Красный шарф, привязанный к трости, развевался как знамя.

Схватившись за фонарный столб, Луиза вскарабкалась на его цоколь. Жадно всматривалась в мелькавшие кругом лица, в раскрытые, кричащие рты. Искала своих. К счастью, Ферре оказался совсем недалеко.

— Тео! Тео! — закричала она.

Ферре повернулся и увидел ее под фонарем; помахав шляпой, стал пробиваться к ней.

— Куда, Тео? — спросила Луиза, схватив его за руку.

Он с раздражением пожал плечами.

— Боюсь — никуда! Боюсь, Делеклюз и сегодня прав: ничего, кроме бесполезных жертв! К бою мы не готовы. Нет единого плана...— Он помотал головой, словно отгоняя боль.— А они, видишь, как изготовились!

Ферре даже не заметил, что обратился к Луизе на «ты», а она вспыхнула, словно получила неожиданный подарок.

— Пойдем все же, посмотрим! — Теофиль стал проталкиваться сквозь толпу.

Все кричали, шумели, размахивали шапками и шляпами. Краснорожий детина звал штурмовать Тюильри!

— Провокатор! — буркнул Ферре.— Посмотрите, Луиза, до чего подозрительно чистая блуза. Наверняка на-

нялена поверх полицейского мундира. Такие же типы окружили редакцию «Марсельезы», там арестованы все сотрудники, включая швейцара. Остались только Паскаль Груссе и Габенек... Эх, если бы сюда Бланки!

— Ну так где же он? — возмутилась Луиза.— Ведь был же он на похоронах Нуара! Если...

— Тише вы! — в сердцах оборвал Ферре.— Пока не настал час решительной схватки...

— А он не настал?!

— А разве не видите! Безоружные толпы, разброд. Ничто не подготовлено! Ничего не будет, кроме крови, крови, крови!

Последние слова Теофиль почти выкрикнул, и Луиза поняла, как горько ему собственное бессилие.

Они спустились на бульвар Ла-Виллет, оттуда свернули на улицу Кустарника святого Людовика, вышли к предместью Тампль. Повсюду, словно ожидая приказа, толпились люди. На улице Тампль человек двадцать, опрокинув омнибус, возводили баррикаду, но сотни безучастно топтались на тротуарах. На улице Шоппнетт тревожно звучала барабанная дробь и мелькали силуэты солдат и мобилей.

Луиза готова была кричать и плакать, ей хотелось вскарабкаться повыше и заорать на толпу: «Трусы! Чего ждете?! Вспомните, как ваши деды штурмовали Бастилию, как разворотили и разбросали ее окровавленные камни!»

Через площадь Республики, по Большим бульварам они вышли к воротам Сен-Мартен. Везде было полно людей и полиции, но до вооруженных схваток не доходило. Увидев свободную карету, Теофиль остановил ее и, усадив Луизу и Мари, скомандовал извозчику:

— На левый берег! — повернувшись к спутницам, пояснил: — Поедем в «Чердак», на Монпарнас, поужинаем. Я с утра ничего не ел...— Привстав, обвел взгля-

дом улицу.— Нет, еще не прозвонил погребальный колокол Бонапарта!

В «Чердаке», как и обычно по ночам, было шумно и людно. Вместо вывески у входа прибито к стене колесо сельской фуры, обстановка стилизована под харчевню.

На второй этаж вела крутая некрашеная лестница, будто на деревенский сеновал; там, посреди низенького зала, между столиками стояли две старинные кареты с вздернутыми вверх оглоблями, в каждой карете — столик на четыре персоны.

Луиза никогда не бывала в «Чердаке» и с любопытством оглядывалась. По стенам висели сбруя и хомуты, деревянные грабли и косы, невидимая сетка поддерживала под потолком клоки соломы и сена. Прямо против кареты, которая, на их счастье, только что освободилась, висел «портрет» упитанной буренки с мудрыми, меланхолическими глазами. На низеньких бочках посреди «Чердака» восседали музыканты в цветных жилетах и шляпах с перышками.

Одетая по-крестьянски, щедро нарумяненная служанка принесла деревянные кружки с брагой и жареное мясо с картофелем, салат. Друзья принялись за ужин, еда оказалась вкусной, а брага хмельной, и вскоре они немного оправились от тягостного чувства — не то потери, не то поражения.

— Не унывайте, девочки,— сказал, повеселев, Ферре.— Час близок!

Как и повсюду, в «Чердаке» у Ферре нашлось немало приятелей, подходили пожать руку, переброситься словом. Да, все сотрудники «Марсельезы» арестованы, отправлены в Сент-Пелажи и Мазас, завтра газета не выйдет.

Луиза слушала рассеянно, сердито думала, что слишком все благоразумны и осторожны. Для победы восстания нужны безрассудство и дерзость. И в то же время

она не могла не согласиться с Тео и Делеклюзом; напрасно пролитая дорогая кровь лишь укрепит силы монархии.

Они кончали ужин, когда Луиза увидела Клемана Карагеля, сотрудника «Шаривари» и «Националь». Еще поднимаясь по лестнице, он высматривал кого-то в полутьме «Чердака». Но вот увидел Ферре и, петляя между столиками, направился к карете. И с ходу, не здороваясь, крикнул:

— Час назад на улице схвачены Риго и Дакоста! Запихнули в тюремный фургон и увезли!

Луиза глянула в лицо Мари, оно побелело, как лист бумаги. А Теофиль сидел молча, барабаня худыми пальцами по столу, лишь подвинулся на сиденье кареты, чтобы дать место Карагелю. Тот сел и жадно отпил несколько глотков из кружки Ферре.

— Следовало ожидать,— устало произнес Теофиль.— Боюсь, Клеман, это только начало.

Тяжелое предчувствие сдавило сердце Луизы, ее охватила тревога за Теофиля,— он так тяжело перенес прошлогоднюю тюрьму, выглядел таким больным!

И предчувствие ее не обмануло. Когда спустя полчаса они вышли из «Чердака», откуда-то сбоку, будто из-под земли возникли темные фигуры. Одновременно к подъезду подкатил фаэтон с двумя полицейскими на облучке. Раздался голос:

— Мосье Ферре! Вы арестованы. Прошу! — И рука в черной перчатке протянулась к дверце кареты.— Сопротивление бесполезно, сударь!

Да, бесполезно! Кругом стояли дюжие молодцы, синий свет газовых фонарей придавал их лицам мертвенность. Луиза схватила Теофиля за руку.

— Вы не смеете! — крикнула, хотя и сама понимала бессмысленность протеста.

— Мы действуем на основании закона, мадемуазель

Мишель,— сказал тот, что держал Теофиля за плечо.— У меня в кармане ордер на арест мосье Ферре. Прошу не мешать исполнению служебных обязанностей! Уйдите в сторону, мадемуазель!

— Тогда арестуйте и меня! — запальчиво потребовала Луиза.

В неярком свете все же было видно, как язвительно усмехнулся жандарм.

— Ваш час не настал, мадемуазель! Но уверяю вас, скоро настанет, если вы сохраните прежний круг знакомств и дел.— Он повернулся к окружающим их теням с мертвенными лицами и приказал: — Убрать!

Схватив Луизу и Мари, жандармы оттащили их в сторону, а другие, толкая Теофиля в спину, втиснули его внутрь тюремной кареты. Туда же шагнул офицер, руководивший арестом.

— Адье, мадемуазель! До скорой встречи!

Лошади рванули, карета скрылась.

Когда Луиза и Мари пришли в себя, улица была безлюдна, только они вдвоем стояли под медленно падающим февральским снегом. А позади них, в уютном и теплом чреве «Чердака», пели дудки и свирели, пиликала скрипка и мужской голос нежно выговаривал слова старинной крестьянской песни:

Я люблю мою Жанну,
Хохотушку мою...

Школа, посещения Пулен в больнице, передачи в Сент-Пелажи, вечерние курсы,— нет! — пожалуй, она даже радовалась своей занятости, это мешало отчаянию навалиться на нее.

Прежде всего беспокоила участь Теофиля. Риго собирались судить за издание брошюры «Великий заговор, мелодрама плебисцита», за нее могли дать три-четыре месяца тюрьмы. А что ждет Теофиля?

— У них маловато козырей, Луиза! — крикнул Ферре ей на одном из свиданий.— К тому же играют краплеными картами!

Луиза не поняла, что значат эти слова, но с радостью почувствовала, что Теофиль не теряет бодрости.

В эти дни она еще больше сблизилась с Мари. По вечерам вместе отправлялись в один из варленовских «котлов» или в кафе Латинского квартала в надежде встретить друзей Ферре и Риго. Но вся редакция «Марсельезы» была упрятана за решетку, Варлена и других членов Парижского бюро Интернационала, опубликовавших в «Пробуждении» Делеклюза клеймившее правительство заявление, тоже посадили в тюрьму. Гюстав Флуранс не показывался: либо скрывался от ареста, либо бежал за границу.

— Знаешь, Мари,— жаловалась Луиза.— Париж мне кажется вымершим. Словно попали на необитаемую землю.

— О-ля-ля! — утешала ее Мари.— Подожди. Будет и на нашей улице праздник!

В один из таких тягостных дней Луиза и вспомнила про Камилла.

— А не навестить ли нам его, Мари? — предложила она.— Кстати, может, удастся посмотреть, над чем работает Курбе! Помнишь его «Дробильщиков камня», «Похороны в Орнане», «Девушек на берегу Сены»?

— Ну как же! Уже тогда стало ясно, что он наш!

— Ну и пошли! Говорят, когда Курбе выставил «Купальщиц», Баденге, осматривая выставку, стегнул картину хлыстом!

— А чего от ханжи ожидать? Играет в благородство, а сам только и знает, что охотиться за девочками.

Луизу удивляло, что, проходя по улице Отфейль почти ежедневно, она не замечала ни вывески, ни выставленных в окнах картин, что было так характерно для

ателье художников. Мастерская Курбе помещалась в глубине двора, в старой часовне Премонтре на углу улиц Отфейль и Эколь-де-Медсин. Эту каменную башню художник облюбовал для себя более четверти века назад.

Девушки явились туда под вечер,— день был морозный, но ясный, как бы предчувствие и предвкушение весны.

Дверь мастерской распахнута, из нее клубами валил табачный дым. Смутно различались люди, полотна, прислоненные к стене, мольберты, стол, уставленный бутылками и кружками. В камине плясали языки огня.

Луиза и Мари остановились на пороге этого капища богемы, и в тот же момент их окликнул сзади обрадованный голос Камилла:

— Мадемуазель Луиза!

Они обернулись. Руки художника были заняты бутылями «Глории» — дешевого вина художников и рабочих.

— Проходите же, проходите!

Мастерская с высоким сводчатым потолком, с широкими, синими от вечернего света окнами была полна. Художнические пелерины и блузы, разноцветные береты и шляпы, яркие шарфы. Богема!

Поставив на пол бутылки, Камилл, улыбаясь, взял девушек за руки.

— Да смелее же! — сказал он.— Мэтр будет рад! Он знает Ферре и Риго! Его мастерская — приют инсургентов!

Гюстав Курбе, краснощекий толстяк с пристальными глазами, с неизменной трубкой во рту, восседал в кресле. Рядом с ним на стульях, на ящиках и скамеечках для натурщиц — художники и журналисты. Взлохмаченные волосы, горящие глаза, стремительные жесты.

Камилл подвел Луизу и Мари к Курбе.

— Мэтр! Смею заверить: эти поклонницы вашего

таланта не внесут диссонанса в нашу дружную семью!

С неожиданной для его тучности легкостью Курбе поднялся, Луизе казалось, что его темно-карие глаза пронизывают ее насквозь. Трубка художника дымила, словно фабричная труба. Луизу поразила огромная мужицкая рука, державшая трубку, настоящая медвежья лапа! Неужели эта рука создала «Венеру, преследующую ревностью Психею», великолепное полотно, не допущенное на выставку «во имя уважения нравов Парижа»?

Курбе вскинул трубку и громогласно изрек:

— О, море! Твой голос могуч, но и ему не заглушить славы, вещающей миру мое имя! Не так ли, сударыни?! — Невозможно было понять, иронизирует он или говорит серьезно. Пристальные глаза смотрели по-крестьянски пытливо и хитро. Прищурившись, благодушно посмеиваясь, Курбе продолжал, чуть наклонив лобастую голову: — Если вам интересно, миледи, я рассказываю друзьям о прошлогодней международной выставке в Мюнхене. Это не может быть не интересно. Садитесь же! — Луиза и Мари уселись на скамью, подвинутую им Камиллом.— Я повез туда свои замечательные полотна: «Дробильщиков», «Женщину с попугаем», «Охоту на оленя»! Итак, я прибыл. Мюнхен — хороший город! У местных женщин настоящие груди! Все они толстые, аппетитные и белокурые. Пивные повсюду. Табак дешев. К сожалению, много художников! — Не глядя, Курбе взял со стола высокую глиняную кружку и сделал несколько глотков.— Меня, само собой, встречали восторженные толпы! Иначе не могло быть! Первый вопрос, который мне задали: «А картины ваши с вами?» Я ответил: «Со мной моя жажда. Пойдемте-ка выпьем!..» О, мы здорово нахлестались! Наутро я был разбужен в гостинице тысячеголосым шумом. Собравшаяся под окнами толпа вопила на все лады: «Да здравствует Курбе! Да здравствует величайший из собутыльников!»

И снова Луиза не могла понять, умная ли это ирония или самонадеянность и самовлюбленность! О, он не прост, этот человечище с медвежьими ухватками и пронзительными глазами!

А Курбе, потрясая пустой кружкой, отыскивал кого-то среди собравшихся.

— Камилл! Ты был у папаши Лавера? Надеюсь, он поверил великому Курбе в долг несколько пинт дрянного вина?!

Камилл поставил перед художником полную бутыль.

— То-то же! — торжествующе захохотал Курбе.— Иначе ему нашлось бы какое-нибудь грязное место на моем очередном великолепном полотне. Я осрамил бы жадину на всю Францию! Камилл, кружки для дам! Они не дерзнут не выпить с Жаном Дезире Гюставом Курбе! Мои гости обязаны пить, сударыни, когда пью я! Ха-ха-ха!

Этот толстый, волосатый Гаргантюа хохотал так, что пламя газовых рожков плясало в дымном чаду.

Камилл принес кружки, налил вина. И хотя Луизе совсем не хотелось пить, она не посмела отказаться. Курбе выпил и сам, довольно крякнул и уставился взглядом в Мари.

— Вы сестра Теофиля Ферре! — безапелляционно заявил он.— Похожи. Он в Сент-Пелажи?

— Да, мосье Курбе!

— Без всяких мосье! Мэтр Курбе или мэтр Гюстав, как угодно! Но не мосье! Во Франции и без Гюстава Курбе отвратительно много месье, словно дерьма в помойке! Я сыт по горло... Значит, Сент-Пелажи? Я навещу его, мадемуазель...

— Мари.

— Мадемуазель Мари! Я навещал там моего друга Жюля Валлеса! Я сотрудничал в его великолепной «Улице», которая не стеснялась бить морды холуям Империи

и самому Баденге! — И вдруг, словно сразу позабыв о Мари и Луизе, Курбе отыскал среди гостей рыжебородого тщедушного человека, жестом подозвал к себе и, тыча ему в грудь дымящейся трубкой, закричал:

— И ты смеешь, Эжен, болтать о великих традициях прошлого! Да?! Да ты пойми, рыжая голова, во французской кастрюле сейчас кипит рагу, в которое ввалено дерьмо, и, сколько бы они ни пытались улучшить вкус этой жратвы добавками лавра — я имею в виду Клемана Лорье — и даже оливок — подразумеваю Эмиля Оливье,* — не поможет! Единственный выход: вышвырнуть дерьмовое рагу в помойку! — И, помолчав, спокойно: — Пойми, нам нужны революция восемьдесят девятого года на новой основе и конституция, созданная свободными людьми, нами!

Луиза посмотрела на Курбе с уважением: он верил в то же, во что верила она.

Поставив на помост кружку, она поднялась и отошла к мольберту с незаконченным полотном. Намеченные резкими штрихами угля, угадывались человеческие фигуры, в правом верхнем углу прописанное красками дымилось тучами ненастное небо, просвеченное лучом солнца. Луиза пошла вдоль стены, где, словно декорации за кулисами, стояли картины — пейзажи Франции, натруженные согбенные человеческие тела, жилистые руки, утонувшие в темных провалах глаза. Горечью и печалью и в то же время силой веяло от картин, которым до сих пор не нашлось места в музеях страны...

Услышав за спиной сопение, она догадалась: Курбе. Но не повернулась.

А Курбе громко сказал, горячо дыша ей в шею:

— Да, мадам, такое еще не удавалось никому! Я не подражаю великим, и, если хотите знать, кто я, я — кур-

* Клеман Лорье (Лавр) и Эмиль Оливье — политические деятели времен империи Наполеона III.

бетист, вот и все!.. А картины эти я через месяц повезу в Дижон. Я организую там выставку, и многие тысячи франков, вырученные на ней, отдам семьям бастующих с заводов Шнейдера в Крезо! Каково! И пусть любая высокопоставленная сука посмеет помешать Курбе?!. А ведь гениально, не правда ли? — И дымящийся конец трубки ткнулся в голое женское бедро.

Луиза обернулась. Курбе стоял за ее спиной. Прищурившись, он с минуту разглядывал свою работу и вдруг захохотал и схватил Луизу за руку так, что она едва не вскрикнула от боли.

— А вы знаете, мадам...

— Мадемуазель, мэтр Курбе,— поправила Луиза.

Он вскинул широкие, топорщившиеся брови, удивленно хмыкнул:

— Ну, как угодно! Я лишь хотел напомнить вам, что вопили о моих шедеврах наемные писаки. Слушайте. «Двадцать метров густо записанного полотна, пятьдесят пьяных рож, гигантизм безобразия». Каково, а? Это о «Похоронах в Орнане»! Бездарнейший Клод Виньон писал: «Боже мой, как это уродливо!» Гнусняк Вейо вторил ему: «От картин Курбе воняет свалкой!» Подленький Максим дю Кан уподоблял меня чистильщику сапог! Эти лакеи Империи желали бы приручить, взять на сворку великого Курбе, чтобы он писал портреты Баденгетихи и ее недоноска! Не выйдет! О, Курбе задаст им знатную трепку выставкой в Дижоне!

— Но вы же рискуете, мэтр,— заметила Луиза.

Курбе окинул ее гневным взглядом.

— Курбе рискует всю жизнь, мадемуазель! И кто из великих не рисковал? Вы скажете: а сколько их ползало на брюхе и писало королей и инфантов? Да?! А Курбе плевал на них! Я топил бы царственных щенков в базарных нужниках!

Курбе еще раз скользнул взглядом по полотну.



— Хватит философии, мадемуазель! — Он резко повернулся к Луизе спиной и, помахивая над головой трубкой, закричал: — Эй вы, бесштанные Рафаэли! Курбе приглашает всю шатию-братию в пивную папаши Глазера на улицу Сен-Северен! Там у вашего мэтра еще имеется кредит и нас ждет грандиозная выпивка.

В глубине души у Луизы шевельнулось осуждение себе: сейчас она будет пить вино и пиво, а Теофиль мучается в каменных, заплесневелых стенах!

Но неистовый Курбе ждал, с неуклюжей церемонностью согнув в локте могучую лапу. И она не посмела отказаться.

Со смехом и криком компания прошествовала до кабачка, над входом которого висела стеклянная бочка, игравшая отражениями газовых фонарей. Перед входом в пивную Курбе отбросил руку Луизы так же бесцеремонно, как схватил десять минут назад, обернулся к сопровождавшим его и жестом гостеприимного хозяина распахнул дверь.

— Эй, голоштанная империя Курбе! Мосье Глазер такой же добрый гений безденежной богемы, как папаша Лавер! Здесь вы можете пить и кутить, пока великий Курбе жив!

Луиза замешкалась и, возможно, ушла бы, если бы не ощутила дружественного пожатия. Оглянулась — Камилл и Мари.

— Не обижайтесь на мэтра, мадемуазель Луиза,— попросил Камилл.— Он большой взбалмошный ребенок, он чист сердцем и честен! Ни за какие миллионы они не смогут его купить! Ему собираются дать орден Почетного легиона, но мэтр не клюнет на золотую приманку! Пойдемте! Оттого, что мы будем тосковать по узникам Мазаса и Пелажи, никому не станет лучше...

Белые мраморные столики — на их поверхности отражения газовых рожков, на стенах гирлянды засушенных

цветов, простенькая мелодия маленького оркестра, хмельной шум и гам и над всем тучная фигура Курбе — вот что осталось в памяти Луизы.

И последнее, что запомнилось ей,— стихи, которые читал, стоя на стуле, юноша, чем-то напоминавший Теофиля:

Курбе!.. Сплошной волной, чернее ночи,
Течет на грудь густая борода,
И в горле олимпийский смех клокочет,
Как в черных реках бурная вода.
Живописать поля, леса он призван,
Коров, телят, блуждающих в лугах,
Святош пузатых и косуль капризных
И нежных женщин с песней на губах...

— Кто это? — спросила Луиза Камилла.

— Не знаете?! Это восходящая звезда французской поэзии — Эжен Вермерш! Он с нами, мадемуазель Луиза, и, если доведется сражаться, он будет в наших рядах... А сейчас позвольте мне проводить вас домой! Уже поздно!

Много раз с того вечера Луиза бывала в мастерской Курбе. Это была единственная в те тягостные дни отдушина, через которую в ее горькое одиночество пробивалась надежда.

Вскоре она узнала, что Теофиль обвиняется в заговоре на жизнь Бонапарта. Вместе с ним пойдут под суд около семидесяти человек. У кого-то из них нашли при обысках бомбы, подкинутые провокаторами Гереном и Сапиа.

Любила ли она Ферре? Она не задавала себе такого вопроса. Но все чаще останавливалась перед зеркалами, искоса поглядывала на свое отражение в витринах магазинов. Ничего, кроме горечи, это не приносило. Нервное лицо с горящими глазами одержимой, скорбный рот. Однажды спросила Марианну:

— Мама, я очень некрасивая? Да? Только откровенно.

Смущение Марианны было красноречивее слов.

— Ну о чем спрашиваешь, Луизетта! Ты не красавица, но в тебе столько обаяния, непосредственности, чистоты! Искренна и привлекательна, как никто другой, кого я знаю. А почему ты спросила, девочка?!

— Да просто так, мамочка! Не обращай внимания.— Надевая перед зеркалом шляпу, поинтересовалась: — Ты приготовила что-нибудь бедняжке Пулен?

— О, конечно! Купила фруктов, сварила куриный бульон. Надеюсь, ей от него станет лучше.

Но увы, Пулен уже не могли помочь ни бульон, ни фрукты. Когда Луиза вошла в палату, на постели Нинель лежала похожая на мощи старуха с ввалившимся ртом. На вопрос Луизы сиделка развела руками.

— Мадам угодно спуститься в морг?

Помедлив, Луиза положила на тумбочку возле изможденной старухи фрукты и поставила бутылку с бульоном, затем вслед за усатым служителем спустилась в подвал, где в ряду других лежала прикрытая застиранной простыней Нинель Пулен. К высунутой из-под простыни, словно выточенной из гипса ноге была привязана картонная бирка с ее именем.

Сразу после больницы пойти домой не могла, бродила без цели по улицам, потом направилась к мастерской Курбе. Сейчас это было для нее единственное родное убежище.

Камилл увидел ее на пороге и пошел навстречу с кружкой в руке. Как и всегда, здесь шумели, спорили и пили вино.

— Что случилось, Луиза? — встревоженно спросил Камилл.

— Умерла Пулен.

— Но ведь вы ожидали этого, Луиза.

— Да, Камилл. Но меня гнетет, что ее похоронят в

могиле для неимущих, словно последнюю нищую. И у меня нечего продать, чтобы купить место на кладбище.

— О, Луиза! Вы забыли, что вы не одна!

Он подвел ее к столу, и все раскланялись с ней, подняв кружки. Ей подвинули скамейку, и она села возле величественного Курбе. Луиза еще не понимала, что собирается Камилл сделать, а на залитый вином и пивом стол уже летели пяти- и десятифранковые банкноты, звенели серебряные монеты.

Насупившись, Курбе наблюдал и вдруг стукнул волосатым кулачищем по столу:

— Кто смеет оскорблять Курбе подачей непрошеной милостыни?!

Камилл выступил вперед.

— О, мэтр! У мадемуазель Луизы умерла подруга,— сказал он.— Нужно достойно предать ее земле.

Курбе глянул на Луизу, сунул руку в карман широченных шаровар и вытащил комок смятых кредиток.

— Этого, думаю, хватит? — Он бросил деньги на стол и положил Луизе на плечо тяжелую лапу.— А теперь — вытереть слезы, мадемуазель! Мертвым — мертвое, живое — живым. И утешьтесь: даже царей и императоров не минует могила...

Он залпом опорожнил кружку.

— А засим, мадемуазель, текущие дела! Представьте себе... Без всяких притязаний со стороны Курбе, несмотря на Дижонскую выставку, он представлен к ордену Почетного легиона. Каково?! Вот высочайшая грамота, и взирайте, друзья, как великий Курбе плюет на императорский манускрипт!

Он взял лежавший перед ним лист гербовой бумаги с орлом и красными печатями, харкнул на него и, измяв, швырнул в угол.

— О, им не подкупить Курбе ни подачками, ни орденами! Должен вам заметить, сударыня, что министр

изящных искусств мосье Морис Ришар, коему следовало бы заведовать общественными нужниками, а не искусством, даже не соизволил спросить Жана Дезире Гюстава Курбе, жаждет ли оный получить блестящую погремушку! Да если бы я захотел, я мог бы украсить такими регалиями весь свой широченный зад!.. И вот, мадемуазель, что Курбе отвечает так называемому министру.— Он взял со стола второй лист бумаги.— Читаю! «Когда правительство берется награждать кого-либо, оно узурпирует общественную функцию. Курбе никогда не принадлежал никакой школе, никакой церкви, никакому учреждению, никакой академии и, главное, никакому режиму, исключая режим свободы! И награда, исходящая от любого из названных институтов, для него неприемлема!» Каково, а?

Откинувшись на спинку кресла, Курбе победоносно захохотал.

— По сему поводу, друзья, полагается выпить! Отправимся-ка в цитадель «сжатых кулаков», сиречь в кафе «Мадрид», к папаше Лаверу. Необходимо, чтобы об отказе Курбе знали все! Иначе правящие сволочи просто замолчат его!

Камилл взял Луизу под руку, и она пошла вместе со всеми. Компания Курбе посетила в тот вечер множество злачных мест. И всюду поклонники Курбе ликовали:

— Перед лицом подлой власти вы, мэтр, подтвердили несокрушимую веру в принцип свободы! О, вы оправдали данные вам клички: «Курбе без курбетов» и «Несгибаемый Курбе»!

А потом Камилл проводил Луизу домой. Там были слезы Марианны и ночь без сна, а на следующий день — похороны. Печальной церемонией руководили Камилл и Мари. Похоронив Пулен, они прошли к могиле Бодена,— памятника на ней так и не разрешили поставить, но на плите лежали свежие цветы.

За последнее время Луиза посетила не один судебный политический процесс. Началось это для нее с комедии суда в Туре, где Пьера Бонапарта судили за убийство Нуара. Она поехала туда вместе с Мари. В одном вагоне с ними жандармский конвой вез Рошфора, Мильера и Груссе для дачи свидетельских показаний.

На процесс в Тур ехала вся парижская журналистская братия, члены Международного Товарищества Рабочих, юристы, вагон напоминал растревоженный муравейник,— на все лады судили и рядили о предстоящем процессе. Один из журналистов объяснил Луизе:

— Верховный суд состоит из генеральных советников, ни один из них не посмеет тявкнуть в сторону Тюильри! Вот увидите!

Подъезжали к Туру. По каменному мосту переехали серебряно-синюю Луару, на том берегу высились знаменитый собор Сен-Гатиен с двумя башнями и церковь Сен-Жюльен, построенные, кажется, еще в двенадцатом веке. Боже мой, какая старина, сколько видели эти камни, сколько преступлений и подвигов!

До начала заседания оставалось около часа, и Луизе захотелось побыть одной. Она прошла по улице Националь, постояла перед памятниками Декарту и Рабле, посидела на камнях набережной, бездумно следя за проплывающими мимо баржами и лодками.

Да, это был не суд над убийцей, а подлая комедия. Председательствовал упитанный и ленивый Гландаз, похожий в черной мантии на жирного каплуна. А императорский адвокат Граннере, защищавший убийцу-принца, то и дело перебивал и оскорблял свидетелей обвинения. Впечатление складывалось такое, будто судили не убийцу, а несчастного Виктора Нуара, покоящегося под двухметровой толщей земли в Нейи!

Как и предвидели журналисты, процесс закончился оправданием. Судьи приняли версию принца, будто Вик-

тор Нуар первый ударил его и он, принц, стрелял в Виктора, защищаясь. Правда, убийцу обязали выплатить семье убитого несколько тысяч франков, но для высокодержавного кармана это были пустяки.

— Справедливость торжествует! Да здравствует справедливость! — язвительно заметила Мари, спускаясь по ступеням суда.

С тех пор Луиза не пропускала ни одного крупного политического процесса, хотя и присутствовала на них лишь как безмолвная свидетельница обвинения режима. Судили за так называемые заговоры, за оскорбление государства и императора, за протесты против надвигающейся войны с Пруссией. В один из таких дней она записала в свою тетрадь:

Бандит желает жить!
Он жаждет освежить свои увядшие лавры в крови.
Пусть Франция погибнет: ему нужны битвы!
Презренный! Слышишь ты во дворце, как грозно идут
по улицам люди!
Близится твой конец! Видишь ли ты в своих страшных
снах,
Как идут они, люди, кровью которых ты сейчас
упиваешься?!

Да, дух войны уже витал в воздухе, по департаментам шла мобилизация, миллионы франков выкачивались на наем мобилей и их обучение. Но... война грянет чуть позже, а пока...

А пока — манифестации, митинги, собрания, суды, суды, суды!

Тринадцатого июля Риго приговорили к тюрьме и штрафу за его брошюру, где вскрывались тайны прихода Луи Наполеона к единовластию, механика плебисцита, когда провинциальная Франция, обманутая обаянием

великого имени и щедрыми посулами Баденге, отдала огромное большинство голосов бездарному и бесславному родичу державного завоевателя.

Во время суда над Раулем Мари и Луиза сидели в первом ряду, им были хорошо видны и злобная ухмылка Дельво, и змеиные глазки прокурора, и безмятежный, спокойный Риго. Он и здесь оставался верен себе и в последнем слове, не раз прерываемый прокурором и судьей, сказал:

— Между народом и его врагами идет бой не на жизнь, а на смерть! Берегитесь, ваше бесчестие, мосье Дельво, и вы, господин имперский прокурор! Революция не за Вогезами, она — рядом, разве вы не слышите ее могучей поступи?! Мне жалко вас, слепые кроты!

И когда жандармы уводили Риго, он улыбался Луизе и Мари и кричал через плечо:

— Привет нашим! До скорой встречи!

Вечер Луиза и Мари провели вместе. Выпили по чашечке кофе в «Спящем коте», прошлись по Большим бульварам. И было странно видеть, что ничто в Париже не изменилось: так же призывно сияют разноцветные окна кафе и ресторанов, так же зеркально блещут витрины и катятся по улицам омнибусы и кареты, так же пьют свои аперитивы завсегдатаи.

— Вот убьют палачи завтра половину Парижа,— горько заметила Луиза,— а вторая половина будет как ни в чем не бывало плясать и петь! Есть в этом, Мари, нечто чудовищное. Правда?

Луиза проводила Мари, дома у Ферре их ждала еще одна печальная новость. Забегал кто-то из друзей Теофиля и сообщил, что его и других обвиняемых прошлой ночью увезли в Блуа, послезавтра там начнется над ними суд.

— О, они боятся судить их в Париже! — сказал отец Теофиля.— Они трясутся от страха!.. Поверьте, маде-

муазель Луиза, я не революционер, но, клянусь вам, если бы я был моложе, я встал бы сегодня рядом с сыном!

На следующий день с первым утренним поездом Луиза и Мари отправились в Блуа. Это старинный город на берегу Луары, первая большая станция за Орлеаном.

Так же как и во время поездки в Тур, тянулись за пыльными вагонными окнами пожелтевшие под июльским солнцем поля, махали крыльями ветряные мельницы, плыл над землей пасхальный перезвон коровьих колокольчиков. Но Луиза почти не замечала прелести пейзажа: так сильна была ее тревога за Теофиля.

В Блуа приехали поздно, на вокзальной площади уже горели газовые фонари. Над городом копились свинцовые тучи, и поблескивала за парапетом набережной искрящаяся вода Луары.

Переночевали в меблированных комнатах чопорной мадам Крузе, подробно осведомленной о редкостном для их города событии. Мадам возмущенно ахала и всплескивала руками, кляла смутьянов, которые мешают достойным людям спокойно почивать под их перинами.

— О, я бы не сразу убивала таких, а сначала резала бы на мелкие кусочки! — с кровожадным блеском в глазах восклицала мадам, потрясая руками.— О, я бы...

— А ну, закройте дверь с той стороны! — во весь голос крикнула Луиза, рванувшись к хозяйке.

Ах, каким взглядом окинула ее достойная мадам, какой ненавистью полыхнули подкрашенные глазки! Если бы деньги за комнату не были уплачены вперед, она, вероятно, выставила бы крамольных постоялиц на улицу. «Вот она, провинциальная Франция,— с горечью думала Луиза,— вот кто голосовал на плебисците за продление президентских полномочий Бонапарта вопреки конституции».

Утром Луиза и Мари, не прощаясь, покинули негостеприимный пансионат мадам Крузе и отправились бро-

дить по улицам тихого Блуа. Поднялись в старинную часть города с его крутыми, извилистыми улочками, где на самой вершине вздымался к небу дворец-крепость. В его стенах некогда появился на свет один из многочисленных Людовиков, Людовик Двенадцатый,— этим гордилась даже самая последняя нищенка Блуа. Луиза помнила из истории, что в «черной комнате» этого замка Генрихом Третьим были убиты кардинал Луи и Генрих Гиз, что именно здесь скончалась печально знаменитая Екатерина Медичи, вдохновительница Варфоломеевской ночи.

Подруги посидели на скамье возле церкви на высоком обрыве над Луарой. Река струилась внизу спокойно и величаво, как, наверно, и тысячу лет назад: и тогда, когда полуголые рабы победоносного Рима под плетьми высекали вон в тех коричневых скалах желоба водопровода, и когда возводился над Луарой каменный, на одиннадцати арках мост, и когда на площадях тихого городка погибали в огне костров еретики. Два паруса белели над безмятежной синью, кроваво краснели на том берегу черепичные крыши предместий.

— Знаешь, Мари,— негромко заговорила Луиза,— последнее время я живу как-то странно, от суда до суда, будто бы между судами, процессами нет никакой другой жизни! Будто вся Франция, а точнее, весь Париж стоит обвиняемый перед многочисленными дельво и главдазами, словно весь мир — одна большая судебная палата или тюрьма! Каждую ночь засыпаю с ожиданием полуночного жандармского стука в дверь...

По-детски подперев подбородок кулаками, Мари не ответила, задумавшись, разглядывала распахнувшийся за рекой мирный пейзаж, уходящие вдаль поля и холмы с ветряными мельницами.

И, помолчав, Луиза продолжала так же негромко, будто размышляя вслух:

— Откровенно, Мари, мне сейчас хотелось бы быть в тюрьме, чтобы хоть в страданиях сравняться с ними, принять на свои плечи часть тяжести, что выпала на их долю...

Совершенно неожиданно Мари громко и искренне расхохоталась, милые морщинки легли в уголках глаз.

— Э, нет, Луизетта! Не выйдет. А кто тогда станет носить Теофилю и Раулю в тюрьму сигары и табак, спаржу и каштаны?! Они же затоскуют без курева, эти дымари! Нет, наш долг, Луизетта, поддерживать их отсюда, с воли, помогать, чем можно! Ну хорошо, Раулю дали четыре месяца, а Теофилю могут присудить Кайенну, ведь придется думать о возможности побега...— На секунду Мари замолкла, потом продолжала грустно и просто: — А ты права, Луизетта, так и живем: от ареста до ареста, от приговора до приговора... Ты не знаешь, я тебе никогда не говорила, а ведь я так люблю Рауля, что отдала бы за него всю мою кровь, каплю за каплей. Но я не попытаюсь увести его с пути, который он выбрал.

Слушание дела должно было состояться в зале государственных заседаний Блуа, самом помпезном помещении города, украшенном портретом императора, позолоченными орлами и знаменами. Великой для себя честью городские власти считали решение именно у них провести процесс, коему предстоит нашуметь на всю Францию, а может, и на весь мир. Они постарались обставить судилище со всей возможной пышностью и торжественностью.

Еще до начала заседаний зал оказался переполнен, Луиза и Мари приткнулись на боковых местах у стены. В первых рядах восседали мэр и префект с супругами, чиновная и купеческая знать, «святые отцы», самодовольные рантье, упитанные и усатые, такие важные, словно являлись солью земли. Местные львицы в шляпках, увенчанных искусственными цветами, в валансьен-

ских кружевах. О, с какой ненавистью и страхом всматривались они в обвиняемых, когда тех жандармы вводили в зал.

Луиза принялась считать арестованных, но, когда ввели Ферре, сбилась. Позже узнала, что из семидесяти двух, привлеченных к суду по делу о заговоре, властям удалось арестовать лишь человек пятьдесят, остальным, в том числе Гюставу Флурансу и Шарлю Жаклару, удалось скрыться.

Луиза впилась взглядом в Теофиля,— он похудел, глаза ввалились, но блестели тем же неистовым блеском, как всегда. Луиза вскинула руку и помахала, и Ферре, беглым взглядом обводивший зал, увидел ее и Мари,— посеревшее лицо осветилось улыбкой.

Кто-то рядом с Луизой называл подсудимых:

— ...Дюпон, Гронье, Фонтен, Тони Муален, Нотриль, Карм...

Когда подсудимых усадили за решеткой, окруженной двойным рядом конвоя, Луиза перевела взгляд на судейский стол, на кафедру прокурора, на скамьи присяжных заседателей.

За ее спиной глуховатый голос пояснял:

— Сей старый крокодил, председатель суда Дзанджакоми, еще при Луи Филиппе сгноил в тюрьмах сотни республиканцев. В сорок восьмом тоже никому не давал пощады! Цепной пес верно служит тем, кто швыряет ему куски мяса... А теперь ты взгляни на присяжных. Вон какие жирные подобрапы! Они удавят любого, кто посягнет на их поместья и замки.

Луиза оглянулась и встретилась взглядом с худощавым сероглазым бородачом, она не раз встречала его в редакции «Марсельезы». Он, наверно, тоже запомнил Луизу, улыбнулся и поклонился.

— А кто адвокаты? — спросила она.— Вы, видимо, всех знаете!

— О, адвокаты весьма и весьма надежны. Прото и Флокс. Особенно дерзок Флокс, он справа, видите? — такой экспансивный блондин. Это он на нашей выставке крикнул российскому самодержцу свое знаменитое «Да здравствует Польша, милостивый государь!», имея в виду подавление Краковского восстания.

— И ничего ему не сделали?

— Представьте, нет, как ни удивительно... Но тс-с, занавес поднимается...

Процедура началась анкетным опросом подсудимых. Обрюзгший, с висячими бульдожьими щеками, испещренными склеротическими жилками, судья Дзанджакоми задавал вопросы небрежно, демонстрируя высокомерное равнодушие к заведомо обреченным.

Опрошен один, второй, десятый. И вот, жмурясь сквозь очки, судья произнес дорогое Луизе имя:

— Теофиль Шарль Ферре!

Теофиль, не торопясь, встал, поправил косо сидевшее на носу пенсне и, опершись рукой о барьер, вскочил на скамью. С презрением оглядел притихший зал и лишь тогда повернулся лицом к суду.

— Я не стану отвечать на ваши вопросы, судья Дзанджакоми! Перед такими, как вы, не оправдываются и не защищаются! Прикажите отвести меня обратно в камеру! Я не в состоянии преодолеть чувство омерзения, охватывающее меня, когда я слушаю вас! Раз уж вы держите нас в своих подлых руках — убейте! Я даю вам дельный совет. Иначе скоро придет ваша очередь сидеть на этих скамьях, и тогда вы найдете в нас людей с надежной памятью! Я отказываюсь давать показания и принимать участие в гнусной комедии, которую вы называете судом! Вы гляньте, судья, на присяжных! Где вы набрали этот жирный самодовольный сброд?!

Луиза инстинктивно рванулась вперед, но Мари удержала ее, усадила обратно.

— Бесполезно, Луиза! Ты мало его знаешь!

Сидевшие в передних рядах вскочили, мужчины размахивали тростями, женщины зонтиками, все кричали. А Ферре стоял, скрестив на груди руки и улыбаясь странной и словно бы о чем-то или о ком-то сожалеющей улыбкой.

Луиза бросила взгляд в зал,— если бы этим буржуа позволили, они растерзали бы Теофиля на куски. И только на балконе, где она заметила рабочие блузы и поношенные пиджаки, оглушительно хлопали сотни ладоней.

Прошло не менее десяти минут, прежде чем зал стих.

— Подсудимый Ферре! — сдавленно произнес в наступившей тишине Дзанджакоми.— За оскорбление суда я удаляю вас с сегодняшнего заседания! Если вы не одумаетесь, у нас достаточно показаний, чтобы судить вас. Завтра вас приведут сюда снова!

— Сам я не приду! Меня принесут! — крикнул Ферре.

— Если понадобится, принесут даже мертвого! — огрызнулся судья.

Все, что происходило дальше, Луиза почти не воспринимала, будто видела сквозь сон. Не дождавшись конца заседания, Мари увела Луизу на берег Луары, и там они долго сидели молча.

И так же текла под горой Луара, и так же, как утром, безмятежно белели на ней рыбацкие паруса, и так же перечеркивали реку ажурные мосты.

Сколько времени просидели они на берегу, Луиза не знала. Но вот Мари поднялась и решительно скомандовала:

— Пойдем.

— Куда?

— Во-первых, нужно устроиться на ночь. А во-вторых, необходимо повидать адвоката Флокса. Ведь в Париже утверждали, что показания свидетелей обвинения

лживы! Значит, для спасения Тео требуется опровергнуть эту ложь.

С трудом они отыскали в переполненном городе крошечную каморку для ночлега, заплатили втридорога и отправились в комфортабельную гостиницу, где остановились адвокаты Прото и Флокс. Около ярко освещенного подъезда дежурил полицейский, стояли наготове фаэтоны. Отовсюду неслись истошные вопли газетчиков.

Луиза купила вечерние газеты, и, стоя под фонарем, они с Мари бегло просмотрели отчеты о суде. В мирном католическом Блуа выходили лишь официозные издания, и — боже мой! — какими чудовищами выглядели на их страницах пойманные с поличным несостоявшиеся убийцы любимого императора. Теофиль рисовался дьяволом, вырвавшимся из преисподней, садист и эгоист, он замучил свою добродетельную семью: папашу Лорана и двух Мари — маму и сестру, он картежник, пьяница и развратник!

Скомкав газеты, Луиза с отвращением швырнула их в урну.

Благодаря обаянию Мари им удалось проникнуть в номер гостиницы, где сопел над ворохом бумаг разъяренный мосье Флокс. Узнав, кто перед ним, он накинулся на Луизу и Мари с бранью:

— Вы видите, что вытворяет ваш глупец?! Я бессилен защитить его, если он сам лезет в петлю! Он самоубийца! Разве можно харкать в лицо присяжным, от которых зависит приговор?! Да теперь об оправдании и думать нечего! Ах, мадемуазель, мадемуазель, вы поймите, в какое положение он ставит и меня, и себя, и своих товарищей по делу! Ведь злоба, вызванная оскорблением суда и присяжных, скажется на всех обвиняемых! Ну как я стану их защищать?!

Полный, рыжеволосый, чуть седеющий, с пышными бакенбардами и удивительно острыми мышиными глаз-

ками, Флокс бегал по номеру, взмахивая коротенькими руками.

Наконец, придя в себя от приступа гнева, адвокат обнаружил, что его гостьи все еще стоят посреди номера, извинившись, усадил их, вызвал горничную и приказал принести коньяку и кофе.

Какое-то время все трое молча пили кофе, а потом Флокс, откинувшись на спинку кресла, произнес неожиданно задушевно и тепло:

— А ведь именно вы, мадемуазель, можете помочь и мне, и вашему Теофилю, и другим обвиняемым. Именно вы...

— Но как? — не дав досказать, перебила Луиза.

— А вот так! — С силой швырнув недокуренную сигару в распахнутое окно, Флокс склонился через стол.— Завтра утром я увижусь с Ферре. Я ни в чем не могу убедить его, он упрям, как мадридский бык на арене. Но вы... Попробуйте вы, мадемуазель! Напишите письмо, я передам! Убедите дурака и упрямца, что губит он не только себя, он губит товарищей, ставит под удар не одну свою жизнь! У меня есть возможность многое опровергнуть в обвинениях, предъявленных Теофилю Ферре. Но мне необходимо, чтобы этот бешеный человек помог мне.

Флокс снова откинулся на спинку кресла, с ожиданием смотрел на Луизу и Мари карими глазами.

Наступило молчание, в открытые окна с улицы доносились голоса, смех. В ресторане внизу приглушенно звучала музыка.

Флокс встал, отошел к письменному столу, взял стопку чистой бумаги, карандаши и вернулся. Положил бумагу и карандаши перед Луизой и Мари.

— Что нужно писать, мосье Флокс? — тихо спросила Мари.

Он посмотрел почти с негодованием: ох, женщины, ни черта не понимают!

— Пишите! Если он заботится не только о себе, если ему дорога жизнь товарищей, пусть откажется от фанфаронства, от якобы героической позы! Пусть примет активное участие в процессе, поможет своими показаниями изобличить ложь провокаторов. Именно так я понимаю его гражданский, республиканский долг... Вот, мадемуазель!.. Пишите! Я не стану мешать. Я удаляюсь на полчаса к моему коллеге мосье Прото.

Остановившись перед зеркалом, пригладил седеющие волосы, надел пиджак и ушел.

Луиза и Мари остались одни. То, что они писали Теофилю, было исполнено любви и нежности, но... «Подумай о завтрашнем дне, Теофиль, о тех, кто посажен рядом с тобой на скамью подсудимых, их жизнь необходима революции».

Когда Флокс вернулся, послание к узнику было завершено.

Ночь тянулась для Луизы невыносимо медленно. Стоило забыться, как наваливались кошмары: блуждала по темным, загаженным лабиринтам, спотыкаясь не то о трупы, не то о тела спящих, убегала от свирепой собачьей своры.

Трудно описать, с каким волнением на следующий день всматривались Луиза и Мари в обвиняемых, когда те один за другим проходили между плотными рядами полицейских! Когда вошел Ферре, все задвигались в зале и на скамьях присяжных. Судья Дзанджакоми не смог сдержать язвительной усмешки.

— Ага, Ферре! Вы все же явились?

Теофиль ответил с вызовом:

— Да, судья! Пришел разоблачить вашу гнусную ложь!

Дзанджакоми сердито постучал по столу:

— Обвиняемый Теофиль Шарль Ферре! Если вы не перестанете оскорблять суд, я снова прикажу отвести вас в тюрьму! Понятно?!

— Ну еще бы! — усмехнулся Ферре, усаживаясь у решетки. Отыскал глазами Луизу и Мари, кивнул.

С первых же допросов обнаружилось, как неуклюже состряпано дело: показания одних опровергались показаниями других, свидетели обвинения путались и терялись под перекрестными вопросами адвокатов.

Слушая, Луиза и Мари замирали от страха, а Теофиль сидел, невозмутимо сложив на груди руки, словно речь шла совсем не о нем. Его обвиняли в том, что он настаивал на убийстве императора, иных обвинений против него не выдвигалось.

Спокойствие Ферре объяснилось неожиданно просто! По окончании допроса свидетелей он с разрешения Дзанджакоми спросил:

— Прошу уточнить дату, когда я якобы присутствовал на конспиративном собрании и призывал к убийству обожаемого императора! Если мне не изменяет память, так называемые свидетели говорили о четырнадцатом мая прошлого года? Да?

— Да.

Ферре склонился через барьер к Флоксу, и тот, встав, торжественно извлек из портфеля какую-то бумагу.

— Ваша честь! Я прошу приобщить к делу следующий документ. Разрешите огласить?

Дзанджакоми хмуро кивнул.

Флокс медленно и торжественно произнес:

— Справка начальника тюрьмы Сент-Пелажи от пятнадцатого июля сего года. Читаю. «Заключенный Теофиль Шарль Ферре отбывал наказание во вверенной мне тюрьме с февраля 1869 года в течение трех месяцев, а затем по дополнительному приговору еще два месяца за организацию бунта в тюрьме. За указанный срок за-

ключенный Теофиль Шарль Ферре стен вверенной мне тюрьмы не покидал». Подпись.

Флокс бережно положил документ перед собой, разгладил его и обратил деланно смиренный взгляд к судье.

— Спрашивается, ваша честь: как мог мой подзащитный Теофиль Шарль Ферре присутствовать в мае прошлого года на конспиративном собрании, если...

Договорить адвокату не удалось, криками и аплодисментами обвально загремели хоры, заполненные студенческой и рабочей молодежью. Передние ряды партера молчали, присяжные сидели неподвижно. Судья беспокойно перекладывал с места на место лежавшие перед ним листки.

А Флокс, переждав аплодисменты, продолжал:

— Повторяю, ваша честь, я, как адвокат подсудимого, ходатайствую о приобщении сего документа к протоколам суда. А лжесвидетелей необходимо привлечь к ответственности за дачу ложных показаний.

Мари и Луиза торжествующе переглядывались.

Суд вынужден был оправдать Ферре, и через три дня у ворот тюрьмы он обнимал сестру и Луизу. Правда, для многих друзей Теофиля процесс закончился осуждением, но, по его словам, лишь немногие из них поддались отчаянию: поступь революции слышалась все отчетливее, несмотря на шовинистический угар, охвативший Францию при слухах о неизбежной войне с Пруссией.

...И вот снова мелькали за вагонными окнами желтые, обожженные июлем поля, размеренно помахивали решетчатыми крыльями ветряные мельницы, несся назад пересыпанный искрами паровозный дым. Но с иным чувством смотрела сейчас на это Луиза! Теофиль сидел напротив, отпуская безобидные шуточки, смеялся, хотя взгляд его таил усталость и беспокойство.

— Если бы не близорукость,— сказал он,— мне на-

верняка пришлось бы надевать солдатскую шинель и брать в руки шаспо! Но, клянусь, как бы я ни ненавидел пруссаков, я не сделал бы ни одного выстрела в защиту Империи.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Крах

Бордоский поезд, которым приехали из Блуа Теофиль и его спутницы, прибыл в Париж на Монпарнасский вокзал к концу дня. Тускнеющее солнце скатывалось за красные черепичные и серо-свинцовые крыши. Все было обычно, но почему-то трезвонили колокола, хотя час вечерней мессы не наступил. На вокзальной площади узнали: по призыву архиепископа парижского монсеньора Дарбуа во всех соборах служат молебны о даровании победы французскому воинству над Пруссией, которой Франция только что объявила войну.

В пути Луиза и. Мари рассказывали Теофилю, что произошло в Париже за время его тюремного плена, но, к их удивлению, бывший арестант многое знал подробнее, чем они.

— О, в тюрьме знают все! — снисходительно усмехался Ферре.— Мы, например, знаем, что, несмотря на арест Рошфора и почти всех сотрудников, «Марсельеза» продолжает издаваться и статьи Анри, написанные в Сент-Пелажи, появляются в газете за подписью некоего гасителя извести мосье Данжервиля. Так? Ну, вот видите! Тюрьма прекрасно обо всем осведомлена! И лишь потому, сударыни, что тюремные крысы допускают немыслимые раньше поблажки. Они заискивают перед узниками, боясь, что сегодняшние заключенные скоро станут хозяевами Парижа!

Молодые люди, изрядно проголодавшись, забежали в буфет, выпили у стойки по чашке кофе.

— А теперь домой, Тео? — спросила Мари.

— Конечно, сестра! Но думаю, что прежде необходимо поехать на Абукир, в «Марсельезу», чтобы моя статья о процессе попала в утренний выпуск, потом нам некогда будет заниматься этим: война. Свору Баденге надо разоблачить, пока она не отравила всю страну ядом шовинизма.— Он подхватил девушек под руки.— Правители всех времен и стран прекрасно понимали и понимают, что лучшее средство от нарывов внутри государства — кровопускание, война! Дескать, пусть бурлящая огнем кровь народа прольется в битве с внешним врагом!

На улицах Парижа творилось невообразимое! Повсюду из окон и с балконов свисали трехцветные флаги, гремела маршевая музыка, толпы людей заполняли бульвары и площади. То тут, то там слышались гордые, великолепные слова: «Франция, родина, патриотизм!»

«На Берлин! На Берлин!» — вопили на улицах франтоватые молодчики, размахивая тросточками. «На Берлин! На Берлин!» — захлебывались газетчики. В кафе и кабачках до хрипоты произносились ура-патриотические речи; знатоки истории взахлеб толковали о знаменитых победах прошлого: Маренго, Аустерлиц, Фридлянд, Ваграм, Москва! У башни Святого Якова накрашенная красоточка, картинно завернувшись в трехцветный флаг, стоя в фиакре, размахивала оголенными руками, призывая франтоватых молодчиков к походу за Рейн.

Они доехали на омнибусе до ворот Сен-Мартен, оттуда по запруженному людьми бульвару с трудом добрались до ворот Сен-Дени и свернули на улицу Абукир. Но попасть в здание «Марсельезы» не удалось: вокруг редакции и типографии бушевали толпы людей. Те же франтоватые молодчики и «рабочие» в подозрительно новеньких блузах, респектабельные отцы семейств в котелках и канотье выбивали в доме редакции окна и высаживали двери. Кто-то уже проник в здание, что-то го-

рело внутри, из окон валил дым, на тротуар летели листы рукописей, свинцовым градом сыпался типографский шрифт. На противоположной стороне улицы стояли ажаны и, заложив за спину руки, бесстрастно наблюдали за разгромом.

Теофиль оглядывал толпу, надеясь увидеть кого-нибудь из своих, но кругом мелькали искаженные злобой лица, разинутые в крике рты, взлетающие над шляпами кулаки. Белыми, подстреленными птицами летали над головами бумажные листы.

— Что происходит? — спросил Теофиль толстого, солидного, добротно одетого бородача.— Вы не могли бы объяснить, мосье?

Бородатый возмущенно махнул шляпой па здание редакции.

— И вы спрашиваете «что», мосье? Парижский народ воздает по заслугам мерзкой газетенке! Негодяй, скрывающийся под именем Данжервиля, осмелился в сем грязном листке утверждать, что наш поход на Берлин отнюдь не будет увеселительной прогулкой! Продавшийся пруссакам тип пытается охладить патриотический пыл нации! Говорят, что гнусная статейка написана Рошфором, который сидит в Сент-Пелажи! Каково?! И куда смотрит префектура?! До того распустили голодранцев, что порядочному человеку и нос нельзя на улицу высунуть!

Задыхаясь, Луиза вцепилась в отвороты пиджака розовощекого бородача.

— Не себя ли вы считаете порядочным человеком, лакейская сволочь?! — шепотом спросила она.— Скот вы! Откормленный продажный скот! Холуй! Прихлебатель Империи!

— Но! Позвольте... Вы... вы...— забормотал бородач, озираясь.

— Тс-с-с! Тихо! — погрозил ему кулаком Ферре и,

подхватив Луизу и Мари, потащил в сторону. И когда позади раздался вопль толстяка: «Прусские шпионы! Держите!» — они уже затерялись в толпе.

Так же, омнибусом, вернулись на левый берег, в Латинский квартал. Здесь Луиза уговорила Теофиля и Мари зайти в мастерскую Курбе,— там всегда известны все новости.

Бывшая часовня была набита битком; табачный дым напоминал осенний туман над Сеной. В дыму орали и ожесточенно жестикулировали, а сам мэтр с неизменной трубкой во рту восседал в кресле, вытянув по каменному полу огромные ноги в грубых башмаках.

Стоя у стола с глиняной кружкой в руке, о чем-то разглагольствовал сотрудник «Кошачьего концерта» Клеман Карагель, но, увидев Ферре, оборвал себя на полуслове:

— Ферре! Ну, дружище, знатную ты задал трепку судейским крысам! Молодец!

Ферре пожал тянувшиеся к нему руки и зло сказал:

— Вы тут распиваете вино и извергаете громкие словеса, а белоблузники и буржуа заканчивают разгром «Марсельезы»! Полиция хладнокровно и поощрительно наблюдает! Видимо...

Крики негодования и возмущения не дали Ферре договорить, уже нахлобучивали шляпы и хватали трости: бежать на Абукир спасать редакцию! Но Теофиль остановил друзей горьким смехом:

— Поздно! Следовало предвидеть и защищать здание раньше! А теперь там нечего делать!

Воинственный пыл сразу угас, шляпы и трости вернулись на подоконники и вешалку. На Ферре набросились с вопросами о процессе: правительственные газеты поливали обвиняемых грязью и требовали для «главарей» смертной казни. Но шум затих, когда Курбе грохнул кулаком по столу:

— Что вы набросились на него, олухи?! Камилл, дружище, налей цареубийце кружку побольше и полнее!

Камилл доверху налил литровую кружку и церемонно поднес Ферре.

Подруг усадили возле мэтра, а Теофиль стоя рассказывал то, что не попало в газеты. Слушали его молча. А когда он кончил и присел рядом с Луизой, Курбе распорядился:

— А теперь, Клеман, повторите, пожалуйста, для наших новых гостей свой рассказ.

— Пожалуйста! — Карагель ткнул сигару в тарелку с рыбьими костями, взъерошил буйную черную шевелюру.— Тогда, с вашего позволения, мэтр, я еще раз прочитаю адресованное в газеты письмо Жюля Мишле. Хотя я и не согласен с его идеализацией крестьянства, в нынешней схватке он наш союзник.

Из кармана куртки Карагель достал сложенный вчетверо лист бумаги.

— Итак, слушай, Теофиль. И вы, мадемуазель, внимайте! Читаю. «Дорогой друг! Войны никто не хочет, но она будет, и Европу станут уверять, что мы ее желали. Лицемерный и бесчестный прием! Вчера миллионы крестьян голосовали слепо. Зачем? Думали ли они, вотируя войну, вотировать смерть своих сыновей? Устроим свой плебисцит... Спросим всю нацию... Она подпишет вместе с нами адрес братства Европе и сочувствия испанской независимости. Водрузим знамя мира!»

Карагель замолчал, сел. Посапывали, потрескивали, дымя, трубки.

— Мосье Карагель,— попросила Луиза, нерешительно покосившись на Курбе.— Мы с Мари не вхожи в высокие сферы, многое нам не вполне ясно. И если мэтр Гюстав позволит... Не могли бы вы обобщить то, что известно о начавшейся войне...

Карагель взлохматил и без того торчавшие дыбом волосы.

— Боюсь, что придется повторять известное многим! Не наскучит ли вам, сеньоры?!

— Кто хочет, волен не слушать,— буркнул Курбе.— Во-первых, уважим желание дам. А во-вторых, я тоже хочу разобраться. Я настолько ненавижу газетную писанину, что использую сию испорченную бумагу лишь по прямому назначению, сиречь в нужнике! Пардон, мадемуазель...

Обижаться на Курбе было бессмысленно.

— Ну, ладно, уговорили! — Карагель шутливо раскланялся.— Должен признаться, мадемуазель, что по многолетней журналистской привычке я ежедневно фиксирую в дневнике наиболее важные события. Сейчас, с вашего позволения, я как бы перелистаю перед вами некоторые странички по памяти.

Закурив новую сигару, отпил из стоявшей перед ним кружки.

— Итак, франко-прусская война началась! Да, началась! Почему деревенские французские парни, никогда в жизни не державшие в руках ни шаспо, ни даже сабли, покидают поля и виноградники и напяливают красные солдатские штаны? Почему им вдруг приспичило переться на ту сторону Рейна, чтобы убивать там немецких парней? Кому сие нужно — вы об этом спрашиваете, мадемуазель Луиза?

— Допустим, так.

— Значит, причины и поводы?.. Так вот, недавно в Тюильри некая властная и гордая дама испанских кровей, поглаживая по головке любимое, хотя и недоношенное, чадо, соизволила произнести: «Война нужна затем, чтобы это дитя царствовало!» Убедительно? Еще бы! Кроме того, сия дама предпочитает, чтобы французские парни проливали кровь подальше от ее августейшего

будуара и не вздумали бы, как неоднократно делали в прошлом, возводить баррикады и размахивать красными знаменами. Ну а что касается повода, за ним дело не станет. Ах, оказывается, на трон, пустующий в Испании со времени революции шестьдесят восьмого года, приглашают Леопольда Гогенцоллерна, родственника прусского короля Вильгельма?! Боже мой, но тогда же Франция окажется стиснутой с востока и запада враждебными государствами, связанными династическими узами. Да, тут есть над чем задуматься! После победы над Австрией четыре года назад Пруссия необычайно усилилась. Нынешние ее властители — Вильгельм, Железный Бисмарк и худосочный Мольтке,— мечтают об объединении всех германских княжеств и герцогств под эгидой Пруссии! Угрожает ли такое объединение Франции? Без малейшего сомнения — да!

Он снова отпил из кружки, посмотрел на Мари и Луизу.

— Достаточно ли популярно изложение, сударыни?

— Вполне,— благодарно кивнула Луиза.

Те, кому рассказываемое Карагелем было известно, отойдя в сторону, разговаривали, курили. А Карагель продолжал:

— Законен следующий вопрос, миледи: а что принесет данная война нашей обожаемой родине, завершится ли она победным вступлением французских войск в Берлин? Увы, мадемуазель, этого ваш покорный слуга не рискнет утверждать! В Пруссии — обязательная воинская повинность, прусская армия отлично обучена, дисциплинированна, во главе ее — способные военачальники, чего не скажешь о маршалах Базене, Мак-Магоне и Бурбаки. Наша армия рекрутируется по системе заместительства, когда любой торгаш или рантье может взамен любимого сыночка нанять подыхающего с голоду бродягу или отпетого головореза. А наемникам наплевать, за

кого и за что сражаться, лишь бы звенело в кармане на очередную попойку! Каков моральный дух такой армии, как вы полагаете, сударыни?

— Дерьмо! — буркнул, не выпуская трубки, Курбе.

— Совершенно верно, мэтр! — согласился Карагель.— Весьма точное определение! Но и это не все! На второй день войны маршал Лебеф клятвенно заверил императора, что благодаря отеческим заботам монарха в армии ни в чем нет недостатка, даже ни в единой пуговице на солдатских гетрах! — Карагель, поморщившись, покосился в сторону, где шумел громкий спор.

Курбе стукнул кружкой по столу.

— А ну, тихо!

Спор стих, и Карагель продолжал:

— Я знаком со многими армейскими офицерами, они плюют на заверения Лебефа. К серьезной войне с таким могучим врагом, как Пруссия, мы не готовы. Прошу простить горькие слова, но вы пожелали знать мое мнение...

Карагель чуть помолчал.

— А вот отрывок из переданного в редакцию «Марсельезы» заявления секции Интернационала в Нейи-па-Сене. Они пишут: «Справедлива ли эта война? Нет! Национальна ли эта война? Нет! Это война исключительно династическая». Ведь это же глубоко верно и справедливо!

Теофиль сидел нахохлившись. Когда Карагель замолчал, он порывисто поднялся.

— Но война опрокинет Империю! — с силой сказал он.— Разве одного этого нам мало?!

— Стоп, друзья! — вскричал кто-то из художников.— Вы забываете, что поражение будет нанесено не только Баденге, но и Франции! Неужели мы сможем радоваться, когда чужеземные сапоги снова, как в 1814 году, будут топтать священные камни Парижа? Неужели наше сердце останется равнодушным к позору родины?! Нет!

Перед лицом внешнего врага мы обязаны забыть внутренние раздоры, вражду! Мы должны противопоставить пруссакам национальную сплоченность, о которую разбилась бы железная каска Бисмарка.

Луиза поднялась — у нее от споров и криков заболела голова,— пошла вдоль стоявших у стен полотен, мимо мольбертов, где блестели свежими мазками незаконченные картины. На столиках переливались радугами палитры, торчали иа банок кисти, валялись ножи, ими Курбе часто пользовался взамен кистей. Он не раз заявлял: «Нож — мой лучший инструмент! Попробуйте написать кистью скалы, подобные этим. Они же великолепны!»

Из аадумчивости Луизу вывело осторожное прикосновение к плечу. Оглянулась. С грустной улыбкой стоял аа ее спиной Камилл, рядом с ним — Мари.

— Ах, Камилл! Как я рада вас видеть! Но что с вами? У вас беда? Что-нибудь с Терезой?

— К счастью, нет. Но я отправляюсь на войну, Луиаа. У моих стариков двое сыновей, и один из нас обязап идти. У брата — семья... Значит, я...

Молчание нарушила Мари.

— Глупости! — сердито сказала она, помахивая сумочкой.— Можно за деньги выставить вместо себя когонибудь. В Блуа я видела люмнена: ходит по улицам с приколотой к фуражке запиской: «Замещаю аа десять!» То есть за десять тысяч франков! И вы свободны, Камилл!

Он по-прежнему грустно улыбнулся.

— Исключено, Мари! Курбе предлагает мне необходимую сумму, но неужели вы думаете, что я способен за деньги послать под пули взамен себя другого? — Он помолчал, скользнув невидящим взглядом по незаконченному холсту.— Да я не о себе беспокоюсь. Ужасно жаль мать, что с ней станется, не представляю. Мэтр кричит: «Дурак, дерьмо!», а я не могу иначе... Конечно...

Он встретился глазами с Луизой и замолчал. Луиза тоже молчала, подавленная ощущением обреченности Камилла. И тогда, напуская на себя беспечность, он снова заговорил:

— Идти воевать за Баденге и в то же время за Францию! Несовместимо! Либо Франция, либо он! Но я тоже не хочу позволить прусским сапогам топтать нашу землю, не хочу для Франции позора и унижения. Я не хочу...

Подошел Ферре.

— Э-э-э, погоди-ка, друже! — перебил он Камилла. Теперь Теофиль был спокоен и насмешлив, как всегда.— Из того, что я сейчас услышал, Камилл, следует два вывода. Первый: воевать с Баденге и его сворой необходимо, иначе они утопят нас в ближайшем нужнике, как выражается мэтр Курбе. Извините, Луиза! Но и воевать за честь и достоинство Франции мы обязаны! Сие значит, дорогие, что перед нами не один враг — Империя Малого Бонапарта, а два! Баденге и Пруссия. И нельзя забывать, что существует еще обманутая провинция, деревня, которая давней мужицкой ненавистью ненавидит Париж! Вот так! А сражаться с Баденге ты, Камилл, можешь и в солдатском мундире!

Они прошли по мастерской. В дальнем углу Луиза увидела постланную прямо на полу постель. Перехватив ее взгляд, Камилл пояснил:

— Здесь с разрешения Курбе я проведу последнюю парижскую ночь, идти домой не могу.— Вспомнив что-то, улыбнулся с тайной горечью.— Кстати, друзья, на этой постели коротал бессонные ночи Шарль Бодлер, прежде чем беднягу увезли в больницу. Курбе ценил Шарля, но не раз говорил ему: «Сочинять стихи — бесчестно; изъясняться иначе, чем простые люди,— значит корчить из себя аристократа!» Смешно, не правда ли?

— Когда уезжаете? — тихо спросила она Камилла.

— Видимо, послезавтра. Наш маршевый полк, по слухам, отправляется к Нанси или Мецу.

— Значит, со Страсбургского вокзала?

— Вероятно.

— Я приду проводить вас!

Как и всегда, шумный вечер в мастерской Курбе закончился в заведении папаши Лавера, «доброго гения безденежной богемы». Но Луизу в этот вечер ничто не могло отвлечь от грустных мыслей, хотя рядом с ней сидел Теофиль.

Уже на улице, прощаясь с Луизой, Камилл спросил:

— Вы разрешите писать вам, мадемуазель Луиза? Домой я писать не смогу, разве только улыбки и приветы! Может быть, кое-что из того, что напишу, вы сможете с пользой для дела напечатать. Разрешаете, да?

— Как вы можете спрашивать, Камилл!

— Я так и знал, Луиза! У вас честная и открытая душа...

Трудную ночь провела Луиза. Тихонько, чтобы не разбудить мать, вставала, зажигала свечу, пробовала писать, но не могла... Перебирала, перелистывала архивы.

Среди пожелтевших вырезок из газет ей попалась речь Виктора Гюго в июле пятьдесят первого, когда Луи Бонапарт только еще карабкался к единовластию. Дебаты в Законодательном собрании тогда шли о пересмотре конституции, о продлении президентских полномочий Баденге.

Она с волнением перечитала брошенные с трибуны слова Гюго:

«Близится час, когда произойдет грандиозное столкновение, все отжившие политические институты ринутся в бой против великих демократических прав, прав человека!.. По милости притязаний прошлого мрак снова покроет то великое и славное поле битвы, на котором развертывают свои сражения мысль и прогресс и которое

называется Францией. Не знаю, как долго продлится затмение, не знаю, насколько затянется бой...»

Да, затмение длится, и бой затянулся на много лет, и на защиту «затмения» завтра пойдут такие, как Камилл Бруссэ.

Она пробежала глазами давнюю статью, и ее остановили слова:

«Как?! После Августа — Августенок? Как, только потому, что у нас был Наполеон Великий, нам придется терпеть Наполеона Малого? Нет! После Наполеона Великого я не хочу Наполеона Малого! Хватит пародий!.. Чтобы водрузить орла на знамени, необходимо, чтобы раньше орел водворился в Тюильри! Где же он, ваш орел?»

Надо ли удивляться, что, когда узурпатор взгромоздился на трон Франции, великому Гюго, переодетому в грубую суконную блузу и в засаленный картуз, с паспортом наборщика Ланвена в кармане пришлось покинуть родину! Надолго! Идет девятнадцатый год его изгнания! А здесь... Девятнадцать лет мрака, девятнадцать лет тюремных решеток, сквозь которые смотрит в небо самая свободолюбивая страна мира!

И лишь одно согревало Луизу в те часы: Теофиль жив, Теофиль свободен!

Да, война уже шла. В городах и деревнях, провожая любимых, рыдали матери, невесты и жены, в Париже извлекали из национальных музеев знамена Аустерлица и Ваграма. И, пытаясь поднять воинственный дух нации, Бонапарт Малый устраивал на Вандомской площади шествия согбенных и седых наполеоновских ветеранов.

Луиза часто виделась с Андре Лео, их сблизили хлопоты о будущей газете, но в условиях начавшейся войны получить разрешительный штемпель на выпуск прогрессивного издания стало невозможно.

Когда Луиза сказала о намерении поехать на Страсбургский вокзал, откуда отправляли на восток маршевые эшелоны, Андре решила сопровождать ее.

— Необходимо все видеть своими глазами! — воскликнула она.

Отыскать Камилла в многотысячной толпе на перроне им не удалось. Но сколько волнующих сцен они наблюдали, сколько увидели слез! Крики прощаний заглушались патриотическими речами респектабельных господ, генералов в расшитых золотом мундирах. Снова и снова поминались Аустерлиц и Ваграм, осада и взятие Севастополя, Маренго и Фридлянда. Развевались овеянные легендарной славой знамена Франции, неистово ухала медь духовых оркестров. А над всем весело сияло июльское солнце.

— Знаете, Луиза,— сказала Лео, когда они, устав от бесплодных поисков Камилла, прислонились к стене,— я признаю лишь войны за независимость, скажем войны Джона Брауна и Джузеппе Гарибальди. Кстати, у меня накопились кое-какие материалы о Гарибальди и, если вам интересно, могу дать.

— Заранее благодарю! Ну что же, по домам?

Но им не суждено было тотчас же уехать с вокзала. Неожиданно рядом с ними, скользнув боком по стене, повалилась на камни пожилая женщина.

— Что с вами, мадам? — испуганно склонилась над ней Луиза.— Вам плохо?

— Опоре... Опоре!.. Они убьют моего мальчика! — бормотала упавшая. Белокурые, с сединой волосы выбились из-под старенькой шляпки, по серой щеке текли слезы.— О, я забыла положить ему теплое белье... Он простудится осенью... он не умеет беречь себя...

Андре и Луиза подняли потерявшуюся от горя женщину, вывели на площадь, подозвали фиакр и довезли до дома. В пути несчастная мать сквозь слезы рассказы-



вала: нет, Оноре не единственный, но старшему, Эмилю, пришлось бежать в Швейцарию, иначе он в мае сел бы на скамью подсудимых. Нет, нет, мадемуазель, он не преступник, поверьте мне! Просто он и его друзья хотели, чтобы рабочему жилось полегче... Ах, неужели святая Мария и господь бог не видят неправды, а если видят, то как же они терпят ее? Мой грешный разум мутится, я ничего не могу понять...

Луиза и Андре пытались ее успокоить.

В Ла-Шапель, в одном из переулков за базиликой Жанны д'Арк, они помогли мадам Либре вылезти из экипажа, поднялись с ней на второй этаж. Двери из передней в комнаты распахнуты, за дверью справа над белоснежной кроватью — чугунное распятие, комната напротив завалена книгами.

Хозяйка перехватила взгляд Луизы.

— Да, Эмиль много читал! К нему приходили друзья, и они спорили целыми ночами. Правда, я не все понимала, но, клянусь вам, они не хотели плохого! Присаживайтесь, пожалуйста, мадемуазель, я так благодарна, я сейчас сварю кофе...

Даже беглого взгляда на убогую кухню было достаточно, чтобы понять: если хозяйка сварит для гостей кофе и подаст к нему кусочек хлеба с сыром, она обречет себя на голодный день.

— Простите, мадам! — остановила Луиза хозяйку, вставая.— Мне необходимо купить кое-что для дома. Я заметила вывеску напротив. На полчаса я оставлю вас.

— Ну нет! — возразила Лео.— После вокзальной давки мне необходим чистый воздух. Лучше вы, Луиза, побудьте с мадам Либре, а я пройдусь. И не спорьте со мной!

Когда дверь за Андре захлопнулась, а хозяйка принялась хлопотать на кухне, Луиза прошлась по комнатам, разглядывая фотографии на стенах. На многих снимках —

молодой мужчина, черноусый и статный, и белокурая женщина с двумя малышами.

— Это ваша семья, мадам Либре?

— Да. Я, мой Жан и мальчики.

— А ваш муж где, мадам Либре?

— О! — И такая горечь прозвучала в ее голосе, что Луиза пожалела о вопросе.— Мой Жан погиб на баррикаде Пти-Поп в июне сорок восьмого... Никогда не забуду тех дней, мадемуазель Луиза, потому и не осуждаю сыновей...

Луиза прошла на кухню и поцеловала мадам Либре в щеку.

— Вы позволите посмотреть книги ваших сыновей?

— Да, пожалуйста. Я там ничего не трогала и не стану трогать, пока они не вернутся. К счастью, у нас обошлось без обыска.

— А кто бывал у ваших мальчиков, мадам Либре?

— Я весьма уважала мосье Варлена! Простой переплетчик, он производил впечатление очень образованного господина. И как прекрасно говорил! К счастью, ему удалось скрыться от жандармов! Бывали у нас и мосье Малон, знаете, такой бородатый, доброе спокойное лицо, и мосье Толен, и другие из Товарищества Рабочих. Уверяю вас, мадемуазель Луиза, они честные, благородные люди, и вдруг узнаю, что все в тюрьме! Знаете, я становлюсь грешницей! Иногда ловлю себя на мысли, что упрекаю божью матерь и всевышнего за судьбу бедняков. Слишком много власти забрали у нас богачи: у них и дворцы, и деньги, и полиция, и митральезы.

Луиза обняла вздрагивающие плечи старой женщины.

— Успокойтесь, мадам Либре! Скоро наступит царство справедливости и каждый получит по заслугам.

— Ах, если бы, мадемуазель!

Луиза прошла в комнату сыновей Либре, оглядела стол и полки. Да, многое знакомо, читано и перечитано.

И так же как и на ее столе, лежат недописанные странички.

Присела к столу и прочитала исчерканный черновик:

«Германские братья! Во имя мира, не слушайте продажных или рабских голосов, которые желают вас обмануть, изображая в ложном свете настроение умов во Франции. Будьте глухи к безумной провокации, потому что война между нами есть война братоубийственная!.. Наш раздор поведет лишь к полному торжеству деспотизма!.. Каков бы ни был результат наших общих усилий, мы, труженики всех стран, члены рабочего Интернационала, не признаем никаких границ и шлем вам, как залог неразрушимой солидарности, привет работников Франции...»

Луиза задумалась над прочитанным... Что же дальше? Может, начавшаяся бойня закончится братанием французских и немецких солдат и они вместе повернут штыки против деспотизма?!.. Ох нет, Луиза, вряд ли! Ты забываешь о деревне, сегодня еще слепой и глухой, обманываемой посулами имперских чиновников. А ведь именно из крестьянских парней навербована нынешняя армия. Таких, как Камилл да Оноре Либре, в ней ничтожно мало, словно капель оливкового масла в луковой похлебке бедняка!

— Мадам Либре! — Луиза повернулась к кухне, где хлопотала у плиты хозяйка.— Вы знаете, кто это писал?

Либре оглянулась, лицо ее стало живее, из глаз исчез слезный блеск.

— Это сочиняли вместе Эмиль и его друзья. Когда полиция охотилась за мосье Варленом и мосье Делеклюзом, они частенько скрывались у нас. Консьержка — моя сестра, она ни за что не выдала бы наших гостей...

Перебирая стопки исписанных листков, Луиза натолкнулась еще на один, тоже многократно правленный и черканный.

«...Мы протестуем против систематического истребления человеческой расы, против расхищения народного богатства, против крови, проливаемой для безобразного удовлетворения чванства, самолюбия и ненасытных монархических притязаний. Да! Мы со всей нашей энергией протестуем против войны, протестуем, как люди, как граждане, как рабочие. Война — пробуждение диких инстинктов и национальной ненависти. Война — скрытое средство правителей для подавления общественных свобод...»

Луиза не слышала, как заскрипели ступени лестницы, как хлопнула дверь, не заметила, как из лавки вернулась Андре. И, лишь почувствовав на своем плече прикосновение руки, вскинула глаза. Молча протянула Андре исписанные листки. Присев на подоконник, Андре быстро просмотрела текст.

— Ну и что, Луиза? Тебя удивляет, что здесь, в рабочем квартале, ты обнаружила такие документы?! Но, дорогая, ведь это естественно! По слухам, во французских секциях Интернационала сейчас более двухсот тысяч членов! Такая же армия, какую маршалы Мак-Магон, Фроссар и Базен повели навстречу пруссакам!

Луиза и Андре посидели с мадам Либре, а потом, пообещав навестить ее, поехали на омнибусе на левый берег.

Париж шумел. Манифестации «белых блуз» и буржуа воинственно шествовали по улицам, национальные флаги сплошной завесой прикрывали фасады домов, всюду гремела музыка, а кафешантанные певички в наскоро сшитых трехцветных платьях увеселяли па площадях патриотов, выискивая богатых покровителей. Шикарно одетые молодые люди громили киоски, продававшие республиканские газеты «Улица» и «Призыв». «Мы им покажем, как пятнать честь Франции! Мы им напомним Аустерлиц, поганым бошам! Вив ля Франс!»

Луиза рассталась с Лео и направилась в «Мадрид», где ее ждал Теофиль.

Она застала его возбужденным, даже всегда бледное лицо покраснело.

— А где же Мари? — спросила она, усаживаясь напротив.

— Поехала в Сент-Пелажи, надеется получить внеочередное свидание с Раулем. Но вряд ли удастся. Сент-Пелажи оцеплена батальоном тюркосов и зуавов!

— Что беспокоит вас, Тео? Вы не похожи на себя!

Карманной гильотинкой он обрезал кончик сигары, закурил и лишь тогда спросил:

— Вы видите в компании за пальмами седеющего блондина с сенаторским значком?

Луиза всмотрелась. Представительный господин в безупречно сшитом фраке о чем-то говорил, небрежно помахивая холеной рукой.

— Вижу,— сказала Луиза.— Таких пшютов в Париже пруд пруди!

— А вы знаете его имя?

— Нет.

— Это Жорж Шарль Дантес! Убийца Александра Пушкина!

И тут Луиза почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. Мелькнуло в памяти: «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою».

— А я и не знала, что этот сукин сын жив, что он в Париже! Расскажите, Тео! К списку моих ненавистей прибавляется еще одна.

Теофиль пожал плечами:

— А что рассказывать, Луиза? После убийства Пушкина приговорен к смертной казни, но казнь заменили высылкой. И вот он здесь, сенатор и камергер с окладом в шестьдесят тысяч франков! Можно шиковать, заказывать костюмы у лучших портных, обедать у Бребана,

а изредка, фрондируя, заглядывать в «Мадрид», «Хромую утку» или в «Спящего кота». Убежден в безнаказанности, ибо ему покровительствует с-а-м! Говорят, по поручению Бонапарта ведет тайные переговоры с российским самодержцем. Вот так, дорогая Луиза! Есть от чего прийти в бешенство!

Компания Дантеса собралась уходить, звенели брошенные на стол серебряные монеты, сверкали модные цилиндры. И когда эти господа, направляясь к выходу, проходили мимо, Луиза не выдержала, встала, шагнула к Дантесу:

— Убийца!

Он высокомерно и даже, пожалуй, с любопытством оглядел Луизу, хотя щеки его чуть побледнели.

— Вам необходимо лечиться, мадам! — сказал он, снисходительно усмехаясь.— Могу посоветовать психиатрическую лечебницу Святой Анны... Я не знаю, на какую из моих дуэлей вы намекаете, сударыня, но клянусь, я убивал противников лишь в равных поединках. Засим — имею честь!

Толстоусый и краснощекий хозяин «Мадрида» настороженно наблюдал за происходящим, даже вышел из-за стойки. Но Теофиль, взяв Луизу за руку, заставил ее сесть. И когда дверь за Дантесом закрылась, сказал, поглаживая ее руку:

— Скоро пробьет судный час, Луиза, и тогда... А сейчас... ну окажемся мы с вами в префектуре, поскандалим, а в конце концов ничего. Ведь так? Ну, успокойтесь, пожалуйста, Луиза...

Она посмотрела с негодованием.

— Вот уж никогда не думала, что вы, мосье, можете быть столь благоразумны!

Теофиля не оскорбил ни ее тон, ни слова, он смотрел задумчиво и ласково.

— Просто я убедился, Луиза, что мы приносим

слишком много напрасных жертв! А решающий час сражения близок, каждая жизнь — на счету. О, я бы с наслаждением сам раскровянил морду этому подлецу. Придем мы к власти, и все дантесы получат свою порцию свинца или два метра пеньковой веревки. Но сейчас необходимо сдержаться ради конечной победы.

Луиза посматривала на Теофиля с удивлением: раньше он, боготворивший Бланки и Флуранса за их безоглядную смелость, казался ей отчаянным, взбалмошным мальчишкой, готовым на любое безрассудство, а сейчас напоминал Делеклюза с его всегдашней заботой о сохранении жизней товарищей для будущей революции.

— Вы взрослеете, Теофиль,— сказала она с оттенком грусти.

В те дни Париж говорил и кричал лишь о войне. Оптимисты повторяли хвастливые заявления Оливье и Грамона, мечтали о вступлении в Берлин трехсоттысячной французской армии под водительством Мак-Магона, Базена, Фроссара и Дуэ. Дескать, отважные генералы, пройдя через ущелья Вогезов, форсируют Рейн между Страсбургом и Саарбрюккепом и вобьют стальной клин между Пруссией и южногерманскими государствами, помешают объединению их сил в единую армию.

— О, эти бюргерские Баварии и Саксонии, Бадены и Вюртемберги падут под ударами нашей доблестной армии, как карточные домики под порывом могучего урагана! — орали в кабачках.

Луиза мрачнела, слушая воинственные вопли: если действительно Пруссия будет побеждена, это на многие годы упрочит положение Бонапарта, возвеличит узурпатора в глазах провинции и крупной буржуазии, которая баснословно наживается на войне. Можно ли подсчитать, сколько миллионов франков пожнет на кровавой

ниве хотя бы глава Законодательного собрания Эжен Шнейдер, владелец пушечных заводов в Крезо? Такие, как он, получат по нескольку франков за каждую каплю пролитой в сражениях народной крови.

Луиза не могла сидеть дома, по утрам, наскоро позавтракав, бежала на улицу, покупала ворох газет. Официальные сообщения были отвратительно хвастливы, а оппозиционные газеты за любую смелую статью, «подрывающую боеспособность родины и играющую на руку врагу», часто конфисковались и сжигались во дворе префектуры.

Она ежедневно встречалась с Мари, но обычно веселая и неунывающая девушка тоже грустила: по Парижу ходили слухи, что осужденные за «политику» будут задержаны в тюрьмах до конца войны. Слух подтвердился: шестимесячный срок заключения Рошфора истек, но начальник Сент-Пелажи вызвал Анри в канцелярию и заявил, что освобождение невозможно.

— Луиза, Луиза! — жаловалась Мари.— Ты знаешь, меня никогда не покидало мужество, но сейчас... Если тюремщикам прикажут, они устроят какую-нибудь провокацию и расправятся с Раулем!

Однажды вечером Теофиль и Мари встретились с Луизой в кафе «Хромая утка». Назавтра Теофиль в качестве корреспондента уезжал на восток — в Страсбург, Бич и Форбах.

— Там творится нечто невообразимое,— рассказывал он, помахивая неизменной сигарой.— В ущельях Вогезов сосредоточена наша огромная армия, и, казалось бы, ей надлежит немедля форсировать Рейн, чтобы помешать объединению германских армий. Но наши хваленые полководцы топчутся на месте...

На следующее утро девушки проводили Теофиля, и дни потянулись для Луизы тягостно и медленно как никогда.

Правительственные газеты по-прежнему без конца вопили: Франция — великая держава! Во главе ее армий — наследник величайшего полководца мира! Победа близка!

А тревожные слухи ползли, и неудержимо. С оглядкой и опаской их передавали на рынках и в кабачках, в лавочках и кабаре... Во многих полках солдаты по три дня не получают пайка, ядра и снаряды для пушек отправлены не в ту сторону, куда движется артиллерия, стотысячная армия зажата в ущельях Вогезов, словно в мышеловке...

Через несколько дней громом грянули сообщения о поражении армий Дуэ, Фроссара и Мак-Магона. Луизу пугало молчание Теофиля, она забывала о военной цензуре, которая вымарывала все, что говорилось о поражениях, солдатские письма сжигались мешками.

Но как-то утром, когда Марианна ушла в булочную, в дверь постучали. За порогом Луиза увидела пожилого человека в красных солдатских штанах и армейской кепи, правая рука — на перевязи. Нерешительно оглянувшись, солдат спросил:

— Мадемуазель Луиза Мишель?

— Да. Да!

— У меня пакет от мосье Ферре,— вполголоса сказал солдат, ощупывая карман мундира здоровой рукой.— Он попросил передать... И пока до свидания, мадемуазель, мне — на перевязку. Извините, я задержал пакет мосье Ферре. Добрался до Парижа с трудом...

На кухне Луиза разорвала пакет из оберточной бумаги, радуясь, что Теофиль сдержал слово и написал обстоятельное письмо. Но, к ее глубокому огорчению, в пакете оказалась лишь коротенькая записка Ферре и несколько вырезок из газет. На английском и немецком.

Ферре писал: «Простите, Луиза, за крохотную записку, человек, который передаст Вам ее, должен сию ми-

нуту уехать. Чтобы вы представили себе, что здесь происходит, посылаю Вам газетные вырезки. Крепко жму руку!»

Через полчаса на столе перед Луизой лежал перевод пересланных Теофилем статей,— как хорошо, что она не пренебрегла изучением языков на курсах.

«В то время как Мак-Магон потерпел поражение на восточных склонах Вогезов, три дивизии Фроссара... были отброшены дивизией Камеке с высот южнее Саарбрюккена, за Форбах и дальше... Слева от Фроссара находилось семь пехотных дивизий Базена и Ладмиро, а в тылу у него — две гвардейские дивизии. Но... ни один человек из всех этих дивизий не пришел на помощь злополучному Фроссару. После жестокого поражения он вынужден был отойти, и теперь он, так же как Базен, Ладмиро и гвардия, со всеми своими войсками отступает к Мецу...»

Сбоку на полях рукой Ферре: «Это из английской «Pall Mall gazette». Я познакомился здесь с ее корреспондентом. Да, Луиза, я собственными глазами наблюдаю крушение тирании, но — тысячи убитых, тысячи трупов! Я сейчас в Ремийи, вблизи Меца, при первой же оказии напишу снова!»

И еще клочок из газеты со статьей Эмиля Золя:

«Нас осыпали бранью за то, что мы отказывались подвывать бульварным сборищам и не скрывали, что нас угнетает готовящаяся резня... Полно же вам сыпать остротами, называя нас пруссаками, когда мы оплакиваем французскую кровь. И не трезвоньте: «Да здравствует император!», потому что император ничего не может сделать для нас. Если, на беду, мы испытаем поражение, тогда пусть на империю обрушится проклятие. Если же мы будем победителями, тогда лишь Францию необходимо благодарить за победу!»

Не надев шляпки, Луиза выскочила на улицу: скорее

к Андре, к Мари, к старикам Теофиля — обрадовать, что жив и здоров!

Андре застала за утренними парижскими газетами. Разложив на столе карту Франции, женщины пытались определить на ней места боев. Из английских и немецких сообщений следовало: соединившиеся германские армии форсировали Рейн и железной лавиной катятся по беззащитным полям и холмам Эльзаса и Лотарингии.

— Да, Луиза! — Андре пристукнула кулачком по карте, где коричневым пятном обозначался хребет Вогез.— А ведомо ли вам, милая, что идиоты из генерального штаба умудрились снабдить наших офицеров географическими картами лишь германских государств и княжеств? Ни у кого из наших офицеров нет даже схемы тех мест Франции, где идут бои! Дескать, сражаться будем на прусской земле! И вот теперь...

Андре отошла к распахнутому окну, откуда врывался в комнату гнусавый голос разносчика фруктов и зелени. Луиза продолжала рассматривать карту. Ага, вот Мец, а вот Ремийи, откуда Теофиль послал ей записку. А вот Седан...

Андре вернулась к столу.

— Слушайте, Луиза! Думаю, Теофиль с этим солдатом послал письмо своим родителям, иначе — он просто чудовище! А если так, ваш визит к старикам сейчас не обязателен! Давайте-ка отправимся по редакциям! Ведь если сведения Ферре верны, я не вижу для Баденге спасения! Пошли!

По пути они поняли, что Париж уже захлестнули тревожные слухи. И площадь и мост Согласия, и набережная д'Орсей были забиты толпами возбужденного народа. Охранявшие дворец гвардейцы едва сдерживали натиск множества людей.

— Солдаты, на границу! На границу! — раздавались требовательные крики перед Бурбонским дворцом.

Смущенные офицеры беспомощно пожимали плечами, Луиза слышала, как один лейтенант сказал другому:

— Да, Жан, наше место сегодня не здесь!

Вскоре солдаты оказались не в силах сдерживать возмущенную толпу. Опрокинув решетки, народ ворвался в украшенные знаменами и позолоченными орлами залы. У длинных столов толпились члены правительства, Тьер, потрясая над седой головой очками, запальчиво возражал кому-то:

— Ладно! Осуществляйте вашу республику! Но и отвечать за нее будете вы! Вы, а не мы!

«Пушечному королю» Эжену Шпейдеру, пробиравшемуся к президентскому креслу, кто-то от дверей кричал:

— Убирайся! Хватит! Нажился на народной крови!

И сотни голосов, перебивая друг друга, взывали:

— Ну, чего ждете?! Республику! Мы готовы! Нас двести тысяч вокруг дворца!

Казалось, еще миг — и республика будет провозглашена, Франция обретет вырванную у нее свободу! Но нет в зале ни самоотверженного Бланки, ни неистового Флуранса, ни Делеклюза, никого, кто дерзнул бы стать у знамени! Среди всеобщего замешательства слышнее и слышнее вкрадчивые голоса:

— А достаточно ли нас, господа? И достоверны ли сведения о поражении на фронтах? Не подождать ли до завтра?!

Бессильный гнев душит Луизу, она рвется вперед, ей хочется кричать: «Трусы! Трусы!» Но громко звенит в руке Шнейдера серебряный колокол, возвещающий открытие заседания Законодательного корпуса, хотя «Зал потерянных шагов» полон людей, не имеющих депутатских мандатов. Но полномочия депутатов невозможно сейчас проверять!

Подняв руку, просит слова Жюль Фавр. Луиза

внимательно разглядывает лицо в ореоле седых волос.

Она не раз встречала почтенного Жюля Фавра па улице Отфейль. Ведь это он — глава «Общества по распространению знаний», открывшего любимые ею курсы. О, пока она еще верит революционности «трех Жюлей» — и Жюля Фавра, и Жюля Симона, и Жюля Ферри, горделиво именующих себя либералами! Сейчас ее доверие к ним возрастает: Фавр предлагает Собранию взять власть в свои руки. Но, отвечая ему, бонапартисты поднимают неистовый рев: «Это происки прусскпх агентов, которых нужно расстреливать на месте!»

В невообразимом шуме и гвалте, с трудом шевеля вздрагивающими губами, Шнейдер закрывает заседание Корпуса и призывает парижап собраться завтра утром на площади Согласия. «Там и примем, братья, окончательное решение! Зал Собрания для Парижа слишком мал!..»

Потеряв в давке Лео, Луиза бросилась на квартиру Ферре. Мари дома не застала, а старики Теофиля, тоже получившие от него письмо, отнеслись к восторженным сообщениям Луизы о поражениях империи без всякого энтузиазма.

— Да вы же поймите, папаша Лоран! — чуть не кричала она.— Завтра — республика! Кончилось кровавое царствование!. И нет сил, могущих нам помешать!

Но старик Ферре недоверчиво хмурился, угольные глаза его, очень похожие на глаза Теофиля, оставались печальными.

— Ах, мадемуазель Луиза! Вы большой, наивный ребенок! Я пережил не одну революцию! Не питал, не питаю и никогда не буду питать доверия к так называемым либералам! Они прячутся под любой личиной, покрывая происки деспотизма, хоронят по его приказам наши революции. Попомните мое слово, мадемуазель Луиза!

Она едва не плакала от бессилия убедить седого упрямца в возможности немедленного наступления царства добра и свободы, передать ему хотя бы часть переполнявшей ее радости!

Непереносимо длинна была та ночь. И едва рассвело, Луиза побежала к Андре Лео. Они вместе отправились к центру Парижа. Какое же негодование охватило их, когда они увидели, что все улицы и набережные, ведущие к площади Согласия и Бурбонскому дворцу, перекрыты полицией и мобилями.

И выступать против грубой силы было невозможно: толпы, устремившиеся к площади Согласия, на сей раз не вооружились даже палками,— так слепо уверовали вчера в обещания Фавра, Симона и Шнейдера! А их обманули как маленьких, обвели вокруг пальца.

В один из августовских дней Луиза с Мари сидели в кафе у Сен-Мартен, когда туда ворвался мальчишка-газетчик и заорал, размахивая газетой:

— Бой на бульваре Ла-Виллет! Бланкисты захватили пожарную казарму с оружием! Их окружили полицейские и мобили!

Все повскакали, рванулись к двери, протягивая газетчику монеты. Но он — истый Гаврош! — спрятал пачку газет за спину и, смеясь, прокричал:

— Этого, месье, в газетах нет! Это мои бесплатные новости, месье! Спешите на Ла-Виллет! Там идет горячая драчка. Клянусь своими веснушками! — И, победно гикнув, малолетний вестник метнулся в соседнее кафе.

Слух о схватке у пожарных казарм молниеносно разнесся по Парижу.

И все-таки Луиза и Мари опоздали. Когда добежали до кирпичного здания пожарной команды, отряды полиции и мобилей, орудуя штыками и прикладами, разгоня-

ли безоружную толпу. Летели над головами вывороченные из мостовой булыжники, изредка потрескивали выстрелы, стонали раненые. Силуэты пяти или шести тюремных карет возвышались над толпой, полицейские силой заталкивали в них людей. Конные офицеры размахивали шашками, угрожая изрубить сопротивлявшихся.

Луиза и Мари не успели опомниться, как все кончилось, черные кареты, окруженные конным эскортом, скрылись в улице, ведущей к тюрьме Мазас.

— Вот эдак всегда! — проворчал парень в разорванной па плече синей блузе.

— Да что же произошло?! — крикнула ему Луиза.

— А-а! — парень зло махнул заскорузлой рукой.— Молодцы Бланки прослышали, будто в казарме есть оружие: шаспо, пистолеты, сабли. Без оружия как же бороться? Но какая-то сучка донесла в полицию!

— А кого арестовали? — спросила Луиза.

— Человек двадцать схватили. Я-то знаю двоих — Эда и Бридо! Ну, этим теперь не миновать пули!

— Эмиль Эд? Бридо? — переспросила Луиза.— Не может быть!

Она не раз встречала их в редакциях республиканских газет, на собраниях, в кафе!

— Не может? Э, мадам! — усмехнулся рабочий, поправляя сбитый в драке потрепанный картуз.— В нашей великой державе любая подлость возможна! Тем более сейчас, когда Париж на осадном положении и судить их будет военный суд! — И, в сердцах сплюнув, зашагал прочь.

Сей провидец из народа оказался прав. Через две недели Луиза узнала о смертном приговоре Эду, Бридо и еще четверым. Даже кое-кто из республиканцев, оглушенный шовинистическим гвалтом, обзывал зачинщиков нападения на Ла-Виллет бандитами, а неистовый Гамбетта предлагал казнить Эда и Бридо, как главарей,

немедленно, до суда. Дескать, перед лицом вражеского вторжения Франция должна забыть внутренние распри и все силы направить на разгром пруссаков! А в глазах Луизы мятежники были героями.

Для нее наступили напряженные дни! Эд и Бридо в ее сознании стояли рядом с Теофилем и Риго,— цвет молодой Франции, надежда и сила будущей республики! Но что могла она сделать, учительница и поэтесса, чего стоило ее заступничество?!

— Да, Луиза, здесь нужно громкое, овеянное славой имя! — соглашалась Лео.— Нужен голос, к которому прислушается вся Франция!

Луиза с горечью подумала: «Гюго в изгнании».

— А знаете?! — подсказала Эжени Реклю,— давайте обратимся к Жюлю Мишле! Он стар, семьдесят два, но с ним всегда считались! Пэр и академик! Если он подпишет петицию о помиловании, мы, может быть, и спасем осужденных. Он же республиканец, противник империи!

О, как они торопились, сочиняя петицию парижскому губернатору генералу Трошю. Луизе мерещилось: пока они спорят над словами, где-то на тюремном дворе Бридо и Эда ставят к смертным столбам.

Мишле, прославленный историк, седой и дряхлый, сразу же принял женщин и, прочитав их послание правительству, без колебаний поставил под ним свою подпись.

А затем трое суток Андре Лео, Эжени Реклю, Луиза и Мари бегали из дома в дом, из квартиры в квартиру, останавливали людей на улицах. И когда десятки листов покрылись тысячами имен, женщины отправились к генералу Трошю. О, не таким-то простым делом оказалось добраться до сей величественной особы, облеченной «доверием народа» и властью миловать и казнить!

Да они и не добрались, лицезреть генерала Трошю им не пришлось. Корректный секретарь, сверкавший

эполетами и аксельбантами, попросил женщин оставить приемную, так как генерал отбыл на прием к регентше-императрице и невозможно сказать, когда вернется.

— Мы не уйдем! — заявила Луиза, усаживаясь в одно из кресел.— Мы явились от имени парижского народа, и губернатор не имеет права нам отказать. Вот петиция! Народ поручил нам передать ее генералу! Нас отсюда можно выкинуть лишь силой!

Обескураженный секретарь в конце концов согласился принять письмо Мишле и папки со множеством пронумерованных листов с подписями, заверил, что, как только генерал Трошю вернется, все будет ему вручено.

— Но учтите, мосье: завтра мы явимся сюда снова! — предупредила Андре.— И явимся не одни, а в сопровождении тысяч и тысяч пославших нас! Так и передайте генералу! Мы говорим от имени народа Парижа!

Но идти к Трошю им больше не пришлось. Тем же вечером секретарь генерала направил Жюлю Мишле депешу, что просьба его удовлетворена, казнь Эда и Бридо... отсрочена. А потом...

А потом — Седан! Армия Мак-Магона, стиснутая германскими войсками, окруженная пылающими селениями, сдалась на милость победителя. Еще до конца сражения Луи Наполеон приказал вывесить над крышей седанской крепости белую скатерть — флаг капитуляции. С опушки леса на холме Марфе сам Вильгельм наблюдал за ходом последнего боя.

— Кажется, все! — с удовлетворением заметил он окружавшим его генералам.— Финита ля комедиа!

Вскоре к холму Марфе в сопровождении гусара с белым флагом подскакал уполномоченный французского императора генерал Рейль. Спешившись, он приблизился к сидевшему на складном стуле Вильгельму, поклонился и протянул украшенную бриллиантами шпагу Луи Бонапарта. А затем подал пакет.

Победно оглядев стоявших вокруг, Вильгельм вскрыл пакет, прочитал вслух:

— «Августейший брат мой! Так как я не мог умереть среди моих войск, мне остается только вручить Вашему величеству мою шпагу. Остаюсь Вашего величества преданным братом. Наполеон».

Опустив неровно исписанный лист на колени, Вильгельм с минуту неподвижно смотрел перед собой, а потом, поднимаясь, торжественно произнес:

— Итак, война окончена, мои генералы! Поздравляю с победой! Наконец-то Германия обретает подобающие ей могущество и славу. Запомните сей торжественный час: вы являетесь свидетелями рождения Великой Германской империи!..

Вспомнив о французском парламентере, отдал наполеоновскую шпагу адъютанту, небрежно бросил:

— Вы исполнили свою миссию, генерал! Пожелайте здоровья вашему повелителю. И передайте, что он поступил благоразумно: сопротивление моим победоносным армиям бессмысленно!

Об этом эпизоде Луизе рассказал Камилл Бруссэ. Раненный под Седаном, переодевшись в крестьянскую одежду, он чудом избежал плена.

Встретились они в мастерской Курбе, куда Камилл с перевязанными плечом и рукой добрался вечером третьего сентября. Именно в тот день Париж узнал о позорной капитуляции под Седаном, о сдаче восьмидесяти трех тысяч солдат и офицеров, более ста тысяч лошадей и шестисот пятидесяти пушек.

В тот вечер у Курбе было не так людно, как всегда: кое-кто ушел в армию по мобилизации, многие журналисты отправились на фронт корреспондентами газет.

Прежде чем явиться в мастерскую Курбе, Луиза побывала на Больших бульварах, где тысячи парижан восторженно выкрикивали: «Низложение! Республика!»

И она до хрипоты кричала вместе со всеми. Но неожиданно из переулка на манифестантов накинулась свора полицейских и мобилей. Возле театра «Жимназ» ударом кастета сбили с ног писателя Артюра Арну, и Луиза своим шарфиком перевязала ему голову. Помогла раненому добраться до дома, а сама, возбужденная до предела, побежала к Курбе.

Там она и застала Камилла. В драной и пропыленной одежде, хромой, он казался теперь совсем другим человеком. Нервным тиком дергалось припухшее веко, губы кривила болезненная усмешка.

Собравшиеся в мастерской слушали Камилла с нетерпеливой жадностью: правительственные газеты третий день ничего не сообщали о ходе войны.

— Бездарнейшие генералы, полная неразбериха во всем! — говорил Камилл.— У солдат нет патронов, во многих полках попросту голодают. А Шалонский лагерь, где запасено на сто тысяч человек провианта, пылает, словно гигантский костер! Он подожжен по приказу императора при отходе от Шалона к Седану. Эта усатая бездарь перед угрозой разгрома наконец-то решила сложить с себя полномочия главнокомандующего, и теперь война ведется по командам императрицы-регентши. Отсюда, из Тюильри, ничего не видя и не понимая, она шлет телеграммы Мак-Магону и Базену: куда идти, как наступать или отступать. А тем временем прусские полчища неудержимой лавиной движутся от Седана на Париж! Через неделю-две они окажутся здесь, перед нашими фортами!

Камилл замолчал, и все молчали, лишь яростнее дымили сигары и трубки. Кто-то наливал в кружку вино, расплескивая его на стол. Камилл, почти неузнаваемый, с похудевшим и потемневшим лицом, присел рядом с Луизой и, не прислушиваясь к спорам в мастерской, заговорил, обращаясь теперь только к ней:

— О, мадемуазель Луиза! Видели бы вы, какими ненавидящими глазами провожали солдаты и крестьяне обоз императора! Пятьдесят или шестьдесят фургонов возят за ним серебряные котлы и столовую посуду! Подушки и перины. Накрахмаленные скатерти и запасы любимого монархом шампанского! Клетки с фазанами и прочей живностью, которую предстоит зажарить к столу его величества! А солдаты чуть не подыхают от голода!

Осторожно прикоснувшись к руке Камилла, Луиза спросила:

— Но если он не главнокомандующий, если он ничем не может помочь там, почему он не возвращается в Париж?

Художник презрительно рассмеялся.

— Вы позабыли об императрице-регентше, Луиза! Когда Бонапарт вознамерился отвести армию Мак-Магона к Парижу, она заявила: «Если Луи вернется в Париж, революция неминуема! Ему не вернуться живым в Тюильри!» Как видите, она далеко не так глупа, эта дама, она, может быть, дальновиднее своего царственного супруга! Это по ее милости его везут сейчас в Пруссию под охраной штыков и сабель!

Камилл казался Луизе полупомешанным, глаза его рассеянно блуждали по лицам окружающих, по картинам и обстановке мастерской.

— А поля боя, Луиза! — продолжал он, помолчав.— Тысячи и тысячи трупов, искаженные страхом лица, скрюченные в предсмертном усилии руки, остановившиеся глаза! И обезумевшие от боли и ужаса раненые, ползающие на четвереньках и на брюхе, словно животные! А рядом снопы пшеницы и белые ромашки, красные от крови...

Сидевший по другую сторону Луизы Курбе неистово грохнул кулаком по столу.

— Ну, хватит, Камилл! И все вы, друзья! Да воспряньте же наконец духом! Разве не пала Империя, разве не кончилась ночь?! А? Так выпьем же за Республику, которая будет завтра провозглашена! За нее, друзья, за многострадальную Марианну, до дна! И да не воцарится никогда более над Францией дерьмо, подобное Баденге!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

„Герои национальной измены“

Еще ни разу Луиза не видела Париж таким! Город словно сошел с ума. Даже в дни самых великих праздников его улицы не были так заполнены людьми. Факелы и костры на площадях озаряли возбужденные лица дрожащим светом. На Гревской площади перед Ратушей, на площади Согласия и у Вандомской колонны, возле Бурбонского дворца на набережной д'Орсей невозможно было пройти.

Одни, отчаянно жестикулируя, призывали к немедленному провозглашению республики, другие запоздало кляли императора и его свору, третьи кричали о прусской угрозе, надвигающейся на Париж. И через каждые пять слов — Седан, Седан, Седан!

На улице Риволи, неподалеку от Лувра, Луизу задержала остервенелая толпа, избивавшая юношу в разорванной рубашке,— он, оказывается, утверждал, что читал правительственное сообщение о разгроме под Седаном.

— Он лжет, мерзкий прусский шпион! — кричал, тыча в юношу тростью, пожилой торговец или рантье.— Он предатель! Пусть покажет, мерзавец, где читал! Мы

потащим прусскую падаль туда и, убедившись в его лжи, повесим на фонаре!

— Там! Я читал там! — показывал несчастный в сторону Тюильри.

Полуживого юношу потащили ко дворцу, и, увлекаемая толпой, Луиза через полчаса оказалась у стены, где, почти неразличимый в наступившей тьме, в стороне от газовых фонарей, белел высоко наклеенный бумажный лист. Кто-то скомкал и поджег газету и, подняв ее, осветил стену.

— Читайте вслух! — кричали из задних рядов.— Читайте же, черт побери!

И тот господин, который только что тыкал тростью в молодого человека, оседлав нос очками в золотой оправе, заикаясь, прочел:

— «Совет Министров Французскому Народу. Родину постигло несчастье. После трехдневной героической борьбы армии маршала Мак-Магона против трехсот тысяч неприятелей сорок тысяч были взяты в плен... Генерал Вимпфен, принявший командование вместо тяжело раненного маршала Мак-Магона, подписал капитуляцию... Император взят в плен во время боя».

Далее господин с тростью читать не мог. Заплакав навзрыд, уронив трость, он обессиленно привалился к стене, плечи его тряслись.

Людской поток повлек Луизу дальше, к высоким, ярко освещенным окнам дворца.

Что происходит сейчас за этими стенами, о чем совещаются оспротевшие служители Баденге? Ведь как бы они ни изощрялись, им не остановить волну народного гнева, вскинувшую Париж на гребень революции! Наконец-то Империя пала, наконец-то Франция вдохнет полной грудью воздух свободы!

Если бы не беспокойство о маме Марианне, Луиза в эту ночь не вернулась бы домой: любая ночь казалась

короткой для такого всенародного праздника! И все же что-то мешало Луизе безоглядно поверить в неоспоримость победы. Может быть, то, что она увидела перед Тюильри и перед Бурбонским дворцом? С примкнутыми штыками, плечом к плечу выстроились здесь гвардейцы и полицейские и наемные убийцы — мобили, набранные из отребьев великой страны.

Домой пришла после полуночи, обнимала и целовала Марианну, и вместе они мечтали о завтрашнем дне, когда довольство и счастье войдут в каждый бедный дом, в каждую нищую лачугу. Ведь так немного нужно для счастья простому человеку: крыша над головой, кусок хлеба, спокойствие за жизнь детей.

Она боялась спать в эту ночь, боялась пропустить самое важное: рождение новой французской Республики на обесчещенных развалинах Империи.

Да и не одна Луиза Мишель так провела ту ночь. Тысячи парижан вообще не ушли с улиц и площадей, ожидая новостей, сообщений правительства, многие кабачки и кафе города не закрывались до утра.

Догорали на площадях костры, чадили брошенные на мостовую смоляные факелы, а окна во дворце Тюильри продолжали светиться,— там все еще не решались выйти к народу Парижа и сказать ему всю правду.

А правду Париж уже знал. Стало точно известно, что под Седаном не сорок тысяч французских солдат, а вдвое больше сдано генералами и императором в плен, что победные флаги Аустерлица брошены под сапоги завоевателей.

Рано утром прибежала Мари: только что заходил вернувшийся из поездки Теофиль, здоровый и невредимый, но с тяжелыми вестями. Воодушевленные победой под Седаном, прусские армии чуть ли не церемониальным маршем движутся на Париж двумя колоннами, через Лаон и Суассон и через Реймс. Стосемидесятитысяч-

ная армия Базена заперта в Меце, словно в мышеловке, осаждены все важнейшие крепости на востоке страны: Страсбург, Туль, Фальсбур, Бельфор.

— Но Париж бошам все равно не взять! — запальчиво повторяла Луиза.— Республика вооружит народ и не пустит врагов сюда... А где же Тео, Мари?

— О-ля-ля! Разве не знаешь его, Луиза?! Помчался к друзьям, кричит, что надо штурмовать Сент-Пелажи, Мазас и Шерш-Миди, освободить политических узников, лишь при их участии может быть создано правительство, способное организовать отпор пруссакам! Побежал к Эжену Шатлену, а я — к тебе! Наше место тоже там, с ними!

День был воскресный, рабочие кварталы только пробуждались, и омнибусы еще не ходили. Но множество людей спешило к центру Парижа, к Ратуше и Бурбонскому дворцу: ведь если Империя пала и Баденге в плену, неминуемо провозглашение Республики.

Собрав по карманам серебряную мелочь, Луиза и Мари подхватили первый встретившийся фиакр и успели к Сент-Пелажи в решающий момент.

Теперь в переулках у тюрьмы и в помине не было зуавов и тюркосов, жестоких и тупых,— в обострившейся обстановке префектура заставляла именно этих чужаков охранять политические тюрьмы.

Огромная толпа, в которой было немало женщин, бушевала у стен Сент-Пелажи. Перепуганные тюремщики заперлись изнутри, видимо надеясь, что их выручат полицейские и мобили. А десятка два бланкистов во главе с Шатленом и Ферре, раскачивая вывороченный из земли чугунный фонарный столб, били им в ворота, окованные полосами железа.

Пока Луиза и Мари старались пробраться сквозь толпу, ворота с железным грохотом рухнули. Оказавшийся за ними бледный дежурный по тюрьме дрожащими ру-

ками протянул Ферре и Шатлену связки ключей от коридоров и камер. Но ключей было множество, и никто из ворвавшихся не знал, какие от каких дверей. Шатлен сунул ключи дежурному:

— Иди! Отпирай камеры! Да не трясись ты, тюремная крыса! Никто не собирается отнимать твою поганую жизнь!

— Дай ему хоть разок по харе, Эжен! — с веселым негодованием кричал кто-то.— Он же наверняка измывался над нашими!

Но сердито оглянувшись, Шатлен с осуждением покачал головой.

— Мы не какая-нибудь сволочная Империя, граждане! Республика никого не убьет без суда! Шагай, живодер! — И он с силой толкнул в плечо дежурного по тюрьме.

А за решетками окон, выходивших на тюремный двор, сотни узников кричали, махали кулаками и красными шарфами и платками.

— Рауль! Рауль! — надрывалась Мари, хотя не было, конечно, никакой надежды, что ее крик может быть кем-то услышан.

Луиза схватила за руку Мари, бежавшую вместе с сотнями других к тюремному входу.

— Постой! Мы же заблудимся в этом каменном лабиринте! Можем пропустить Рауля! Давай подождем здесь.

— Ты права, Луизетта! — Мари остановилась.— Но если бы ты знала, как мне хочется его видеть!

— Сейчас увидишь!

Минут через десять из-за железных дверей стали выходить заключенные, к ним бросались друзья и родные: крики, слезы, объятия. И Луиза сама готова была расплакаться от небывалой радости, от любви к окружающим. Но ее привел в себя воинственный крик Рауля:

— Ау! Абу! Гражданка Луиза! Ну, разве не прав был Риго, предвещая, что скоро все монархи, архиепископы и попы полетят к чертовой бабушке?! Настал наш час!

Рядом с Риго Луиза увидела Антонена Дюбо, журналиста из «Марсельезы», а за Дюбо темпераментно жестикулировал Анри Рошфор, к его плечу прижималась семнадцатилетняя красавица дочь. В дверях во весь рост стоял, щурясь на солнце, Бенуа Малон. Простое, грубоватое лицо и густая борода во всю грудь придавали ему сходство с Курбе.

— В Ратушу! В Ратушу! — раздавались голоса.— Долой императорских министров, долой бездарных генералов! В Бурбонский дворец!

Словно могучий вихрь подхватил людей и понес по улицам Парижа к ненавистному гнезду Империи, к украшенному позолоченными орлами Тюильри. Сметен кордон полиции и муниципальных гвардейцев — и вот уже могучий Трозль, давний соратник Бланки, бросился к парадному входу, над которым полоскался на ветру трехцветный флаг. Но двери оказались заперты, и, недолго думая, Трозль, а за ним и другие кинулись к окнам, подставляя друг другу спины и плечи, вскарабкались на цоколь здания. Зазвенели осколки зеркальных стекол, и через пять минут настежь распахнулись все двери.

Протягивая руки, навстречу восставшим спешил сам председатель Законодательного корпуса Эжен Шнейдер. Но Шатлен, проходя мимо, как бы ненароком сбил с главы правительства украшенную плюмажем шляпу, и ошеломленный деятель, спасаясь, скрылся в одной из боковых галерей.

Вместе с Теофилем и Раулем Луиза и Мари прошли по пышным залам, украшенным картинами великих мастеров, уставленным инкрустированной мебелью,— здесь еще вчера заседали министры, продававшие и преда-

вавшие Францию. Большинство из них ночью и рано утром сбежало в Версаль. Кто-то видел, как императрица Евгения в сопровождении сестры генерала Бурбаки, выйдя из Лувра через решетку колоннады Перро, усаживалась в поданный ей фиакр.

— И кем бы, вы думали, он подан? — громогласно спрашивал Гастон Дакоста, размахивая шляпой.— Фиакр подан по приказу австрийского посла во Франции. Да, да! Разве этого недостаточно, чтобы убедиться, что все враги Парижа объединились в борьбе против его свободы!

— Да, увы! — сказал Ферре Луизе.— Парижу, безусловно, предстоит воевать на два фронта: против пруссаков и против своих предателей, которые скорее помогут захватчикам утопить Париж в крови, нежели позволят утвердиться Республике!

В «Зале потерянных шагов», на парадном столе, застланном небесно-голубой скатертью, блестевшей золотыми пчелами, расставив ноги, ораторствовал Леон Гамбетта:

— Император низложен! Мы стоим у порога Республики!

Всматриваясь в торжествующее лицо Гамбетты, Луиза с недоумением спрашивала себя: да как же этот человек всего неделю назад со звериной яростью требовал убийства без суда Эда и Бридо?

Луиза тронула Ферре за локоть:

— Теофиль! А Эд, Бридо и четверо других смертников по делу Ла-Виллет тоже освобождены?

Он отрицательно покачал головой:

— Они в тюрьме Шерш-Миди. Но туда тоже отправились наши. Скоро все будут на воле!

После Гамбетты выступал седовласый Жюль Фавр. Пророчески воздевая руки, он призывал граждан к спокойствию, предлагал немедленно отправиться в Ратушу,

ибо именно там по традиции всех революций Франции должна быть провозглашена Республика!

На ступенях дворца Мари и Луиза остановились. Дюжие парни, вскарабкавшись по железным прутьям решетки, отдирали приклепанных к ним позолоченных чугунных орлов. Чудовищные, раскрыленные птицы с растопыренными когтистыми лапами под дружные крики «Эй, берегись!» с грохотом падали на отшлифованные миллионами ног каменные плиты. А молодой паренек, почти мальчишка, чудом взобравшись к знамени над входом, держась одной рукой за лепной выступ, другой отрывал от трехцветного флага белую и синюю полосы, чтобы на древке осталась только красная — флаг Республики.

Да, то был незабываемый день, словно резцом вырезанный в памяти Луизы. Позже, вспоминая о нем, она с трудом могла различить, чему сама была свидетельницей, а что запечатлелось в сознании с чужих слов.

Улицы и площади Парижа в людском половодье, разбитые вывески магазинов с гордым напоминанием «Поставщики двора Его Величества», разбитые эмалевые дощечки с названиями улиц, когда-то переименованных префектом Османом в честь императора и его прихлебателей. С моста Согласия четверо дюжих парней, раскачав, швырнули в Сену стащенный с пьедестала бронзовый бюст Баденге. У Ратуши кто-то рассказывал, как губернатор Парижа генерал Трошю, в накинутом поверх мундира плаще, в низко надвинутой на глаза шляпе, удирал в Версаль. Его остановили у Нового моста, заметив под плащом звезды и ордена. Кто-то схватил под уздцы его коня и потребовал:

— А ну кричи: «Да здравствует Социальная республика!», генеральская сволочь!

И он кричал, кричал истово, и был рад, что остановившие его рабочие не знали его в лицо, не знали, что

он — генерал Трошю, по чьему приказу в забастовщиков Парижа выпущены десятки тысяч пуль. Если бы узнали, его швырнули бы в Сену вслед за бюстом Баденге.

Генерала отпустили, но вскоре он столкнулся с Жюлем Фавром,— по словам того, в Ратуше должны собраться все, кто хочет спасти страну от «дурных страстей». Эта встреча и понудила Трошю повернуть коня к Гревской площади, где над башенкой Ратуши развевался красный шарф зуава, привязанный Эженом Шатленом к обыкновенной трости.

Многое из этого Луиза узнала позже, скитаясь по тюрьмам и плывя на «Виргинии», а тогда, полуслепая от счастливых слез, она чувствовала себя на седьмом небе, пела вместе со всеми «Марсельезу», кричала что-то, славя Республику.

На Гревской площади на ступенях старинной Ратуши Жюль Фавр обнимал доставленных из Сент-Пелажи Рошфора и Риго, обнимал Луизу и Теофиля, называя их «своими дорогими детьми», благословлял на служение народу. О, как она тогда верила ему, верила многим другим, клявшимся служить нации и Парижу.

Через полчаса, после совещания в тронном зале Ратуши, Жюль Фавр, выйдя на крыльцо, торжественно воздев руки, потребовал от многотысячной толпы внимания. Еще по-летнему теплый сентябрьский ветер развевал его седые апостольские кудри.

— Тише! Ти-ше!..

И когда площадь стихла, Фавр заговорил:

— Граждане Парижа! Дорогие граждане! Мы, избранники Парижа в Законодательный корпус Франции, в сей великий для родины час готовы принять на себя тяжесть ответственности за судьбу нации. У нас нет сейчас времени на проведение всеобщих выборов, прусские полчища движутся по стране, заливая ее кровью, оскверняя наши святыни. В час грозной опасности мы, депу-

таты Парижа, объявляем о создании Правительства национальной обороны, и каждый из нас клянется отдать все силы, всю жизнь делу защиты отечества!.. Позвольте мне огласить список членов нового правительства!

Под бурные крики народа Жюль Фавр провозглашал:

— Луи Жюль Трошю... Леон Гамбетта... Жюль Симон...

Когда он произнес последнее в списке, двенадцатое имя, сотни голосов принялись скандировать имена Делеклюза, Бланки, Флуранса...

Торжественно сложив на груди руки, Жюль Фавр минут пять стоял молча, потом вскинул их. И когда шум стих, сказал с проникновенной сердечностью:

— Дорогие братья! На предстоящих всеобщих выборах вы вольны выдвинуть любые имена. Но сейчас, в минуту нависшей над страной угрозы, разрешите напомнить, что названные мной члены правительства уже облечены вашим доверием как депутаты Парижа.

— Тогда введите в правительство Рошфора. Он — депутат! Он был бы избран, если бы его не упрятали в тюрьму.

— Рошфора! Рошфора!

И Жюль Фавр склонил седую голову, выражая согласие. Затем отыскал взглядом Рошфора, подозвал и, обняв за плечи, опять обратился к народу:

— Итак, вашей волею, граждане Парижа, Правительство национальной обороны создано и приступает к решению неотложных задач сопротивления врагу. И заверяю вас, дорогие братья, что ни один прусский сапог не ступит на святые камни Парижа!

Громоподобным криком тысяч и тысяч голосов покрыла площадь последние слова! Луиза кричала вместе со всеми, ее романтическая душа как бы парила на крыльях. Все представлялось безоблачным и прекрасным.

Но вечером, когда они с Мари забежали перекусить

в «Спящего кота», оказавшийся там Теофиль остудил их патриотический пыл. Он одиноко сидел за угловым столиком и что-то писал, по обыкновению отгородившись от любопытных взоров цветочным горшком. Обрадовавшись приходу сестры и Луизы, отодвинул в сторону исписанные листки и, глотая полуостывший кофе, сообщил:

— Вернулся из изгнания Бланки, наш Старик! Будем издавать газету «Отечество в опасности», вот пишу для первого номера. Старик тоже считает, что перед лицом внешнего врага все должны объединиться и всемерно помогать правительству.

— Чем же вы недовольны, Теофиль? — спросила Луиза, почувствовав в его тоне сомнение.— Уж если «вечный узник» думает так...

Ферре не дал ей договорить:

— Э, не в Старике дело, мадемуазель Луиза! В нем я ни на секунду не могу усомниться! — Он сердито глянул на Мари.— Да не вертись ты, сестра! Сейчас твой ненаглядный явится.— И снова повернулся к Луизе: — Только что я говорил с Рошфором. Ему, как и мне и многим другим, весьма не нравится, что во главе правительства оказался генерал Трошю, который некогда клялся умереть на ступенях Тюильри, защищая династию! Может ли Республика вверять такому субъекту оборону страны? Конечно, кто-то из военных должен входить в состав правительства, но не такие же...

Ферре на секунду задумался.

— И еще... Сегодня получена телеграмма от Джузеппе Гарибальди. Он предлагает Франции свою шпагу и шпаги двух своих сыновей! Весь мир знает и чтит его как честнейшего человека и отважнейшего полководца.

— Но ведь это прекрасно! — обрадовалась Луиза.— Именно такие, как Гарибальди, нужны сейчас Франции!

Ферре иронически улыбнулся:

— Согласен, Луиза! Но послушайте, что произошло!

Когда Рошфор огласил телеграмму Гарибальди, Трошю поднялся на дыбы. «Мы не нуждаемся в иностранцах для обороны Франции!» А когда Рошфор продолжал настаивать, Трошю заявил: «Если доверие вам внушает чужестранец, а не я, француз, мне остается вручить вам мою отставку!..» И представьте, большинство поддержало его. Каково? — Ферре опять помолчал.— Или, скажем, такой факт. Ставший членом Правительства национальной обороны Эмануэль Араго ни с того ни с сего вручает красно-синий шарф своему дядюшке: «Ты мэр Парижа, Этьен!» А тот известный пройдоха назначает мэрами во всех двадцати округах своих. Правда, это ему не везде удается. Но разве сие не наводит на грустные размышления? А? Нет, пройдет немало времени, пока Республика наведет порядок и освободится от проходимцев.

Луиза смотрела с недоумением.

— Но ведь мэр — должность выборная! Нужно провести муниципальные выборы!

— Конечно! Но прежние мэры смещены, а захватившие власть депутаты приложат все силы, чтобы отдалить и всеобщие и муниципальные выборы. Им не захочется выпускать власть, пока не набьют карманы! Ой, Луиза, Луиза, до чего же вы еще наивны — большой и добрый ребенок! Вы всех судите по себе.

— А разве и вы не такой, Тео?

Он глянул на нее с пристальным вниманием.

— О, вы не знаете меня, Луиза! Если я когда-нибудь буду поставлен Республикой к власти, я буду беспощаден ко всякой мерзости и подлости, какой бы личиной они ни прикрывались.

— А я убеждена, Тео: вы-то и станете одним из вождей Республики! — твердо сказала Луиза.— В вас есть все, что необходимо: отвага, честность, ум, принципиальность!

— Вы слишком добры ко мне, мадемуазель! — засмеялся Ферре.— Но надеюсь, вы не думаете, что я совершенно лишен недостатков?

— Ой, нет, Тео. Я знаю один.

— Какой же, если не секрет?

Луиза ответила не сразу.

— Вы, Тео, не замечаете тех, кто вас любит...

Это прозвучало как признание, и Луиза почувствовала, что краснеет. Но на ее счастье, в эту минуту Мари вскочила с радостным криком:

— О-ля-ля, Рауль! Мы здесь! Сюда! Сюда!

Риго тоже явился с ворохом новостей. Не задерживаемые никем пруссаки оккупируют департамент за департаментом, и объявленное в начале войны «осадное положение» перестанет быть для Парижа только символической формулой, завоеватели жестоко карают население там, где кто-то пытается оказать им сопротивление. Один баварский офицер в опубликованном газетами письме домой пишет, что его отряд сжег дотла пять деревень, а английские журналисты сообщают: «Можно без преувеличения сказать, что всюду, где в центре Франции проходят летучие немецкие отряды, их путь слишком часто отмечен огнем и кровью». Осажденные в Меце и Страсбурге армии без помощи извне вряд ли смогут прорвать кольцо блокады.

— Вот таковы последние известия,— заключил Риго.— И практически между Парижем и прусскими армиями нет заслонов!

— Значит, нужно вооружать парижан! — вскричала Луиза.— Дать ружья рабочим, студентам, женщинам! Собирать деньги и лить пушки!

— Будь моя власть,— заметил Риго,— я немедленно перелил бы на пушки все парижские колокола! И это стало бы единственной пользой, которую церковь может принести нации!

Складывая исписанные листочки, Ферре хмуро заметил:

— Боюсь, друзья, вы не учитываете всей сложности обстановки. Нынешние правители вряд ли решатся рекрутировать в Национальную гвардию рабочих и студентов.

— Следовательно, необходимо это изменить! В Париже около двух миллионов жителей, он может выставить армию не менее пятисот тысяч человек,— с прежней горячностью продолжала Луиза.— Я первая отдам на вооружение Парижа все, что у меня есть, до последнего сантима!

Попыхивая сигарой, Теофиль саркастически усмехнулся:

— Что же, пушечный король Шнейдер не откажется от ваших сантимов, Луиза. Да и прочие торговцы оружием не прочь заработать на обороне!

— Тогда необходимо отнять у них заводы! — Лицо Луизы покрылось гневными пятнами.

— А кто, по-вашему, это сделает? — по-прежнему усмехался Ферре.

— Правительство!

— Вряд ли вы дождетесь такого от нынешних правителей, мадемуазель! А теперь прошу извинить, я вынужден покинуть вас. Встреча со Стариком.

— Я с тобой, дружище! — поднялся Рауль.— Но я не разделяю твоего пессимизма! Национальная гвардия — единственная сила, которая способна защитить Париж. И как бы иные деятели ни боялись вооруженного народа, им придется его вооружить. Не зря же они именуют себя Правительством национальной обороны!

В ответ Ферре пожал плечами

— Поживем — увидим!.. А наши дамы?

— О, у нас тоже встреча. С Андре Лео.— Пожимая руку Ферре, Луиза старалась понять, как отнесся он к

ее полупризнанию, но он держался спокойно и непринужденно, как всегда.

— Да! — спохватился, улыбаясь, Риго.— Должен сообщить вам, что, кажется, сбудутся предсказания Бланки относительно некоторых моих талантов. Видимо, мне придется работать в префектуре вместе с Антоненом Дюбо. И я не советовал бы господину Дельво теперь встречаться со мной... Хотя он, вероятно, вслед за своими хозяевами сбежал в Версаль... Ну, до встречи! Мари, абу!

Андре Лео появилась сразу же после ухода Рауля и Ферре. Она тоже была взволнована и рассказала много нового. Дела с изданием женской газеты, безусловно, пойдут на лад, завтра же она займется ими вплотную. Правда, ее зовут сотрудничать в «Социаль».

— А пока, дорогие, у меня есть и еще новости... Во-первых, о вечернем заседании правительства. Обсуждался вопрос о защите Парижа в случае осады пруссаками. И знаете, что заявил наш главный стратег генерал Трошю? Вот его подлинные слова: «Попытка Парижа выдержать осаду была бы безумием. Несомненно, геройским безумием, но все-таки не больше чем безумием!» И это заявляет Трошю, который оттолкнул протянутую нам руку Гарибальди! Гнусное, подлое заявление, не правда ли?!

Андре села, нервно постучала ложечкой о край чашки. Гарсон принес ей кофе и бриоши.

— Целый день ни крошки во рту! — устало призналась она.— И, залпом выпив кофе, решительно отодвинула чашку, порылась в объемистом ридикюле.

— А вот что я записала на площади Кордери, где два часа назад закончилось грандиозное собрание. Парижане шлют воззвание на правый берег Рейна. Слушайте! «Ты сражаешься только с императором, а не с французским народом — так сказало и много раз повто-

ряло тебе твое правительство. Человек, который развязал эту братоубийственную войну, но не сумел умереть и которого ты держишь теперь в руках, для нас больше не существует. Республиканская Франция призывает тебя во имя справедливости отвести войска, иначе нам придется воевать до последнего человека и пролить потоки твоей и нашей крови... Уходи обратно за Рейн!»

Андре читала все громче и не замечала наступившей в кафе тишины. Последние ее слова заглушил грохот аплодисментов. Будто очнувшись, она удивленно оглядела зал, еще не понимая, что аплодируют ей. А когда поняла, подняла руку с листком бумаги.

— Так парижский народ взывает к народу Германии! «Уходи обратно за Рейн» и дальше: «Пусть с берегов пограничной реки Германия и Франция протянут друг другу руки. Забудем военные преступления, которые деспоты заставили нас совершить друг против друга. Провозгласим: «Свобода, Равенство и Братство народов!» Заключив союз, мы заложим фундамент Соединенных Штатов Европы. Да здравствует всемирная республика!» — Андре Лео помолчала, пережидая аплодисменты.— Такова воля народа! А час назад на заседании правительства генерал Трошю заявил, что попытка оборонять Париж безумна!

— Позор! Позор! — сотнями голосов отозвался зал. Многие вскочили с мест,— в этот день, первый день Республики, все были предельно возбуждены. Однако какой-то солидный господин, размахивая цилиндром, попробовал успокоить разбушевавшихся:

— Но, господа, позвольте! Единственная железная дорога, захваченная бошами,— Северная, а на ней нашими саперами взорваны все тоннели на подходе к Ла-Ферте-су-Жуар. Пока немцы подойдут к Парижу, правительство сумеет организовать оборону! И не забывайте, у нас еще есть тринадцатый корпус генерала Винуа...

— Который так и не смог вовремя добраться до Седана! — насмешливо перебил молодой человек в студенческой каскетке.— Помолчали бы вы! У Винуа всего сорок тысяч штыков, а в Седане пленено вдвое больше, в мышеловке Меца захлопнуто около двухсот тысяч. Что может сделать ваш Винуа?!

— А Париж?! — горячо возразила Луиза.— Разве вооруженный Париж не в состоянии защищаться?! Национальным гвардейцам уже раздают шаспо и карабины!

— А-а! — отмахнулся студент.— Шаспо выдали, а патронов не дают. Не так?

Из-за соседнего столика на Луизу внимательно глянул лейтенант линейных войск с рукой на черной перевязи. В выражении его лица Луизе почудилось что-то подмеченное ею и в лице Камилла. Он хмуро сказал:

— Тот упитанный мосье говорит о взорванных тоннелях! Смешно! Немецкие уланы и гвардейцы скачут на сытых, резвых конях по многу миль в день, они с высоты своих седел плюют на железную дорогу! Помяните слово офицера, не позднее чем через две недели вы увидите немецкие железные каски!

— Прусская сволочь! — истошно завопил господин с цилиндром.— Шпион! В префектуру его!

Кое-кто подхватил этот крик, но раненый офицер оставался спокоен, лишь печально и снисходительно улыбался. Поднявшись, он сказал, не повышая голоса:

— Если бы вам, месье, довелось увидеть то, что видел я под Виссамбуром и Вёртом, вы бы не посмели кричать на меня! — Он посмотрел на крикунов с презрительным сожалением и, швырнув на столик серебряную монету, пошел к выходу...

И Луизе снова как бы пахнуло в лицо темным холодом, который она впервые ощутила, разговаривая с Камиллом. Лео положила ей на руку свою узенькую, но сильную ладонь.

— Спокойно, Луиза! Нельзя так бурно реагировать на каждый пустяк, на каждое слово. Париж не даст себя в обиду!

— А вы, видно, Андре, позабыли апрель восемьсот четырнадцатого, когда русские казаки и те же пруссаки гарцевали на улицах Парижа?!

— Да, но тогда у нас была не Республика, а Империя Наполеона Первого. С тех пор минуло пятьдесят шесть лет, которые многому научили Францию!

— И поэтому-то она двадцать лет лизала лакированные ботфорты Баденге? — с раздражением отмахнулась Луиза. Но тут же заставила себя рассмеяться.— И что я, действительно, запаниковала? Все будет отлично!

А ночью, лежа в постели, она с горечью думала: «А не потому ли ты раздражена, что Теофиль или не расслышал, или не захотел расслышать твоего полупризнания? Нет, Луиза, не надо об этом, не надо распускаться, ведь ты же чувствовала, что именно так будет. У тебя уйма неотложных дел, ты всю жизнь мечтала о провозглашении Республики. Так отдай же ей все, что у тебя есть, включая саму жизнь!»

Позднее Луиза не раз говорила себе: как ни велика бывает радость, ниспосланная тебе судьбой, к радости неизбежно примешивается горечь. У каждой медали обязательно есть оборотная сторона!

Свергнута тирания, Баденге холит стрелки своих знаменитых усов в Чихлехерсте под Лондоном, куда сбежала к нему и его мадам с «царственным отпрыском». Вернулись из изгнания Флуранс и Бланки, вернулись Варлен и кумир Франции Виктор Гюго. В субботу, через пять дней после провозглашения Республики, ей попала в руки афиша, где вернувшийся на родину пэр и академик Франции обращался к наступавшим на Париж бошам:

«Ныне я говорю: немцы, если вы будете упорствовать, что ж, вас предупредили, действуйте, продвигайтесь, штурмуйте стены Парижа. Они устоят вопреки всем вашим бомбам и митральезам. А я, старик, я тоже буду там, хоть и без оружия. Мне пристало быть с народами, которые гибнут, мне жалки те, что с королями, которые убивают!»

Луиза чрезвычайно жалела, что не знала о дне прибытия Гюго, не смогла встретить! Но она навестит мэтра и будет счастлива пожать его руку.

И еще один праздничный день с фанфарами, громом оркестров и барабанов, с тысячами знамен, с охапками осенних астр, которые восторженные парижане бросали под копыта белого коня генерала Трошю на Больших бульварах, на площади Согласия и Елисейских полях, где он принимал парад Национальной гвардии. О, их набралось уже четверть миллиона, верных сынов Парижа, готовых отдать жизнь защите родного города!

Тогда они казались Луизе непобедимыми, и именно в тот день она вступила в Национальную гвардию. Школа и девочки могут подождать, пока она будет бороться и за их, и за свою свободу. Девочки наверстают упущенное, когда над Парижем и Францией перестанет парить не только бонапартовский, но и германский орел — хищные птицы, терзающие народы так же, как некогда орел терзал прикованного к скале Прометея.

А вот и оборотная сторона медали: восемнадцатого сентября, через две недели после провозглашения Республики, под Парижем появились вражеские разъезды: раненый офицер в кафе «Спящий кот» оказался прав. О немцах Луизе и Мари сказал Теофиль: по хлопотливой обязанности журналиста он знал все.

— Вчера в Шатийоне наткнулись на немецкие разъезды,— нервно говорил он.— Да, да! Это были уланы, они скакали к Версалю. А следом за разъездами шли

эскадроны...— Теофиль с силой ткнул в пепельницу недокуренную сигару.— И теперь совершенно ясно: пруссаки берут Париж в клещи. Я только что из редакции. Рошфор знает подробности. Армия принца Саксонского обходит Париж с севера, а армия наследного принца Пруссии охватывает город с юга, через Шатийон. Видимо, соединение намечено в Версале — и тогда Париж окажется в кольце! Вот так, миледи!

Совершенно растерянная, Луиза спросила:

— Ну а наши правители? Они же называют себя Правительством национальной обороны!

— А-а! — Теофиль махнул рукой.— В этой своре, может быть, и есть один более или менее надежный человек — Рошфор. Но, кажется, он уйдет в отставку!

— Как?! — одновременно воскликнули Луиза и Мари.— Кто же там останется из наших!

Ферре неопределенно пожал плечами:

— Видимо, никого, мадемуазель! Все «три Жюля» оказались хамелеонами. Со слов Рошфора я знаю, что Эрнест Пикар сказал, что сопротивляться нужно только из чести, но всякие надежды на победу тщетны! Элегантный Адольф Кремье заявил, что пруссаки ворвутся в Париж играючи, а шеф генерального штаба Трошю повторил, что защищаться — безумие! Вот так, дорогие!

— Но ведь это предательство! — закричала Луиза.— Они обещали защищать Париж, а не предавать!

Ферре через силу усмехнулся:

— У нас с вами, Луиза, один Париж, у них — другой. Чей Париж они собираются защищать?

Луиза сидела ошеломленная.

— Значит, что же? Республики нет?

Ферре снова пожал плечами:

— Почему же нет? Есть! Есть буржуазная республика. Бур-жу-аз-ная! Примерно такая же, какая пришла на смену Луи Филиппу в сорок восьмом!

Луиза смотрела со страхом: за что же пролиты реки крови?

— Но, Тео! — почти закричала она.

— Что — Тео? — снисходительно и ласково, словно ребенку, улыбнулся он. — Разве вы не предвидели всей сложности предстоящей борьбы? Ах, Луиза, нас ждет немало разочарований. И особенно вас! Вы слишком поэт, Луиза, чтобы увидеть пакостную подкладку жизни! Вы видите людей лучше, чем они есть, многое идеализируете. Сознайтесь, вам симпатичен Жюль Фавр?

— Да. А что?

— А то, что по поручению Правительства национальной обороны он отправляется в Ферриер для свидания с Бисмарком! Фавру поручено просить о перемирии! Это что — оборона отечества?!

Луиза осторожно прикоснулась к руке Ферре:

— Что же дальше, Тео?

— А ничего! — неожиданно улыбнулся он. — Просто я предчувствую беспощадную схватку. Совсем недавно Бланки обещал в газете всемерную поддержку правительству. А вот посмотрите, что теперь пишет наш Старик.

Теофиль достал из кармана номер «Отечество в опасности», развернул и прочитал, подчеркивая слова:

— «Париж настолько же неприступен, насколько мы были непобедимы! Париж, обманутый хвастливой печатью, не знает, как велика опасность! Париж слишком доверчив...» — Он сложил газету. — И что же? Пруссаки под Парижем, пятнадцать его фортов под обстрелом врага, а правительство не в силах или не хочет сопротивляться. Чего же ждет и долго ли будет ждать Париж?! Вы можете ответить на мой вопрос?

После этого разговора Луиза провела трудную, почти бессонную ночь. В ее полудремоту врывались кошмарные видения, где она сражалась с ожившими позолоченными орлами, когтистые, крыластые и кривоклювые чудища

налетали на нее со зловещим свистом, а она была одна, хотя чувствовала: где-то рядом, неподалеку — Теофиль. Спасаясь, она бежала по обрызганному кровью ромашковому полю, страдая оттого, что не может найти Тео...

Утром, наскоро позавтракав, Луиза побежала к Андре Лео.

— Андре! — закричала она прямо с порога.— Мы не имеем права сидеть сложа руки!

— Что же ты предлагаешь?

— Организовать женские батальоны для защиты Страсбурга! Потребовать у правительства перебросить нас через прусскую осаду на воздушных шарах!

— Но как организовать такие батальоны? — спросила Лео.

— Я ночью придумала! У тебя найдется чистая простыня?

— Конечно!

— Давай! И спустись к консьержке. У нее наверняка есть банка какой-нибудь краски. Хорошо бы красной. Мы напишем на нашем знамени: *«Парижанки! Защитим Страсбург!»* И пойдем с ним на площадь Согласия, к статуе Страсбурга! Убеждена, что тысячи женщин пойдут за нами!

Подумав, Лео с сомнением покачала головой.

— О нет, Луиза! Нам двоим это вряд ли удастся. Необходимо, чтобы нашему примеру последовали другие: Натали Лемель, Аня Жаклар, Мари Ферре, Эжени Реклю...

— Ты, как всегда, права, Андре,— сразу же согласилась Луиза.— Мы пройдем с нашими знаменами по Латинскому кварталу, по всем варленовским «котлам», всюду, где собираются женщины...

Так во второй половине того дня на площади Согласия они собрали тысячи женщин, готовых идти на защиту героического Страсбурга, осажденного еще в середине

августа. До сих пор, несмотря на жесточайшую бомбардировку, полусожженный и разрушенный город не опускал перед врагом реющего на башенных флагштоках французского флага.

У подножия беломраморной статуи, символизирующей Страсбург, Андре Лео положила стопку чистых листов бумаги. Первыми на первом листе стояли подписи Андре Лео и Луизы Мишель. Наивные, они полагали, что, если созданный ими добровольный женский батальон не прорвется сквозь кольцо прусской блокады, правительство перебросит их через линию фронта на воздушных шарах, которые изготовляются на Орлеанском вокзале под наблюдением астронавта Дюрофа. Утверждали, что именно таким путем выберутся из Парижа члены правительства для формирования новых армий — Луарской, Северной и других.

Очень скоро Луиза поняла, сколь романтически иллюзорной была их затея, но в те часы они пылали энтузиазмом и верой, еще не зная, что и «три Жюля», и генералы Трошю и Винуа заняты совсем другим: любой ценой погасить революционное пламя, охватившее нищие и обездоленные кварталы Парижа...

День был солнечный, яркий.

Когда к полудню десятки бумажных листов покрылись тысячами подписей, огромная толпа женщин с развевающимися самодельными флагами двинулась по улице Риволи к Ратуше. Пожалуй, еще никогда Луиза не испытывала такого ликования,— ее умиляла ветхая красная кофточка, привязанная к зонтику взамен флага, сияющие лица окружавших ее спутниц. Все полнилось воодушевлением, страстью, верой, которые, как казалось Луизе, невозможно ни задушить, ни убить.

На Гревской площади, провожаемые пением «Марсельезы», Андре и Луиза поднялись по каменным ступеням Ратуши.

Безликий и равнодушный чиновник в казенном мундире, на котором орластые имперские пуговицы были срезаны и заменены случайными, выслушав, жестом пригласил их следовать за собой и провел в большой зал, где стояло около десятка скамеек. Так же молча показал на одну из скамей и удалился. Изумленные Андре и Луиза услышали, как железно звякнул поворачиваемый в замке ключ.

Переглянувшись, бросились к запертой двери и забарабанили кулаками.

— Бесполезно, мадам! — устало сказал позади насмешливый голос.— Я заперт здесь со вчерашнего вечера и не могу добиться, чтобы меня выслушали.

— Так это что же? Арест? — запальчиво крикнула Луиза.

— Понимайте как угодно, мадам!

— Но мы пришли сюда от имени тысяч парижанок, мы требуем!

— Ах, оставьте! — чуть раздраженно прервал Луизу молодой человек в студенческой тужурке.— Уважаемые члены правительства непрерывно заседают, им некогда заниматься пустяками.

Луиза, а за ней и Андре Лео подошли к студенту, присели рядом с ним.

— А вы-то зачем здесь? — спросила Лео.— Кто вы?!

— О, я просто слушатель Сорбонны, фамилия моя, если вам угодно знать, Сепар. Мы вчера устроили обструкцию «Фигаро», где печатают подлую чушь! Меня задержали национальные гвардейцы и приволокли сюда.

— Национальные гвардейцы? — возмущенно переспросила Луиза.

— Да. Разве вам неизвестно, мадам...

— Мадемуазель...

— Прошу прощения, мадемуазель! Разве вам неизвестно, что 106-й батальон, состоящий из буржуазных

молодчиков Сен-Жермена,— надежнейшая опора генерала Трошю? И уверяю вас, почти все батальоны Национальной гвардии, навербованные в центре Парижа, ничем не отличаются от бретонских мобилей, зуавов и тюркосов. Я не разумею лишь одного, почему самозваное правительство набирается нахальства именовать себя республиканским?!

Их продержали взаперти не менее трех часов. К несчастью, окна зала выходили на внутренний дворик, и Андре с Луизой не могли сообщить пославшим их парижанкам, что произошло.

Луиза была не в состоянии усидеть на месте, вскакивала, принималась колотить кулаками в дверь и со все возрастающей ненавистью прислушивалась к царившей в здании тишине. И когда наконец дверь распахнулась и на пороге, сопровождаемый армейскими офицерами, появился плотный брюнет в мундире полковника, Луиза набросилась на него:

— Какое вы имеете право держать нас взаперти, милостивый государь?! Мы явились от имени тысяч парижанок, вот их подписи. Вы видите?! — Она потрясла перед лицом полковника исписанными листками.— Мы требуем вооружить женские батальоны и отправить на помощь осажденному Страсбургу, если ваша хваленая армия бессильна его освободить!

Поморщившись, полковник отступил от Луизы, бесцветные глаза оставались равнодушными.

— Какое вам, сударыня, дело до падения Страсбурга, если вас там нет? — спросил он.

— А разве Страсбург пал?! — изумленно крикнула Лео.— Вы сказали...

— Ничего подобного я не говорил! — сердито оборвал полковник.— И вообще, не ваше дело, мадам, соваться, куда не положено! Нас десятки лет учили военному искусству, и мы не позволим всяким...

— Мы вам не всякие! — перебила Луиза.— Нас послал Париж! Мы требуем кого-нибудь из членов Правительства национальной обороны! А вы — грубиян, вы — хам, мосье! Вас, видимо, научили воевать так же, как только что воевал под Седаном маршал Мак-Магон, как сражается в Меце Базен? Вы посмели оттолкнуть руку Джузеппе Гарибальди! Вы позволили пруссакам осадить Париж и ничего не делаете...

— Если вы, мадам, будете продолжать в том же духе, я велю отвести вас в префектуру как агента пруссаков! — пригрозил полковник, злобно щурясь.— Вы — шпионка! А что касается Гарибальди, то позвольте сообщить вам, что он прибывает во Францию и будет командовать добровольческим корпусом, или так называемой Вогезской армией.

Лицо полковника пятнами покраснело, офицеры за его спиной стояли навытяжку, готовые исполнять любые приказания. Луиза повернулась к Лео:

— Пойдем, Андре! Нам в этой «республиканской» казарме делать нечего!

Когда вышли на залитые солнцем ступени Ратуши, мобили и национальные гвардейцы с номером «106» на кепи выпроваживали с Гревской площади женщин, которые пришли сюда с Луизой и Андре.

— О боже мой! — негромко сказала Лео, останавливаясь на ступеньках Ратуши.— Неужели Страсбург пал? Не могу поверить!

Но это оказалось правдой. Именно в этот день обескровленный, горящий и голодный, набитый тысячами раненых Страсбург, не дождавшись помощи извне, сложил оружие, сдался на «милость» победителя...

Итак, считавшиеся неприступными восточные крепости Франции пали одна за другой: Седан, Туль, Страсбург. В кольцевой осаде — Бельфор, Не-Бризак, Мец. Блокада намертво стиснула горло Парижа, и лишь почтовые го-

луби да воздушные шары Дюрофа не дают порваться ниточке, связывающей столицу Франции с остальным миром.

Оскорбленные происшедшим в Ратуше, Андре и Луиза отправились в мастерскую Курбе: там всегда полно журналистов, а ведь необходимо, чтобы Париж узнал, как подло растоптало правительство патриотический порыв парижанок.

Да, «салон» Курбе, как и обычно, шумел; после четвертого сентября мастерская вообще превратилась в клуб.

— Сукины дети! — решительно изрек Курбе, выслушав рассказ Луизы.— Но я, право, не удивился бы, если бы из Ратуши вас отправили прямо в Мазас или Шерш-Миди! Ваше место там, сударыни! Полагаю, что наши друзья Марото, Верморель и Феликс Пиа позаботятся, чтобы через их газеты парижане узнали об очередной гнусности правительственного дерьма!

Снова заговорили все разом, размахивая трубками и сигарами. В эту минуту в мастерской и появились Рауль Риго и раскрасневшаяся Мари.

— Вот, друзья, что необходимо народу! — крикнул Риго и швырнул на стол пачку листков.— Сейчас это расклеивается по всему Парижу!

Множество рук потянулось к воззванию, где крупно выделялось: «Всеобщее ополчение! Ускорение вооружения!»

Под революционным призывом Луиза увидела подписи Флуранса и Варлена, Тридона и Валлеса, Ферре и Риго, Жаклара и Лефрансе. Но Курбе, прочитав прокламацию, недовольно покрутил головой.

— В сем документе есть крупнейший недостаток! — заявил он Риго.— Под ним нет подписи Гюстава Курбе! Необходимо исправить вопиющую оплошность!

Схватив из вазы кисть, Курбе ткнул ее в красную краску на палитре и расписался внизу листа.

— Так выглядит куда убедительнее! — провозгласил он, отшвыривая кисть.— Вы хлопочете о вооружении, сударь, а известно ли вам, что Флуранс, потребовавший для своих батальонов десять тысяч шаспо, бесполезно ржавеющих на военных складах, получил отказ? Ведомо?!

— Ведомо, мэтр! — поклонился Риго.— Мне ведомо еще и то, что армии Австрии и Англии вооружены винтовками Лоренца и Энфилда! Одна старушка Франция пользуется гладкоствольными ружьями шаспо! И с этим музейным оружием мы орали: «На Берлин! На Берлин!» — Риго налил себе пива, глотнул.— «Провидение всегда на стороне больших батальонов!» — любил говорить Наполеон. Но, как видите, и великие полководцы иногда ошибаются! Сейчас у Франции намного больше батальонов, чем у бошей, а она терпит поражение за поражением.

— Это не Франция виновата! — с отчаянием возразила Луиза.— Почему правительство не решается на бой! Париж готов!

Шум и споры у стола продолжались, а Луиза и Лео уединились в уголке мастерской.

— Мы сами обратимся к женщинам, Луиза! — предложила Лео.— Напишем текст и отдадим журналистам. Пусть парижанки прочитают в утренних газетах.

Через четверть часа обращение было готово.

— «Париж бомбардируют! Париж осаждают! Гражданки! Где наши сыновья, наши братья, наши мужья? Многие из них убиты или в плену! Вы слышите громы пушек и звук трубы, зовущей в бой? Враг у фортов Парижа. К оружию! Отечество в опасности!.. Будем готовы защищать наших братьев и отомстить за них! У ворот ли Парижа, на баррикадах или в предместьях — не все ли равно?.. И если у них не хватит оружия — для нас останутся еще мостовые, чтобы градом камней раздавить врагов и предателей!»

Лео прочитала обращение к женщинам Парижа, и все одобрили его, а Курбе с сожалением покачал кудлатой головой:

— Единственный случай, когда Курбе жалеет, что родился мужчиной! — мрачно пошутил он.

Журналисты переписали текст, чтобы сразу же отнести в редакции.

...Ночью Луиза сидела над своим дневником.

«Да, копыта вражеских коней топчут поля Франции, одна за другой сдаются крепости, сотни тысяч опозоренных пленом наших парней пруссаки угоняют за Рейн, а Париж продолжает держаться. Иногда я помогаю в лазарете, открытом мэром Монмартра доктором Клемансо, и не могу без содрогания видеть покалеченные тела, изувеченные лица. Вот она, Франция, «кричащая от боли»...»

Проснувшись утром, Луиза первым делом взяла ножницы и, стоя перед зеркалом, обрезала падавшие на плечи волосы.

— Что делаешь, Луизетта!? — всплеснула руками Марианна.— Ты с ума сошла!

— О нет, мама. Они мешают носить гвардейское кепи! Когда победим, я отращу, на радость тебе, длиннющие косы!

— А ты все веришь в победу? — с сомнением спросила мать.— Вчера я два часа простояла в очереди за куском конины. Как жить дальше? Говорят, открыт специальный крысиный рынок. Крыс привозят в клетках, и, когда покупатель выбирает себе какую-нибудь, ее пристреливают из маленького пистолета... Ужас! Неужели и нам придется есть такую мерзость?!

— Ну что ты, мама! — почти истерически засмеялась Луиза.— Как ты смеешь не верить «Фигаро», уверяющей, что в парижских парках, в Люксембурге и Булонском лесу правительством Трошю приготовлено для нас двести тысяч баранов, сорок тысяч быков и двенадцать тысяч

свиней! Вот чем мы с тобой будем питаться, а ты говоришь о мерзких крысах! Нет, мама, мы не умрем с голоду, пока в Париже хозяйничают доблестные генералы Трошю и Винуа!

— Ах, Луизетта, Луизетта, в какое трудное время выпало тебе жить, родная моя! Как мало радостей в жизни!

— Мама! — возмутилась Луиза.— Я ни на какое другое не променяла бы свое время, пору возрождения Франции!

Швырнув в камин срезанные волосы, надела кепи с номером 61-го батальона, взяла стоявшее в углу ружье.

— А после тира?..

— А потом собрание Комитета бдительности. В госпиталях буржуазных кварталов под красным крестом прячется немало здоровых молодчиков, не желающих защищать Париж.

Луиза щеголяла теперь в куртке и кепи Национальной гвардии, которые ей выдали в мэрии округа, а на старые брюки дяди она нашила красные лампасы. В тире вместе с другими стреляла по фанерным силуэтам Вильгельма и Бисмарка, по изображению Баденге, хотя не раз спрашивала себя: а что же завоевала Франция, свергнув ненавистного Бонапарта?

— А-а! — соглашалась с ней Натали Лемель.— Вместо одних самозванцев на шею Парижу сели другие, вот и все! Они обжираются в ресторане Бребана, а простой народ получает миску лукового супа и сто двадцать пять граммов хлеба!

— А сейчас, Луиза,— предложила после стрельбы Лемель,— давай оставим ружья у меня и отправимся на вершину: ветер дует с востока!

— Да, да!

Забежав к Натали, они затем по улице Лепик поднялись на вершину Монмартра. Именно оттуда должен был

взлететь воздушный шар, увозя кого-то из правительства для организации армий, которые смогли бы извне освободить Париж. И хотя это держалось в секрете, к полудню на Монмартре собралась толпа, привлеченная видом огромного желтого шара, который вздувался и покачивался на ветру.

Когда Луиза и Натали пробрались к шару, позади послышались окрики: гвардейцы освобождали путь правительственным каретам. Стоя в величественной позе у подножия своего детища, поджидал пассажиров знаменитый мосье Дюроф. Луиза внимательно всматривалась в лицо астронавта,— он казался ей пришедшим из будущего, последователем легендарного Икара, человеком, осмелившимся бросить вызов самому небу!

Узнав, что на запад полетит Гамбетта, Луиза обрадовалась, почувствовала, что в ней просыпается надежда на скорое освобождение Парижа.

В рискованное путешествие его провожало почти все правительство: Трошю и его первый заместитель Жюль Фавр, многие министры. Охрана из солдат Винуа и гвардейцев 106-го батальона держала ружья «на караул». Когда Гамбетта и молодой астронавт, одетые в зимние шубы, забирались в корзину аэростата, духовой оркестр исполнял победный марш.

Никто не знал, сможет ли Гамбетта возвратиться в Париж — ведь воздушные шары пока строились и надувались только в Париже! Многим провожавшим Гамбетта представлялся героем, да и Луиза с Натали думали так же. Решиться на беспримерный риск во имя спасения родины, взлететь в небо, преодолеть под обстрелом зону осады — на это, действительно, мог решиться лишь мужественный и преданный Парижу человек.

— Ставлю десять франков против одного су, если явится обратно! — произнес глуховатый голос рядом с Луизой.— Все подлецы одним миром мазаны!

Луиза посмотрела: пожилой человек в серой блузе и широких шароварах строителя, простое изрезанное морщинами лицо.

А тот чуть тише продолжал, обращаясь к соседу:

— Только Коммуна, Этьен, принесет нам подлинную свободу!

Луиза порывисто протянула ему руку. Он не слишком доверчиво оглядел ее, но все же ответил на пожатие.

— Вы тоже верите в это?

— О, конечно!

Прозвучали слова команды, и через минуту желтый шар плавно взмыл вверх. Провожавшие махали кепи и шляпами. Шар поднимался быстро и скоро скрылся за низкими, осенними облаками. Повинуясь восточному ветру, направился туда, где подкованные башмаки захватчиков еще не осквернили землю Франции.

И лишь после того как шар скрылся, Луиза увидела возле правительственных карет Виктора Гюго. Он постарел и поседел за годы изгнания; если бы не мощный, навсегда запоминающийся лоб, Луиза не сразу бы и узнала его. А узнав, позабыла обо всем и кинулась к нему, схватила сморщенную, со вздутыми венами руку.

— О, мэтр!

И он узнал ее, хотя последний раз они виделись много лет назад.

— А, Луиза из старого замка Вронкур?! Ваши пламенные письма всегда дышали верой в грядущую свободу!

Гюго прижал Луизу к груди, и она готова была расплакаться от охватившей ее радости: узнал! А он, постояв так, отстранил Луизу и, достав из кармана, протянул ей листок.

— Вот, Луизетта, последнее, что я сочинил! Это воззвание к нашим доблестным партизанам, оно сейчас улетело на шаре мосье Дюрофа. Прочтите на досуге. А сей-

час извините, пожалуйста, меня ждет фиакр. У меня сильно болен сын Шарль. Надеюсь, увидимся в свободном Париже!

Гюго направился к своему экипажу, а Луиза вернулась к поджидавшей ее Лемель, и они прочитали обращение знаменитого романиста:

— «Пусть поднимутся все коммуны! Пусть запылают все деревни! Пусть все леса наполнятся громом голосов! Бейте в набат! Пусть каждый дом даст по солдату!.. Вперед, вольные стрелки, пробирайтесь сквозь чащи, преодолевайте потоки, прячьтесь в тени, двигайтесь под покровом ночи, ползите по оврагам, скользите, карабкайтесь, цельтесь, стреляйте, истребляйте захватчиков!»

— О, Натали! Старость и годы бессильны перед могучим талантом! И я верю: его голос поднимет Францию!

А дни шли... Тревоги сменялись надеждами, огорчения — радостями. Еще до осады в Париж вернулись заочно осужденный на ссылку Шарль Жаклар и его Аня, приехал приговоренный к тюрьме Эжен Варлен: четвертое сентября отменило все приговоры Империи.

Особенно трогательной для Луизы была встреча с Аней Жаклар. Аня помнила адрес Луизы и как-то, уже в дни осады, пришла на улицу Удо. Они обнялись со слезами на глазах.

— Ну, рассказывай, рассказывай, Аня! — торопила Луиза подругу, пока Марианна готовила на кухне скудную еду.

— Жили в Женеве тяжко, я так и не смогла подыскать работу,— рассказывала Аня.— Шарль с утра до вечера бегал по урокам. А потом вдруг словно солнце взошло: разгром Бонапарта, революция, республика! О, как мы ликовали! В Лион приехали в день провозглашения там Коммуны. И Шарля сразу же выбрали одним из ко-

миссаров. Ну и тут же их троих, Шарля, Ришара и Андрие, послали в Париж представить Правительству национальной обороны требования Лиона. А когда они уехали, Коммуну разгромили, Шарлю нельзя было возвращаться!

Обжигаясь, они пили жиденький кофе, Марианна поджарила им по кусочку конины, больше ничего не нашлось.

— Ну, ну! — торопила Луиза.

— Понимаешь, поезда и омнибусы почти не ходили. До Парижа я добралась с неимоверным трудом, иногда по полдня шла пешком. И вот наконец я здесь! Ты поверишь, Луизочка, у меня такое чувство, будто вернулась на родину! Как же я рада видеть тебя!

Аня Жаклар горячо и сразу взялась за дела, училась стрелять из ружья Луизы, обмывала и перевязывала в госпитале раненых, работала в женском Комитете бдительности Монмартра, а конец дня проводила в клубах,— по вечерам под клубы занимались многие из церквей. Домой прибегала поздно, но и Жаклар являлся еще позже, его избрали командиром 158-го батальона Национальной гвардии и представителем Монмартра в Центральном комитете округов — дел выше головы!

Ко множеству Луизиных обязанностей в октябре прибавился сбор денег на литье пушек. Потеряв надежду на «Правительство национальной измены», патриоты Парижа кидали в общий котел добытые тяжким трудом франки и су.

— Забирать у нищих последние гроши и швырять в бездонные карманы сталелитейных королей! — возмущался Ферре.— Буржуазные сволочи безмерно наживаются на несчастьях Парижа, а он охраняет их от вторжения захватчиков! Нет, необходимо до основания разрушить сей подлый мир!

Луизу огорчало, что она не каждый день может видеться с Теофилем, а это стало ей так же необходимо, как

есть, пить, дышать. Правда, она больше не выдавала себя, своих чувств, ей просто было нужно знать, что он жив и ничто ему не угрожает.

Значительную часть дня Луиза и ее подруги, Мари, Андре и Аня Жаклар, тратили на то, что ходили по улицам из дома в дом, с собрания на собрание, потрясая жестяными кружками: «Жертвуйте на пушки Парижа». Современная пушка в начале осады стоила пять тысяч франков, но эта цена, так же как цены на крысиное и кошачье мясо, все время росла.

Приходилось собирать и на госпитали. Часто по утрам Луиза и кто-нибудь из ее подруг, опоясанные красными шарфами, в сопровождении рослого вооруженного гвардейца отправлялись в поход. Входили в собор, где шла месса. Гвардеец шел посередине, нарочно громко постукивая прикладом карабина о каменные плиты пола, а по сторонам шествовали Луиза и ее спутница с кружками в руках. Начинали с кюре, требуя пожертвовать на оборону Парижа, на помощь раненым. И ни один из слуг господа бога не посмел отказать. За ними раскошеливались и прихожане. В том же сопровождении сборщики ходили по домам богачей, по кафе и ресторанам, по шикарным магазинам. И повсюду взимали немалую мзду,— даже ненавидевшие Республику буржуа, смущаясь под грозным взглядом Луизы, опускали в ее кружку монеты и банкноты.

В эти дни Луиза, посланница осажденного Парижа, побывала и у тех, кому поклонялась,— у Гюго и Курбе.

Гюго застала подавленным, удрученным серьезной болезнью сына.

— У меня сердце истекает кровью за Францию,— горько сказал Гюго, когда Луиза объяснила цель своего прихода.— Я пожертвовал пятьсот франков гонорара, полученного за «Возмездие», но вам я охотно отдам все отчисления за постановку «Возмездия» в театре Порт-

Сен-Мартен! Правда, часть из них я отдал в помощь литераторам, жертвам войны, но остальные — десять тысяч франков — ваши! Вот чек!

— Спасибо от Парижа, дорогой мэтр!

Он с силой потер ладонью огромный, выпуклый лоб.

— Все мы дети Парижа, Луизетта. Извините, меня ждет врач!

А Курбе яростно грохал кулаком по столу и рычал из облаков табачного дыма:

— Никто не смеет сказать, что Курбе прячется за чужие спины. Я лейтенант 45-го батальона Национальной гвардии и горжусь этим! Я жертвую лучшую картину в лотерею, деньги пойдут на отливку пушки: «Курбе. Оборона Парижа!» А сейчас я прочитаю вам мое письмо художникам Германии!

В мастерской воцарилась тишина.

— «...Немцы! Идите своей дорогой!.. Как вам не стыдно! Разве вы не видите, что ваша затея противна духу нашей эпохи? Дорогие зарейнские друзья, признаюсь, что вы были мне симпатичны, и редко где я так смеялся, как в Германии. У вас много пива. У себя дома вы великолепны!.. Здесь мы едим мясо взбесившихся коров, непригодных к службе лошадей, ослов, и я уже не знаю, что еще. Так мы дойдем до крыс, кошек. Но мы будем держаться, хотя бы нам пришлось стать каннибалами. Уйдите, прошу вас!»

— Сие на воздушном шаре я отправил в Германию,— пояснил Луизе Курбе, вставая.— Выпьем за победу над завоевателями, друзья! А теперь — до вечера! Гюстава Курбе в Лувре ждут его соратники по Комиссии искусств: Клод Моне, Франсуа Милле и другие мастера кисти, чья жизнь посвящена правде и народу! Вам известно, мадемуазель, что мэтр Курбе ныне восседает в Лувре в кресле своего личного врага, мерзавца графа Ньюверкерка? Надо додуматься: такая свинья управляла искусством.

Позорище! Сегодня будем решать вопрос, когда свергать Вандомскую колонну, гнусный памятник деспотизму и рабству!

Высокая волна народного гнева захлестнула Париж тридцать первого октября, когда стало известно, что маршал Базен сдал Мец, крепость, укрепленную куда основательнее, нежели Париж, сдал, располагая огромной армией, насчитывавшей около ста семидесяти тысяч человек. С такими силами необходимо было любой ценой вырваться из кольца блокады и идти на помощь Парижу. Именно так понимали парижане долг Базена!

— О, если он посмеет вернуться во Францию, мы его повесим как предателя! — на все лады повторялось в тот день всюду.

В то же утро Париж узнал, что войска Трошю, ценою огромных жертв овладевшие два дня назад деревней Бурже северо-восточнее Парижа, за линией его фортов, вчера снова уступили ее пруссакам из-за преступной беспечности генералов.

И третье, что услышал в то злосчастное утро Париж: из длительного вояжа по столицам европейских держав вернулся Адольф Тьер, вымаливавший у властителей Европы содействия в заключении наименее позорного для Франции мира с Вильгельмом. То, что Тьера беспрепятственно пропустили через зону осады, само по себе наводило на мысль о тайном сговоре между осаждавшими Париж и теми, кто только что клялся не отдавать «ни одного камня» его крепостей. После коротенького совещания с правительством Тьер, этот карлик Футрике, отправился в Версаль, ставший штаб-квартирой германского генерального штаба, договариваться с Бисмарком и Мольтке об условиях перемирия. И это в то время, когда весь Париж требовал: «Никакого перемирия! Никакого мира! Сражаться до последнего!» Теперь-то ничто не могло изба-

вить Трошю, Тьера, Фавра и всю клику от клейма «национальной измены».

Стало известно и то, что Мец капитулировал четыре дня назад, двадцать седьмого октября, когда газета Феликса Пиа «Борьба» впервые сообщила об этом. Но тогда правительство, зная о капитуляции, натравило обманутые толпы на редакцию газеты и призывало к убийству Феликса Пиа и сотрудников как прусских шпионов. Редакцию и типографию разгромили, и только чудом никто не был убит: по счастью, в здании в час погрома никого не оказалось. Ну не верх ли подлости и вероломства?! О, сколько бранных и гневных слов было сказано перед сообщением, трусливо расклеенным ночью по стенам Парижа. В нем сообщалось:

«Г. Тьер прибыл сегодня в Париж и тотчас же отправился в министерство иностранных дел. Он представил правительству отчет о своей поездке. Благодаря впечатлению, произведенному в Европе сопротивлением Парижа, великие нейтральные державы: Англия, Швейцария, Австрия и Италия — сошлись на общей мысли. Они предлагают воюющим сторонам перемирие, целью которого будет созыв Национального собрания». Афишу эту подписал один из трех ненавистных парижанам Жюлей — Жюль Фавр.

Париж волновался с утра. Еще ночью у театра «Жимназ» на многотысячном митинге раздавались голоса, требовавшие свержения правительства и провозглашения Коммуны. Рано утром делегаты двадцати округов приняли решение о свержении правительства. К полудню огромные толпы осаждали Ратушу, где продолжали заседать ненавистные народу правители под охраной солдат Винуа и гвардейцев буржуазных батальонов. Луиза, конечно, тоже была там, вместе со всеми кричала: «Долой перемирие!» и «Да здравствует Коммуна!»

Штурм здания начался, когда на Гревскую площадь

прискакал во главе своих стрелков Гюстав Флуранс. Оставив вооруженных стрелков на набережной, Флуранс бесстрашно прошел сквозь охрану, перед ним расступались и офицеры и солдаты, так велико было обаяние его имени и страх перед ним.

Появление Флуранса вдохновило толпу. И вот — растерявшаяся охрана оттиснута, человеческая лавина хлынула на мраморные лестницы Ратуши, вверх, до самого Парадного зала, где заседало правительство.

Когда Луиза оказалась в зале, она увидела, что растерянные и побледневшие министры застыли вокруг огромного стола, а по столу, опрокидывая чернильницы, ходил, сверкая синими глазами, Флуранс.

Людская волна притиснула Луизу к столу, по ту сторону которого Трошю злобно кричал Лефрансе, известному республиканскому журналисту.

— Как вы смеете так разговаривать со мной?! И кто вы такой?!

Лефрансе отвечал со спокойной и презрительной ненавистью:

— Я народ, который пришел, чтобы вышвырнуть вас отсюда! Вы — банда изменников!

Лефрансе вскарабкался на подоконник, сорвал с шеи красный галстук и, размахивая им, кричал, обращаясь к площади:

— Правительство низложено! Да здравствует Коммуна!

Ворвавшиеся в зал стрелки Флуранса оттеснили Трошю и министров в угол, в то время как Флуранс записывал выкрикиваемые из толпы имена: до выборов Коммуны предстояло создать временное правительство. Сотни голосов выкрикивали имена тех, кому народ верил и готов был вручить судьбу Парижа:

— Бланки! Флуранс! Гюго! Делеклюз! Лефрансе! Пиа! Рошфор!

С великим трудом Луизе удалось пробраться к своим: за взлохмаченной головой Риго разглядела улыбающееся лицо Мари. Встав рядом, она кричала вместе со всеми, и в ряду имен повторяла и самое дорогое ей имя. Ну разве не такие честные и преданные революции люди, как Ферре, призваны управлять страной?

Когда в зале немного стихло, она тронула рукой плечо Теофиля:

— Значит, Париж не будет сдан?

— Пока мы живы — нет!

Да, тогда они непоколебимо верили. Но пока народ в залах Ратуши и на Гревской площади ликовал и праздновал мнимую победу, ускользнувший боковым ходом Трошю поднимал враждебные Парижу рекрутированные в провинции полки Винуа и буржуазные батальоны Национальной гвардии.

Людские толпы с пением «Марсельезы» расходились с Гревской площади, разнося по Парижу долгожданную весть: временное правительство, называвшее себя Комитетом общественного спасения, составляло первые обращения и декреты. Казалось, ничто не остановит победной поступи свободы!

С каким высоким чувством гордости за родной город, с какими радужными надеждами заснула в эту ночь Луиза! И хотя спать легла полуголодная, ей снились легкие и светлые сны. Луиза твердо верила: в ближайшие дни вооруженный рабочий и студенческий Париж разорвет душившее город кольцо блокады и прогонит пруссаков с родной земли!

А утром, чуть свет, ее разбудила заплаканная Аня Жаклар.

— Что, Аня? Что-нибудь с Шарлем?

— Ему пришлось скрыться. Уже арестованы Лефрансе, Пиа, Верморель.

— Да кто же посмел арестовать? Ведь у нас новое...

— А-а! — со слезами на глазах перебила Аня.— Они...

— Они... Этих сволочей нужно было перестрелять там же, в Парадном зале Ратуши! — вскричала, появляясь на пороге, Мари,— а не отпускать под честное слово! Сейчас видела Тео, он тоже скрывается от ареста, просил, чтобы я предупредила Рауля.

— Да как же так? — все еще недоумевала ошеломленная Луиза.

— Теофиль прав: все губит наше прекраснодушие, наша дурацкая доверчивость! — продолжала Мари, размахивая шляпкой.— Мы все с ликованием разошлись, а Ратушу оцепил 106-й буржуазный батальон полковника Ибоса. Позднее солдаты Винуа по подземным ходам из Наполеоновских казарм проникли в здание. Выключили газ и в темноте окружили всех наших, кто там оставался. Теофиль вне себя: снова начнутся аресты и суды! И вот увидите, говорит он, Бланки и Флуранса могут приговорить к смерти! Как же, вооруженное восстание, попытка захвата власти!

— Но теперь... они же наверняка пустят пруссаков в Париж! — горько бормотала Луиза, лихорадочно одеваясь.— Совершенно ясно: они боятся народа, боятся дать ему оружие, боятся Коммуны! Но им не удастся запугать нас! Тео прав: только мертвыми мы откажемся от борьбы!

Вскоре Луизе пришлось испытать «прелести» тюремного житья-бытья. Случилось это промозглым декабрьским днем, когда с низкого неба сорился снег с дождем и на улицах было мерзко и тоскливо.

Спускаясь с Монмартра по рю Бланш, Луиза увидела у хлебной лавки толпу взволнованных женщин. Оказалось, что распродан весь хлеб. Толстоусый и толстобровый лавочник грубо выпроваживал женщин на улицу, они

упирались, бранились и требовали на свои талоны хлеба. Некоторые пришли с детьми,— истощенные, с серовато-восковыми лицами, они с плачем цеплялись за юбки матерей.

Подходя, еще издали, Луиза слышала:

— Накорми же детей, бессовестный!

— Где наш хлеб?!

— Третий день не ели!

За эту осадную зиму Луиза повидала множество бедняцких жилищ, где было съедено все, до последнего макова зернышка,— иные, доведенные до отчаяния, пытались варить суп из комнатных цветов.

Конечно, Луиза не могла не вмешаться: она член Комитета бдительности Монмартра! Ее поразил вид крошечного ребенка на руках у девочки, в которой она, всмотревшись, узнала одну из своих бывших учениц. Малыш до того накричался, что лишь сипел, бессильно оттопыривая посиневшие, обметанные губы.

Многие женщины узнали Луизу: она учительствовала в этом округе более десяти лет. И теперь ее окружили, надеясь на ее помощь. С голодной мольбой на нее смотрели сотни глаз.

— Это твой брат, Сидони? — зачем-то спросила она, не зная, что делать.

— Да, мадемуазель Луиза. Это Жан. Он, наверно, умрет...— И, с ненавистью покосившись на запертую дверь, Сидони прошептала: — Говорят, что лавочник прячет наш хлеб, а потом продает втридорога. А Жан...

— Дай его мне! — перебила Луиза и, взяв у девочки ребенка, прижала к груди. Сквозь одеяло почувствовала невесомую хрупкость исхудавшего тела. Шагнула к запертой изнутри двери и властно постучала кулаком. Но в лавке никто не шевельнулся, не отозвался. Она повернулась к женщинам:

— Гражданки! В полицию! Пусть при нас обыщут

лавку! Идем! Но кто-нибудь должен остаться здесь, чтобы подлец не успел перепрятать хлеб!

Полицейский участок помещался на площади Бланш, и Луиза повела женщин туда. Она, конечно, знала о запрещении демонстраций, но, возмущенная до предела, не сумела сдержать неистового порыва и, шагая посреди улицы, запела «Марсельезу». Шедшие за ней подхватили. Колонна худых, изможденных и почерневших от голода женщин выглядела так внушительно, что ажан на перекрестке не посмел их остановить.

Во дворе участка сидели, покуривая, свободные от наряда полицейские, чернели громоздкие тюремные кареты. Последнее время такие кареты разъезжали повсюду.

Знала Луиза и то, что с недавних пор в полицейских участках, по распоряжению Трошю, дежурят жандармские офицеры — «для пресечения преступных политических эксцессов». Каково же было ее изумление, когда жандарм, которого она обнаружила в участке на площади Бланш, оказался ее старым знакомым. Правда, она его не сразу узнала, лишь тогда, когда он назвал ее по фамилии, она вдруг с необыкновенной ясностью вспомнила ночной арест Теофиля у ресторана «Чердак». Ну конечно же именно этот голос пообещал ей: «До скорой встречи, мадемуазель!»

А жандарм узнал ее с первого взгляда и рассматривал с язвительным, удовлетворенным прищуром.

— Я вижу, мои предсказания сбываются, мадемуазель Мишель?! — иронически протянул он, постукивая сигареткой по ногтю большого пальца.— Несмотря на предупреждения, вы не прекращаете преступной деятельности? Да-а?.. Ну что ж...

Луиза с трудом проглотила подступивший к горлу комок.

— Извольте выслушать, милостивый государь! Что творится в подчиненном вам районе!?

Он слушал равнодушно, а когда Луиза замолчала, пренебрежительно бросил:

— Знакомые песенки под диктовку пруссаков! Посеять панику и вызвать недовольство — вот ваша задача? Да? Молчите! — Он поднялся из-за стола, скрипя ремнями амуниции.— Мадам и мадемуазель! Возвращайтесь к магазину. Я немедленно пошлю туда наряд, и вы убедитесь, что хлеба действительно нет. Обещаю распорядиться, чтобы привезли. Не поддавайтесь на провокации, будьте истинными патриотками. Париж в осаде, и все мы обязаны ограничивать себя...

— По вашей шее видно, как вы себя ограничиваете! — зло бросила Луиза.

Жандарм впился в нее ненавидящим взглядом.

— А вас, мадемуазель Мишель, я посажу под арест и заведу на вас дело по обвинению в подстрекательстве к мятежу! Вы давно у меня на примете, и нам надоели ваши фокусы! Может быть, длительная разлука с преступными сожителями пойдет вам на пользу.

— Да как вы смеете, негодяй?!

— Смею, мадемуазель! Вот когда суд упечет вас на два-три месяца в Мазас...

— Плевала я и на суд, и на Мазас, и на все тюрьмы! — яростно кричала Луиза, стуча кулаком по столу.— Я не боюсь вас, трупные черви правительства измены!

— Еще оскорбление! Посмотрим, любезная, что запоете через недельку-другую карцерного режима. Вы арестованы! Взять!

...Однако предсказания жандарма не сбылись: не закончив следствия, на третий день после ареста он был вынужден освободить Луизу. Провожая ее до ворот тюрьмы, он признался со злобной усмешкой:

— Если бы за вас хлопотали лишь бандиты вроде Ферре и Риго, мы с вами не расстались бы так скоро, мадемуазель! Скажите спасибо мировой знаменитости, ака-

демику и пэру. Но как-нибудь мы и до великого Гюго доберемся, попомните мое слово! Ему снова придется бежать из Франции с чужим паспортом! Маловато, видимо, двадцати лет изгнания...

Луиза не ответила, но у нее сразу стало теплее и светлее на душе: значит, вот кому она обязана свободой!.. Так началось для нее первое знакомство с казематами парижских тюрем, первое, но не последнее.

Для Парижа наступили такие тяжелые месяцы, каких город не переживал, вероятно, со дня основания, когда он еще именовался Лютецией, и в те времена, когда в нем хозяйничали римские легионеры. Даже в годы владычества англичан в пятнадцатом веке парижане не испытывали подобного...

Стояла небывало холодная для Парижа зима, в январе термометр по ночам показывал до пятнадцати — восемнадцати градусов мороза. В рабочих округах города кончились запасы угля и дров, из-за нехватки газа улицы по ночам не освещались, и Париж погружался в непроницаемый мрак. Лишь взрывы прусских бомб изредка озаряли безлюдные, а когда-то живые, веселые улицы.

В конце декабря Мольтке отдал артиллерии приказ регулярно бомбардировать Париж. От прусских ядер и бомб больше всего доставалось рабочим окраинам — Бельвилю, Ла-Виллет, Монмартру, Батиньолю. То и дело вспыхивали пожары, иногда в огне погибали целые семьи! Не десятки, а сотни раз Луиза помогала тушить такие пожары, с риском для жизни вытаскивала из огня детей, больных, стариков. В эти дни она не раз вспоминала крупповскую пятидесятитонную пушку, показанную три года назад на Всемирной выставке.

Да, не только голод и холод, но и прусская артиллерия вырывала у Парижа тысячи жизней; в официальных со-

общениях приводились цифры смертности. Через три месяца осады земля парижских кладбищ принимала еженедельно около четырех с половиной тысяч трупов! В три с лишним раза больше, чем за одну неделю сентября!

В одном из дневников Луиза записала тогда: «Хлеба с каждым днем становится так мало, что правительство распорядилось ввести паек, хлеб продается по талонам. Крысы давно стали съестным, а задняя собачья нога почитается роскошным блюдом! Дети умирают от холода и лишений в объятиях матерей, а иногда и вместе с ними!»

И все же Париж не хотел перемирия, не принимал мира, того позорного мира, к которому его так старательно подталкивали Трошю, Тьер, Винуа и иже с ними. Эти трое своим лицемерием и подлостью вызывали у Луизы наибольшее презрение: Трошю несколько раз, повторяя слова Жюля Фавра, публично клялся, что не сдаст «святых камней Парижа», а сам отваживался лишь на мелкие вылазки, которые неизбежно завершались гибелью нескольких сот гвардейцев! А Винуа, эта усатая гадина, бывший в годы бонапартовского переворота тюремщиком в Ламбессе, закопавший в прокаленную алжирскую землю тысячи патриотов Франции, сейчас тоже рядился в тогу героя.

Рабочий Париж давно не верил им, лил на последние гроши пушки, надеясь с их помощью отстоять свободу. Каждый день десятки новых пушек привозили с заводов на Монмартр и Бельвиль,— именно с их холмов можно обстреливать пруссаков, если они попытаются штурмовать Париж.

Благодаря Рошфору, официально подавшему в отставку, но продолжавшему бывать в Ратуше и Бурбонском дворце, тайны «правительства национальной измены» почти немедленно делались достоянием Парижа. Новое восстание становилось неизбежным! Призрак Коммуны снова вставал над Парижем во весь рост! Но пока вос-

стание созреет и наберет силу, пройдут еще многие и многие дни — время, мало чем отличавшееся от «долгой ночи Империи», время лишений, голода, холода, непрерывных бомбежек, тысяч и тысяч смертей!..

В то зимнее утро Луиза проснулась затемно, быстро оделась, зажгла свечу. Причудливые папоротники леденели на стеклах окон, пар от дыхания облаками вырывался изо рта. Как и в предыдущие дни осадной зимы, Луизе предстояло хоть немного обогреть дом. Постучав к консьержке и попросив у нее топорик, почти бегом спустилась на бульвар Клиши, где уже перестукивался не один десяток топоров и тяпок. Нарубив охапку кустарника, вернулась домой, растопила железную печурку в спальне матери. Камин в своей комнате уже давно не топила.

Вскипятив воду, выпила чашку кофе.

— Ох, Луизетта, Луизетта! — вздохнула мать, кутаясь в капот и присаживаясь к печке, распространявшей по дому сладостное тепло.— Когда же кончатся наши страдания? Что говорят в ваших клубах, в мэрии округа, в Ратуше?

— Все беды кончатся, мама, когда прогоним шайку иуд и провозгласим Коммуну! Трошю и Фавры вовсе не собираются оборонять Париж, они мечтают повыгоднее продать его пруссакам да сохранить себе министерские портфели. О, как я их ненавижу, предателей! У них нет за душой ничего святого. Вчера мэр Монмартра Жорж Клемансо сказал мне: чтобы удушить воинственный пыл республиканских батальонов, Трошю и Винуа мучают их изнуряющими маршами. Представьте себе, Луиза, сказал он, вчера батальоны Монмартра проделали семичасовой круговой поход. Гвардейцы прямо валились с ног от усталости! Ну не предательство ли?! О, с каким наслаждением я их душила бы!.. Ну, я побежала, ма! Не выпускай кошек и Финеттку, их поймают или пристрелят...

— Ты поздно вернешься?

— Как всегда. Много дел, мамочка! Сейчас — тир и госпиталь, потом — редакции, потом собрание в клубе «Справедливость мира», потом надо забежать в клуб зала Перо, где председательствует Теофиль.

В комнате потеплело, «заплакали» окна, сквозь тонкие льдинки просвечивал синий морозный день. Чмокнув мать в щеку, Луиза сбежала по лестнице.

Да, день, как и всю неделю, стоял морозный, под ногами сухо скрипел выпавший ночью снег. Заиндевевшие деревья были похожи на сказочные привидения. Прохожие спешили, уткнув носы в поднятые воротники и шарфы.

Спускаясь с Монмартра, Луиза издали услышала лязг железных колес по булыжнику, цокот копыт, крики: на вершины Монмартра везли народные пушки. Лошади оскальзывались на промерзшей мостовой. Десятка два добровольцев, мужчин и женщин, вцепившись в литые пушечные колеса, подталкивая лафеты, выбиваясь из сил, везли орудия в гору.

И Луиза конечно же впряглась, хотя прокаленный морозом металл даже сквозь перчатки обжигал руки. И вместе со всеми покрикивала на лошадей, над крупами которых дымился пар.

— Давай, милые! Давай! — кричал черноусый фонарщик, которого Луиза не раз примечала на собраниях в клубах Монмартра.— Мы пушечками с одной стороны, генерал Бурбаки и Гамбетта с другой, э, мы зададим пруссакам жару!

Подъем кончился, лошади пошли легче. Луиза заторопилась в госпиталь, но тут увидела имя, отлитое на покрытом инеем стволе орудия: «Курбе». Поспешно сделала еще десяток шагов за пушкой, чтобы полностью прочесть надпись: «Курбе. Оборона Парижа. Декабрь 1870 г.».

Чем ближе к госпиталю, расположившемуся в фойе театра, тем быстрее шла Луиза, почти бежала, боясь, что не застанет в живых Анри Фонэ, молоденького журналиста, работавшего в «Пробуждении» Делеклюза. Тяжело раненный осколком бомбы, с забинтованным опаленным лицом, он умирал мужественно. Анри не мог видеть Луизу, но сразу чувствовал ее появление и протягивал ей руку.

— Вы пришли, милосердная Луизетта?

— Да, Анри! Я здесь.

— Какие новости?

— Сейчас все расскажу, Анри. Но сначала помогу с перевязками.

Сделав необходимое, Луиза вернулась к койке Анри. В отличие от других сестер, работавших в госпитале, Луиза во второй половине дня обегала десяток редакций и узнавала все, что можно было узнать.

Она примостилась в ногах Анри, и все раненые повернулись к ней. Говорила она громко, чтобы могли слышать во всех углах зала.

— Так вот, друзья! По пути сюда я купила для вас те утренние газеты, где пишут правду, я оставлю их, кто сможет, прочитает остальным. А пока расскажу вам лишь самое главное. Вчера наши гвардейцы атаковали оборонительные укрепления, прикрывающие Версаль, овладели редутом Монтрету, парком Бюзенваль и частью Сен-Клу. Были большие потери. Но Трошю, испугавшийся, что патриоты зашли слишком далеко, приказал отступать! И батальоны поняли, что их посылали в бой с единственной целью — пожертвовать ими. И как подтверждают газеты, один из полковников Трошю нагло заявил: «Ну что же, мы сделаем Национальной гвардии еще одно кровопускание!»

Крики негодования заставили Луизу прервать рассказ, она опустила на колени руку с газетами и молча смотрела

на тесно стоявшие койки, на искаженные болью и гневом лица.

— Палачи! Изменники! — повторяли кругом.

На соседней с Анри койке пожилой гвардеец, потерявший в бою за Бурже обе руки, плакал навзрыд.

— Может быть, это жестоко, что я говорю вам такую горькую правду, но иначе я не могу! Париж должен знать, где коренится измена!

— Вы правы, сестра,— прошептал Анри.

— Главнокомандующий Трошю тоже не раз говорил о «кровопускании», о том, что готов пожертвовать и двадцатью, и тридцатью тысячами жизней, чтобы убедить парижан в необходимости перемирия, а потом, конечно, и мира!

И снова Луиза с минуту пережидала шум. И продолжала:

— Под Бюзенвалем и Монтрету гибнут тысячи наших смелых парней, земля Франции заливается французской кровью, а что происходит в это время на той стороне, в стане врага?! — Она чуть повременила.— 18 января 1871 года в Зеркальной галерее Версаля на голову короля Пруссии Вильгельма возложена корона императора Германии. Под эгидой Пруссии теперь объединились почти все зарейнские княжества и земли! И это коронование происходит на земле Франции в тот самый час, когда в ее землю закапывают лучших ее сынов!

Луиза почувствовала, что не может больше говорить. А сосед Анри, потрясая забинтованными обрубками, все спрашивал неведомо кого:

— Кто накормит моих несчастных девочек?!

Луиза крепко зажмурилась, с трудом удерживая слезы, постаралась взять себя в руки.

— Однако я слышу стук колес под окнами,— сказала она.— Вероятно, из «Мармите» прибыл завтрак! Сейчас покормим вас, наших героев!

Разнося суп, кормя с ложки безруких, Луиза с горечью повторяла себе: «А ведь ты не сказала им самого страшного! Но этого и нельзя говорить, нельзя отнимать у них веру в победу!»

Вчера поздно вечером, когда она выступала в клубе Монмартра «Справедливость мира», разнесся слух о разгроме трех новых армий, созданных усилиями Турской экспедиции и Леона Гамбетты на не занятой пруссаками части Франции. Утверждали, будто армия Шанзи понесла тяжелое поражение на севере, в районе Руана, армия Федерба разбита под Сен-Кантеном, а армия генерала Бурбаки разгромлена под Бельфором. Если все верно, исчезала последняя надежда на помощь осажденному Парижу извне!

— Но учтите, Луиза,— предупредил ее чуть позже Теофиль,— слух может оказаться провокационным! Но если правда, что армия Бурбаки откинута от Бельфора на юг, боюсь, что она вынужденно перейдет границу Швейцарии и будет интернирована и разоружена!

В госпитале Луиза пробыла до обеда.

Выпрыгнув из омнибуса на набережной Сен-Бернарда, она услышала выстрелы, доносившиеся со стороны зоологического сада. Здесь, в самом центре Парижа, не могло быть никаких боев: прусские войска удерживались за линией внешних фортов. Кто же и с кем сражается?

Пробежала до высоких кованых ворот и тут поняла, что стреляют на территории парка.

Привратника у входа не было, и она, никем не задержанная, помчалась по центральной аллее, которая вела к главным павильонам. С первого своего приезда в Париж она полюбила этот живописный уголок, хотя ей было больно смотреть, как томятся в неволе загнанные за решетки свободолюбивые и могучие звери.

Выстрелы доносились из глубины парка, и Луиза побежала на эти звуки.

Нет, она не могла поверить! Вокруг вольеры, где содержались слон Жак и слониха Жанна и их трогательно-добродушный отпрыск Мушан, стояли национальные гвардейцы 106-го батальона и стреляли в беззащитных животных.

Она, разумеется, не сразу поняла, что, для того чтобы убить слона из шаспо, необходимо обязательно попасть ему в глаз: пуля гладкоствольного ружья не могла пробить толстую слоновью шкуру. И упитанные молодчики из буржуазного батальона, соревнуясь, стреляли по беззащитным мишеням, стараясь угодить именно в глаз. Гогот и смех сопровождали каждый неудачный залп, а слоны, напуганные стрельбой, растерянно топтались посреди вольеры, вздымали хоботы и тревожно трубили.

Чуть в стороне от стрелявшего гвардейского строя метался, рыдая, седой директор зоопарка мосье Прапо.

Луиза бросилась к лейтенанту батальона:

— Что вы делаете, мерзавцы?!

Но бравый лейтенант надменно отстранил Луизу:

— Я выполняю приказ губернатора, генерала Трошю, мадам! Животные не кормлены неделю, и им предстоит подохнуть от голода. Они ревут день и ночь, мешают спать! Так что приказ генерала лишь акт милосердия и по отношению к животным, и по отношению к людям! И прошу не мешать мне, мадам! Целься вернее, братцы!

Луиза бросилась к старику Прано:

— Мосье Прано! Да что это? Остановите их!

Седой старик беспомощно развел руками:

— Мадемуазель Мишель! Мы не получаем корма для зверей второй месяц! Они обречены. А их мясо может спасти несколько сот детей и раненых! И не говорите мне больше ни слова, мадемуазель! Я схожу с ума!

Вцепившись руками в седые волосы, Прапо побежал

прочь, а Луиза кинулась за ним. Он вбежал в свой кабинет и упал в кресло у письменного стола. На стенах кабинета висели фотографии животных: слоны, львы, тигры, жирафы.

— Что же делать, мосье Прано?! — спросила Луиза, сдерживая слезы.— Надо телеграфировать Трошю, надо добиться отмены варварского приказа!

Прано только покачал головой:

— О, мадемуазель Мишель! А видеть, как они подыхают с голоду, думаете, легче? Париж ежедневно хоронит пятьсот — шестьсот человек, умирающих от голода! Мы скормили животным все, что могли. Вчера умер лев Голиаф! Я дал бы отрубить себе руку, если бы это могло спасти его! О, у вас, наверно, есть пистолет, мадемуазель Мишель, вы же боец Национальной гвардии. Дайте мне его ради бога, чтобы я мог уйти на тот свет вместе с моими питомцами! Дайте же!

И Луиза вдруг опомнилась. Она почувствовала себя сильнее рыдавшего перед ней старика и по-матерински положила ему на плечо руку.

— Успокойтесь, мосье Прано! После победы Коммуны мы купим у Гагенбека самых лучших зверей и создадим зоопарк, которого еще не видел мир! А сейчас, может быть, и правда это мясо спасет сотню человеческих жизней! Действительность жестока, мосье Прано, и у нас пока нет сил преодолеть эту жестокость. Возьмите себя в руки. Нам, видимо, предстоит еще не раз увидеть смерть дорогих и близких, мы должны быть готовы к тому, чтобы стоять у их могил! Пойдемте, я провожу вас домой!

— Мой дом здесь, мадемуазель Мишель! Мой единственный сын убит под Седаном, а мою дорогую Генриетту я отвез на кладбище две недели назад. Все, что осталось у меня,— здесь, и это гибнет на моих глазах. Нет, я не хочу больше жить!

— Будьте мужчиной, мосье Прано! Вам здесь нельзя

оставаться. Пойдемте к нам, у нас пустует комната мадемуазель Пулен, вы будете жить там.

Старик горестно покачал головой:

— О нет, мадемуазель Мишель! Я как солдат: не могу покинуть свой пост, как бы тяжко мне ни было.

Все же Луизе удалось немного успокоить Прапо. Заставив себя не смотреть в сторону вольер и клеток, где продолжали греметь выстрелы, она побежала к воротам... «А может быть, ты не имеешь права покидать несчастного? Вдруг он накинет петлю себе на шею? — Она остановилась, оглянулась на окна кабинета, в одном из них увидела силуэт согбенной мужской фигуры.— Да нет, мысль о будущем зоопарке Парижа, который мы создадим при Коммуне, конечно же утешила его. Ведь опять появилась цель жизни».

В просторном зале Бурдон, освещенном газовыми рожками и десятками свечей, тесно и душно. Колеблющееся пламя отбрасывает на стены и потолок причудливые тени ораторов. На смену капитану Монтелю, призывающему немедленно взяться за оружие, поднимается столяр Шоссевер, требующий реквизировать у буржуа все продовольствие и разделить его между погибающими от голода. Затем член Центрального республиканского комитета Национальной гвардии Брандели призывает ударить в набат с колокольни ближайшей церкви Сен-Поль и начать возводить баррикады, без которых не обходилась ни одна французская революция.

Пляшущие отсветы пламени и уродливые тени на стенах напоминают Луизе офорты Гойи. Она здесь не одна, а с неразлучными подругами — Мари и Анней Жаклар, побледневшей и осунувшейся: ее Шарль третий месяц сидит в самой страшной тюрьме Парижа — Консьержери — и неизвестно, выйдет ли оттуда живым... Все трое с нетерпением ждут выступления Теофиля Ферре.

И вот ножевыми лезвиями вспыхивают над трибуной, обтянутой красным бархатом, знакомые стекла пенсне. Черные волосы Теофиля растрепаны, словно он только что вырвался из драки. Зал гудит неутихающим прибоем, но Ферре стучит кулаком по кафедре, и зал постепенно стихает.

— Больше четырех месяцев прошло после Седана, а мы все говорим, говорим, говорим! А враги не спят! Трошю поклялся не сдавать пруссакам Париж, и он не собирается сдавать его сам. Он хочет сдержать свое подлое слово, он уходит в отставку, и его заменяет Винуа. Но генералы Курти и Бертен де Во уже получили приказ в случае восстания Парижа оставить позиции, где они сдерживают пруссаков, и идти на нас. Жандармерия генерала Мальруа наготове. Частям генерала д'Эксеа приказано ударить по Бельвилю с тыла. Париж в двойной осаде, в двойной западне, а мы занимаемся словоизвержениями, от которых не подохнет ни одна крыса! За всю тысячелетнюю историю Франция не переживала такого позора, как коронация завоевателя в самом сердце страны, рядом с Парижем!

Луизе кажется, что от шквала криков обрушится потолок и рухнут стены, а Теофиль, сложив по привычке на груди руки, стоит и ждет.

— Что же ты предлагаешь, Ферре? — пробивается сквозь шум голос Брандели.

— Взять приступом тюрьмы, освободить политических, а завтра штурмовать Ратушу, провозглашать Коммуну!

Нет, зал Бурдон, да, наверно, и ни один из залов Парижа, никогда не слышал такой бури, такого обвального грохота аплодисментов, таких криков. И Луиза в эти минуты, больше чем когда бы то ни было, убеждена, что именно ее Теофилю будущая республика вверит свою судьбу. Аня, не вытирая слез, обнимает то Луизу, то Мари.

— Значит, Шарль сегодня будет свободен! Какое счастье! Какое счастье!

Через десять — пятнадцать минут собравшиеся в зале Бурдон расходятся колоннами в разные стороны: одни направляются к тюрьме Мазас, другие — к Консьержери, третьи — к Сент-Пелажи. Все верят в близкую победу.

Одушевленная, как никогда, шагает по ночным улицам Луиза. Вот и исполнилась ее мечта, рядом с Теофилем она идет сражаться за будущее свободной Франции, чувствует плечом его плечо.

Теофиль весел, оживлен, близость опасности придает ему уверенность и силу. Он то и дело смеется, блестя в ночной полутьме зубами. К удивлению Луизы, он останавливает встречные колымаги ночных извозчиков, поворачивает их к тюрьме Мазас.

— Зачем, Тео? — недоумевает Луиза.

— А пусть тюремщики думают, что с нами пришла артиллерия! Нагоним на них страху...

Да, колеса гремят по булыжным мостовым с угрожающим грохотом, точь-в-точь — подъезжают пушки, готовые разнести в щебень и пыль тюремную цитадель. И перепуганные и застигнутые врасплох тюремщики сдаются: Флуранс, Бауэр, Эмбер, Дюпа и Мелье выходят из ворот Мазаса. Снова пылают факелы, и трепещут в их свете самодельные знамена — красные рубашки и шарфы. Снова — ощущение близкой победы.

А утром...

Холодный сырой день. Вот-вот начнется не то дождь, не то снег. Все мокро: и мостовые, и стены домов, и афиши, расклеенные на столбах и оградах. Луиза и Натали Лемель с шаспо на плече спешат к Ратуше,— именно там сегодня решится судьба Франции. Серый фасад Ратуши, увенчанный статуями великих людей нации, угрюм и неприступен, сквозь стекла окон поблескивают штыки и оружейные дула,— там забаррикадировались «бретонцы»,

мобили Трошю. Их, пожалуй, не выкурить оттуда даже залпами орудий.

Подходя со своим батальоном к площади, Луиза видит на балконе углового дома на улице Риволи Делеклюза, Артюра Арну и других,— условлено, что именно оттуда они будут наблюдать за штурмом Ратуши и руководить им.

Час штурма настал, но на площади появляются лишь те батальоны, которыми командуют люди с площади Кордери: Бенуа Малон, Виктор Клеман с маршевой ротой, Ферре с национальными гвардейцами Монмартра, Дюваль, Серизье, Сапиа... Флуранса с его десятью тысячами гвардейцев нет! Он, видимо, решил защищать родной Бельвиль, не хочет принимать участия в общей схватке, не веря в успех. Как это не похоже на неистового Флуранса! Неужели последняя тюрьма сломила несгибаемую волю этого человека, убила его решительность и дерзость?!

До двух часов дня ждут сигнала к штурму собравшиеся перед Ратушей батальоны. Окна Ратуши ощерены штыками и ружейными дулами. Наконец помощник мэра Парижа Шодз нагло заявляет республиканцам:

— Коммуна — пустое слово! Париж более не может сражаться, перемирие неизбежно! А ваш мятеж мы подавим силой! Мы приготовились к встрече с вами!

И затем — стрельба из окон Ратуши. Убитые и раненые. Снова на камнях Гревской площади — кровь. Повстанцы вынуждены отступить. Луиза, скрежеща зубами от бессильной ярости, последней отходит в рядах своего батальона, грозя Ратуше судорожно сжатым кулаком... Еще одна попытка восстания подавлена, еще одна надежда погребена!

А вечером повстанцы Трошю и Винуа, в окружении внушительного конвоя, расклеивают по городу распоря-

жения правительства: закрываются все клубы, запрещаются газеты «Призыв» Делеклюза и «Борьба» Пиа, удваивается количество военных судов, всякий «сеющий вражду и смуту» будет немедленно судим по законам военного времени. У редакции «Призыва» и «Борьбы» дежурят вооруженные митральезами мобили и солдаты Винуа...

На следующее утро, со слов Рошфора, Теофиль рассказывал сестре и Луизе, что вчера, после побоища перед Ратушей Жюль Фавр посетил в Версале Бисмарка и за обедом жаловался ему на парижскую «чернь», разграбившую его загородную виллу. И Бисмарк якобы посоветовал ему:

— А вы напрасно боитесь мятежей, любезный! Спровоцируйте мятеж сами, пока у вас есть армия для его подавления. А то ведь после заключения перемирия мы ваши линейные части разоружим! Вот тогда-то вам придется худо!

— Да, теперь снова ждать и провокаций, и арестов, и смертных приговоров,— заметил Теофиль.— Опять большинству из нас уходить в подполье и оттуда вести борьбу с самозваной сволочью... А перемирие они с пруссаками обязательно заключат и все свои объединенные силы бросят против Парижа.

И, как всегда, Ферре оказался прав: к вечеру двадцать восьмого января прусские батареи прекратили варварский обстрел Парижа, а на следующий день город узнал об условиях перемирия. Врагу сдаются все четырнадцать фортов, окружающих город, казалось бы, неприступной стеной, передаются пушки на крепостных валах и редутах, войска разоружаются и считаются военнопленными. И лишь Национальная гвардия сохраняет оружие.

— На это наши подлецы не отважились,— говорили парижане.— Они знают, что мы не отдадим ни шаспо, ни тесаков, ни пушек, отлитых на кровные рабочие су...

Луиза ходила словно обезумевшая, все ей стало неми-

ю, казалось, весь горизонт заволокло черными тучами и смерть распростерла над городом зловещие крылья. И все же она принимала участие во всех попытках протеста, которыми осажденный город выражал негодование против позорной капитуляции. Маршировала в манифестациях под лозунгом «Не отдадим фортов!», целые дни проводила в кафе «Дез-Эмисфер» на бульваре Вольтера, где обосновался республиканский штаб, била вместе с другими в набат в церкви Сен-Лоран, стучалась в двери бедняцких домов и призывала к оружию. Но на душе было темно и пусто: сейчас, когда пруссаки и «герои национальной измены» объединились против Парижа, надежды на победу почти не осталось. Ах, если бы провозгласили Коммуну, сколько бы сердец снова воспламенилось и надеждой, и жаждой борьбы!

Марианна совсем извелась, глядя на почерневшую от горя Луизу, пыталась утешить и успокоить ее.

— Да ведь не все потеряно, доченька,— повторяла она, поглаживая Луизу по коротко остриженным волосам.— Ты же сама говоришь, что в новое Национальное собрание, которое будет подписывать мирный договор, выдвинуты такие прекрасные люди, как Гюго, Гарибальди, Делеклюз, Рошфор, Пиа, Малон. Может, им удастся что-то сделать!

Луиза в ответ сокрушенно качала головой.

— Ах, милая моя старенькая мама. Опять ты ничего не понимаешь! Таких, как Гюго и Гарибальди, в Собрании окажется десять — двадцать человек, а всего в Собрании более семисот. И я согласна с Тео, в большинстве будут буржуа и монархисты, те, кто еще недавно обожал Бонапарта, а ныне поклоняется Трошю, Тьеру и всей этой своре. Они подпишут мир с Вильгельмом и Бисмарком на любых условиях, лишь бы задушить революционную республиканскую Францию. Вот увидишь!

И все же она с нетерпением и тайной надеждой жда-

ла вестей из Бордо, где заседало вновь избранное Национальное собрание. Она еще надеялась на чудо...

Тайком, украдкой по вечерам изредка встречалась с Теофилем и, бродя по ночным улицам и набережным, слушала его с жадностью и доверием. Теофиль вынужден был скрываться от ареста, ходил в заношенной рабочей блузе и картузе, в черных очках, днем показываться где-нибудь ему было невозможно. Скрывались и Флуранс, и Бланки, многие бежали за границу или томились по тюрьмам.

Когда Мари приносила Луизе коротенькие записочки Ферре, Луиза, надев мужской костюм, поджидала его поздно вечером в укромном, безлюдном уголке.

Как-то в середине февраля они встретились возле одной из ветряных мельниц на вершине Монмартра, и Теофиль, помахивая тростью, которую стал носить для самозащиты, рассказал ей о том, что происходит в Бордо.

— Как мы и предполагали, Луиза, это так называемое Национальное собрание оказалось сборищем толстосумов. На первом же заседании они не дали слова Гарибальди, освистали его, и он покинул Собрание, чтобы никогда туда не возвращаться. Подают в отставку возмущенные этим Гюго, Делеклюз, Рошфор, Пиа, Малон... А ведь каждый из них получил более двухсот тысяч голосов! Председателем органа исполнительной власти избран карлик Футрике — Тьер. О нем хорошо сказано, что это чудовище, в котором сконцентрирована вся классовая испорченность буржуазии,— он же отличался подлостью и жестокостью еще при Луи Филиппе. Чего же нам-то ждать от своры?

С неба падал редкий невесомый снег, падал и тут же таял. Париж был погружен во мрак, лишь кое-где сквозь жалюзи светились окна.

Теофиль подвел Луизу к скамейке под деревьями, отряхнул с нее полой пальто подтаявший снег.

— Посидим.

Ферре достал дешевую сигарку. Огонек спички на секунду осветил его худое, с обветренными скулами лицо, потрепанный картуз, дешевый шарф, прикрывавший бороду.

— Снимите очки, пожалуйста,— попросила Луиза.— Они делают вас неузнаваемым.

— Затем и куплены! — Он удивился ее просьбе, но очки снял.

— Ну а что же с мирным договором? — спросила Луиза.— Каковы условия?

— Самые гнусные! Пять миллиардов контрибуции и аннексия Эльзаса и Лотарингии! Распродают Францию, мерзавцы!

— Но в Париж пруссаки не войдут!

— В том-то и дело, что войдут. Займут западные кварталы, пока не будет внесен первый взнос контрибуции.

— Но мы не пустим! — почти закричала Луиза.— Национальная гвардия перебьет их, как...

— Ах дитя вы, дитя! — горько усмехнулся Теофиль.— Что это может изменить? Только еще несколько ручьев крови омоют многострадальные мостовые Парижа...

Пригасив сигарку о край скамейки, он встал:

— Однако мне пора. Я ведь бездомный пес. Необходимо позаботиться о ночлеге. Я не могу дважды ночевать в одном месте, не могу подводить...

— Так идемте к нам! — с живостью перебила Луиза.— У нас пустует комната Пулен.

Она не видела в темноте лица Теофиля, но почувствовала, что он улыбается.

— Благодарю, но это исключено, Луиза! Я не могу ставить вас под удар.

— Где же вы будете спать?

— Пока не знаю. Найду. У меня много знакомых рабочих, которые пока вне подозрения.— Он помолчал, а

потом добавил: — Но я верю, что нам с вами еще придется сражаться на баррикадах.

— Я была бы счастлива, Теофиль!

— А пока — будьте благоразумны и берегите себя. Мы еще понадобимся Франции. Ибо кучка проходимцев, стоящих у власти, это не Франция!

— Берегите и вы себя, Тео! Вы, как никто, нужны будущей революции. Кстати, ведь если патруль проверит ваши документы...

— Э, тут все в порядке! — успокоил ее Ферре.— У меня в кармане документ, удостоверяющий, что я — Шарль Жийе, так что патруль мне не страшен.

Луизе хотелось поцеловать Теофиля, но она только сильно пожала его руку и с бесконечной тревогой долго смотрела ему вслед.

Клубы закрыли по распоряжению властей, но клубами стали каждое кафе, каждый кабачок, каждая площадь. Слух о предстоящем вступлении пруссаков в Париж поднял на дыбы рабочий и студенческий Париж, большинство готовилось встретить захватчиков с оружием и булыжниками в руках. Пользуясь перемирием, богачи покидали город; груженные сундуками и кофрами фиакры, ландо и экипажи беспрерывным потоком текли к воротам Пасси, Сен-Клу, Мюэтт, их провожали ненавистью и улюлюканьем.

Целые дни Луиза проводила на улицах, не могла высидеть дома и часа. Вокруг Елисейских полей и Пасси, куда должны были вступить прусские полки, по приказу командования Национальной гвардии спешным порядком возводились валы и баррикады.

Луиза читала воззвания Центрального комитета, и противоречивые чувства охватывали ее. Казалось немыслимым пережить неизбежный позор, а трезвый голос повто-

рял и повторял — словами Ферре, Валлеса и других,— что сопротивление в таких условиях равносильно массовому самоубийству.

Три дня и три ночи, возвращаясь домой лишь затем, чтобы успокоить мать, Луиза вместе с другими парижанами работала на возведении баррикад, окружающих Елисейские поля, и с горечью вспоминала, как совсем недавно здесь осыпали цветами парад Национальной гвардии. Как, кажется, давно это было, словно тысячелетия назад!

— Ты знаешь, Мари,— сказала она как-то сестре Теофиля,— если бы не мама и если бы не вера в возмездие, я одна со своим шаспо наперевес бросилась бы им навстречу: лучше смерть, чем опозоренная жизнь!

Мари вздохнула:

— Да разве ты одна думаешь так, Луизетта?! Но... Вот посмотри, что пишет Жюль Валлес в своей новой газете «Крик народа», вчера мне передал ее Тео.

Луиза развернула истертый на сгибах газетный лист.

— «Чему поможет уничтожение тридцати тысяч пруссаков? Сопротивление пойдет только на пользу реакции. Республиканцы должны беречь свои силы до более благоприятного времени. Реакция хочет задушить нас руками пруссаков...»

Луиза опустила газетный лист на колени, на глазах ее блеснули слезы.

— А мы-то так надеялись, так верили!

— Прочитай еще вот здесь,— показала Мари.

— «Всякое выступление только подставит народ под удары врагов революции — германских и французских монархистов, которые потопят в море крови все его социальные требования... Говорят, что смельчаки решили двинуться по улицам навстречу победителю и преградить ему путь. Честь тому, кто готов умереть в эти дни горчайшего позора! Но никто не видел, чтобы матрос мог остановить прилив, и самоубийство отнюдь не оружие силь-

ных... Республиканец, не стреляй завтра! Не стреляй, потому что они, безусловно, хотят, чтобы ты начал стрелять... И не давай себя убить, отчаявшийся герой, когда тебе предстоит еще столько трудов и столько добрых дел, когда рядом со скорбной родиной шагает революция...»

Дальше Луиза читать не могла. Заплакала навзрыд, прижавшись лицом к плечу Мари.

— Если бы я не верила Раулю и Тео, я тоже, наверно, впала бы в отчаяние,— сказала Мари, нежно поглаживая ее по остриженным волосам.— Но они не теряют ни надежды, ни веры. Они убеждены, Луиза, что вот-вот из-за кромешных туч выглянет наше солнце.

— Ах, Мари, Мари! Мы ждем этого всю жизнь!

Эти дни они работали рядом и с ненавистью ждали полуночи первого марта, когда предполагалось вступление в город пруссаков. В ту ночь весь Париж, от древних стариков до шестилетних мальчишек, толпился на валах и баррикадах.

Но завоеватели, видимо, побоялись вступать в полузавоеванный город среди ночи: их могли встретить и пули шаспо, и картечь митральез, и лавина камней, обрушенных на их головы с крыш. И лишь после восхода солнца, блестя островерхими касками, под Триумфальной аркой и обтекая ее с обеих сторон, вступили на Елисейские поля полки торжествующих бошей. Развевались знамена, увенчанные орлами и сверкающие золотыми кистями, картинно и лихо гарцевали на упитанных жеребцах офицеры, парадным гусиным шагом маршировала пехота.

— О, как же я их ненавижу! — говорила Луиза стоявшим рядом Мари и Андре Лео.— Я готова на любые пытки, на любую мученическую смерть, если бы это могло остановить их!

Вступающие в город завоеватели начистились до зеркального блеска, улыбками и торжественным самодовольством сияли лица, лихо торчали стрелками вверх так

называемые «вильгельмовские» усы. Вот так же, наверно, вступали когда-то на улицы Лютеции римские легионы, так же шествовали победной поступью английские штурмовые колонны. Сколько же тебе пришлось перенести, Париж, самый свободолюбивый, самый прекрасный город мира!

Нет, Луиза не могла вынести до конца это зрелище, не могла видеть, как усатые, тупомордые вояки, срывая ветви с лавровишневых деревьев, сооружают из них венки и венчают ими свои каски. Но и убежать не имело смысла, зрелище национального несчастья и позора настолько врезалось в память, что его, наверно, невозможно было вытравить оттуда ничем и никогда.

Толпа парижан, стеной стоявшая на валу и баррикадах, окружавших Елисейские поля, молчала, не прозвучал ни один выстрел, не был брошен ни один камень. Но эта немая стена ненависти, встречавшая армию вторжения, была грознее любых криков неистовства и негодования.

Всадники расседлывали коней, пехотинцы составляли пирамидами винтовки, расстилали в тени платанов скатерочки и принимались праздновать — на покоренной земле, в завоеванном городе. Блестели на солнце бутылки и фляги, офицеры стучались в наглухо запертые двери домов. Но лишь одно кафе распахнуло перед завоевателями зеркальные двери. И как Луиза узнала назавтра, ночью бомба превратила это кафе в груды развалин...

Ни раньше, ни потом, в мучительные дни тюрем и ссылки, Луиза не горевала так, как в эти дни. Все, все давило ее горло: и воспоминание о Шарле Демаи, и о детских играх в революцию, и о девочках ее класса, которым она с такой гордостью рассказывала о Жанне д'Арк; и мечты о свержении тирании и о свободной Франции. Представлялось, что наступил конец света, конец всему, доброму и чистому. И она, вероятно, не нашла бы в себе

силы пережить эти часы, если бы не случайная встреча с Ферре.

Оставив подружек, она брела вдоль баррикадного вала, окружавшего зону оккупации, как слепая, как полубезумная. Неожиданно ее окликнул знакомый голос:

— Луиза!

Она остановилась. Хромая на костыле, к ней шел человек с забинтованной головой, с левой рукой на перевязи — видно, солдат, вернувшийся с фронта, из-под Седана или из-под Меца, согбенный болями калека,— узнать в нем Теофиля Ферре было невозможно. Но вот он подошел и легонько прикоснулся к ее руке. И она узнала его.

— Теофиль! Вы?!

— О, нет! Всего-навсего Шарль Жийе, ветеран седанской катастрофы. По счастью, мне удалось избегнуть плена. Но... о чем вы плачете, Луиза?

— Я не могу этого пережить, Тео!

— А вы возьмите себя в руки, Луиза! Через три дня наше хваленое правительство внесет первый взнос контрибуции, и железные каски исчезнут отсюда навсегда. И не забывайте, что Национальная гвардия не разоружена, именно она является единственной силой, способной защитить наш с вами Париж. Не будем же терять надежды...

В этот момент они услышали, что на валу кто-то свистел и улюлюкал, истерически кричали женщины.

— Что там, Тео?

— Сейчас посмотрю. Подождите тут.

Ферре вернулся через пять минут и с улыбкой удовлетворения пояснил:

— Все в порядке, Луиза. С десяток красоточек с площади Пигаль, парадно вырядившись, заигрывали с немецкими офицерами. Так вот там, на валу, задрав им юбки, их всенародно секут розгами. Неплохо, а? И это, поверьте, добрый знак!

Они пошли дальше, и Ферре задумчиво сказал, кивнув на вал:

— Не это самое страшное, Луиза. Через три дня первый взнос контрибуции будет уплачен, и эти чужаки уберутся из Парижа. А наши останутся. И от них нам пощады ждать не приходится. Флурансу, Бланки и Делеклюзу грозит смертный приговор, и, если Трошю и Тьер вернутся сюда, нам с вами придется стоять над свежими родными могилами. Я напомню вам, Луиза, совет, данный Бисмарком Жюлю Фавру: «Спровоцируйте-ка мятеж, пока у вас еще есть силы для его подавления». И — учтите — тот же Бисмарк сейчас возвращает Версалю тысячи плененных при Седане и Меце... Так что нам с вами дело еще найдется. Однако прощайте, кажется, за мной увязался хвост...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Цветы и тернии Коммуны

Германские орудия перестали обстреливать Париж двадцать восьмого января. Город по ночам был погружен в непроницаемый мрак, газ на улицах по-прежнему не зажигали. Луиза те ночи спала спокойно, не приходилось вскакивать после очередного разрыва и бежать тушить пожар, спасать из огня детей и стариков.

Ночь на восемнадцатое марта прошла для нее спокойно, но на рассвете ее разбудили голоса и шум. Схватив ружье, выскочила на улицу, холодно освещенную мартовским рассветом. Крики и шум и грохот железных колес доносились с вершины Монмартра, где стояло около сотни пушек Национальной гвардии.

— Что происходит?! — крикнула Луиза пробегавшему мимо гвардейцу.

— Не знаю! — ответил тот, не сбавляя шага.— Думаю,

что генералы хотят украсть у нас пушки! Об этом давно ходит слух!

Монмартр просыпался, в домах вспыхивал свет, хлопали окна. Толпа, бегущая на холм, росла.

— Они увозят наши пушки! — кричали кругом.

С холмов доносилась тревожная дробь барабанов, сигналы горнистов. Задыхаясь, Луиза вместе с другими наконец-то одолела подъем и все увидела. Два батальона линейных войск Винуа впрягали в передки орудий лошадей, а вокруг бушевала разгневанная толпа. Люди цеплялись за уздечки лошадей, за колеса пушек.

— Как вам не стыдно, солдаты? — кричали женщины.— Мы отнимали у детей последний кусок хлеба, чтобы отлить пушки!

Луиза подбежала к лейтенанту, командовавшему операцией.

— Это подло, лейтенант! Вы не имеете права! Пушки необходимы для обороны Парижа!

— Отойдите, мадам! — сухо приказал лейтенант.— Или я отдам приказ стрелять!

— В женщин?! В детей?! Солдаты не станут стрелять, не подчинятся вам! Вы подлец, лейтенант! Вы служите изменникам!

— Батальон! — разъяренно рявкнул лейтенант.— По мятежникам! Огонь!

— Стреляйте в меня! — кричала седая женщина, раздирая на тощей груди кофточку.— Стреляйте в своих матерей, изверги! Ну! Что же вы медлите? Убийцы!

— Батальон, огонь! — повторял взбешенный неповиновением лейтенант.

Луиза вскинула ружье прикладом вверх.

— Солдаты Франции! Неужели у вас поднимется рука на беззащитных женщин?! Изменники сдают город бошам, а вы служите им! Где ваша совесть, где честь, солдаты?!

Выхватив из кобуры пистолет, лейтенант ткнул им в плечо ближайшего солдата-бородача.

— Ты слышал приказ?!

Бородатый отступил на шаг и вскинул над головой шаспо.

— Отойди, сынок! Или я размозжу тебе голову! Мы не палачи — расстреливать беззащитных!

Один за другим солдаты поднимали над головой ружья прикладами вверх.

— Мы не убийцы!

Побледневший лейтенант обессиленно опустился на лафет пушки.

— Генерал!

Оглянувшись, Луиза увидела группу военных, рысью приближавшихся к артиллерийскому парку, впереди скакал генерал. Элегантный, с отличной выправкой, с лихо закрученными усами, он был красен от ярости. С силой нахлестывая плеткой жеребца, он врезался в толпу.

— Почему не выполняете приказ?! — набросился он на лейтенанта.— Под трибунал!

Лейтенант не ответил, только оглядел солдат, державших ружья прикладами вверх, женщин, вцепившихся в постромки орудий. Генерал проследил за его взглядом, и губы его свела судорога.

— Увезти пушки! — крикнул он.— Огонь по тем, кто окажет сопротивление!

Но бородатый схватил под уздцы коня генерала.

— Хватит, господин Клод Мартен Леконт! Накомандовались! Мало издевались над нами в казармах и походах?! Мало расстреливали нас в сорок восьмом и пятьдесят втором?! Кончилось ваше время, генерал! Долой с коня!

И ружья, только что поднятые прикладами вверх, повернулись штыками к Леконту и его свите. Генерала стащили на землю...

Вернувшись домой, Луиза записала в своем дневнике:
«Леконта схватили, когда он приказал стрелять в толпу. Генерала повели в Шато-Руж, главный штаб Монмартра, на улице Розье. Туда же отправили и Клемана Тома,— этот негодяй, переодевшись в штатское, чертил в записной книжке план расположения монмартрских баррикад. В штабе Леконта заставили подписать приказ об эвакуации войск с холма. А когда генералов вывели из Шато-Руж, на них набросились ожесточенные муштрой и службой солдаты. Гарибальдийский капитан Герпен-Локруа и члены комитета, рискуя жизнью, пытались защитить Леконта и Тома от солдатского самосуда. Но волны гнева были слишком сильны, ружья, казалось, стреляли сами. Клеман Тома и Клод Леконт расстреляны собственными солдатами около четырех часов утра на улице Розье...

Монмартр окончательно пробудился, барабаны били тревогу. В наступавшем свете дня раздавались звуки набата. Мы шли, зная, что нас ждет готовая к бою армия, но шли с мыслью умереть за свободу, если не удастся увлечь за собой солдат Винуа. Если мы умрем, весь Париж встанет. Холм был окутан розовым светом, прекрасной зарей освобождения...»

Такие же события разыгрывались в те часы на высотах Бельвиля и Бютт-Шомона, там народ тоже не позволил солдатам Фарона увезти пушки. Слух о провокации Тьера и Винуа несся по Парижу, поднимая его на дыбы, и уже в середине дня Тьер вынужден был бежать в Версаль. Туда же отведены правительственные войска. Так, в один день почти бескровно победила революция — убито и ранено не более тридцати человек. Арестованные с Леконтом штабные офицеры приказом Ферре и Жаклара освобождены,— будущие коммунары не желали пятнать себя пролитой без суда кровью.

Врезалось в память Луизы выступление Теофиля. Взо-

бравшись па лафет орудия, потрясая над головой шляпой, он призывал:

— На Версаль! На Версаль, товарищи!

О, если бы послушались его призыва, Коммуна, вероятно, не погибла бы так быстро! Но ослепленные легкой победой люди не понимали опасности, которой им вскоре будет угрожать Версаль, да и сама Луиза тоже не все тогда понимала. И даже воззвание Тьера, украдкой расклеенное по Парижу ночью, вызвало у нее лишь ироническую усмешку.

«Правительство Республики не может иметь иной цели, как благо Республики.— Взывал Тьер к населению.— Правительство желало и желает покончить с мятежным комитетом, члены которого, почти неизвестные населению люди, проповедуют коммунистические доктрины. Они способны отдать на разграбление Париж и похоронить Францию».

С омерзением и гневом сдирали генеральские прокламации со стен рабочие и студенты, узнавшие истинную цену словам и обещаниям «правительства национальной измены»!

Тот день запомнился Луизе, словно счастливый, солнечный сон, без единого темного пятнышка. С какой радостной вестью явилась она в госпиталь и как там ликовали! Анри Фонэ ощупью нашел ее руку и поцеловал.

— Теперь можно умереть! Спасибо, милосердная Луизетта!..

А какое возбуждение царило в мэрии Монмартра и во вновь открывшихся клубах: все считали, что победа полная, окончательная. И лишь Ферре и Жаклар держались особого мнения.

Теофиль сказал:

— Боюсь, Луиза, до полной победы далеко. Говорят, что Бисмарк согласен вернуть Версалю взятых в плен под Седаном и в Меце. Вероятно, он вернет их вооружен-

ными, а это четверть миллиона штыков! Ему так же хочется задушить парижскую революцию, как Тьеру и Фавру!

— Ой, какой же вы пессимист, Тео! — со смехом упрекнула Луиза.— Да что они смогут сделать, если Париж свободен, если на днях мы изберем Коммуну и она станет единственной властью в городе?!

Ферре с сомнением покачал головой:

— Не хотел бы я быть пророком, Луиза, по думаю, что нас ждет не одна смертельная схватка!

Луиза собралась возразить Теофилю с обычной своей горячностью, но тут к ним подошел Клемансо, мэр Монмартра.

— Наконец-то я поймал вас, мадемуазель Мишель! — воскликнул он, пожимая ей руку.— Неотложное дело!

— Слушаю, мосье Клемансо! Я готова выполнить все, что от меня потребует революция.

— Дело вот в чем, мадемуазель Мишель. Тысячи беспризорных детей бродят по Парижу, голодают и ночуют где придется. У многих отцы либо погибли, либо в плену. Мэрия округа решила позаботиться о несчастных. Так кому же, как не вам, руководить этим делом?!

— Я предпочла бы сражаться с оружием в руках, мосье Клемансо!

— Но дети — сражение за будущее Франции! Вы не имеете права отказываться!

— Я повинуюсь, гражданин Клемансо! Но оружие остается со мной!

В дни, предшествовавшие выборам в Коммуну, хозяином Парижа был Центральный комитет Национальной гвардии, куда вошли представители почти всех округов Парижа, выборные от двухсот тридцати пяти батальонов, лишь представители буржуазных округов не пожелали работать в нем.

Луиза хорошо знала многих избранных и верила в их

неподкупность и честность, в их готовность отдать жизнь за будущую Коммуну. В одну из встреч с Ферре она сказала ему:

— Вы знаете, Тео, у меня ощущение, что я только что родилась, что лишь теперь началась настоящая жизнь.

И снова Теофиль саркастически усмехнулся:

— Вы не представляете себе, как подл и двуличен мир. Если у вас есть время, пойдемте сейчас со мной. Согласны?

— Конечно, Тео!

Ферре повел Луизу к церкви Нотр-Дам-де-Виктуар. Они спустились с Монмартра и у церкви увидели огромную толпу. За ограду никого не пускали, в воротах несли караул вооруженные гвардейцы 159-го батальона. Командовал батальоном знакомый Ферре, будущий делегат и комиссар Коммуны Ле Муссю. Увидев Ферре, он разрешил ему и Луизе войти и присутствовать при раскопках, которые его батальон вел во дворе церкви.

Следом за Ферре Луиза прошла за церковную ограду.

Отставив шаспо, во дворе орудовали заступами национальные гвардейцы. По краям выкопанной ими длинной ямы лежали трупы — пять женских и один детский, судя по сохранившимся волосам — девочки. А у стены церкви под охраной гвардейцев стояли понурившись четыре священника.

— Я арестовал этих попов,— пояснил Ле Муссю,— и приказал им присутствовать при эксгумации! Пусть полюбуются на дела своих рук, подлые святоши! Если бы не мои гвардейцы, толпа растерзала бы их!

Ле Муссю рассказал Луизе и Ферре, что сегодня в подвалах монастыря Пикпюс, в предместье Сент-Антуан, занявшие его гвардейцы обнаружили трех женщин — оказывается, их держали в заточении под монастырем девять лет! Если к ним вернутся разум и память, они смогут многое открыть.

— Зачем вы меня привели сюда, Теофиль? — с горечью спросила Луиза.

— А затем, мадемуазель, чтобы вы увидели,— сколько у будущей Коммуны скрытых врагов. О, недаром Гюстав Марото писал в своей «Горе»: «Мы знаем, отчего красен каблук папской туфли!» И как тут не вспомнить летучую фразу о «бесстыдно-простом господстве меча и рясы!» Так что, дорогая Луиза, нас ждет серьезная борьба! В Версале Тьер и Винуа с благословения Бисмарка и Вильгельма формируют новую армию... Вот такие новости, мадемуазель...

Ле Муссю приказал запереть священников в подвале церкви.

— Будем всенародно судить их по законам Коммуны,— сказал он.— И пусть кто-нибудь посмеет сказать, что мы не правы!

Да, Луиза, наверно, все не так просто, как это недавно представлялось тебе. Около тридцати буржуазных газет, которые Центральный комитет почему-то не решается прикрыть, поливают комитет грязью и клеветой, и значительная часть Парижа, дрожащая за свою собственность, верит им. От буржуа и бывших сановников трудно ожидать, чтобы они приняли Коммуну.

В ту ночь она спала беспокойно, слова Теофиля не могли не посеять тревоги. На следующее утро кроме «своих», республиканских газет купила пачку буржуазных и прочитала очередной циркуляр Тьера:

«Президент Совета министров, глава исполнительной власти — префектам, начальникам дивизий, старшим председателям судов, генеральным прокурорам, архиепископам и епископам.

Правительство в полном составе собралось в Версале, Национальное собрание находится там же... Власти, как гражданские, так и военные, обязаны исполнять распоряжения лишь находящегося в Версале законного прави-

тельства, иначе они будут рассматриваться как мятежники...»

Да, Теофиль, как всегда, прав: гражданской войны не избежать. Береги ружье, Луиза, оно еще понадобится тебе!

Выборы в Коммуну состоялись в воскресенье двадцать шестого марта. Результаты стали известны через два дня,— такого праздника Париж не видел еще никогда. Среди множества людей, заполнивших Гревскую площадь перед Ратушей, были, конечно, и Луиза, и Мари, и Андре Лео, и Аня Жаклар.

О, с какой гордостью наблюдали они за мерной поступью гвардейских батальонов, вступавших на площадь под грохот барабанов и радостный гром оркестров! Впереди — знамена, увенчанные фригийскими колпаками, на дулах ружей развеваются красные ленты. Гревская площадь приветствует бойцов восторженными криками.

У центрального входа в Ратушу ночью возвели широкий помост, украсили его весенними цветами и флагами, в центре — белый бюст Республики с красным шарфом через плечо. В четыре часа пополудни на помосте появились члены Коммуны, среди них — Ферре и Риго.

— Вот видишь, Луизетта, Большие Гавроши встали у кормила власти! — заметила Мари, размахивая букетом ранних цветов. Сотни букетов летели на помост, куда под гром оркестров один за другим поднимались члены Коммуны.

Но вот смолкли залпы салюта, и на край помоста вышел Габриель Ранвье с листом бумаги в руке.

— Именем народа — да здравствует Коммуна! — торжественно объявил он, поднимая бумагу над головой.— Граждане свободного Парижа! Разрешите огласить имена избранных вами делегатов!

Он громко произносил имена коммунаров, и каждое из них встречалось грохотом аплодисментов:

— Варлен, Бланки, Флуранс, Лефрансе, Делеклюз, Ферре, Верморель, Тейс, Пиа, Журд, Риго, Курбе, Гарибальди, Груссе, Валлес...

Торжественно стояли на помосте члены Коммуны, и, когда называлось очередное имя, названный делал шаг вперед и приветствовал народ поднятыми словно для клятвы руками.

Да, то был день ликования, и Луиза жалела, что мать не видит праздничной церемонии: Марианна осталась с беспризорными детьми, которых Луиза успела подобрать на улицах и разместить в классах своей пустующей школы.

Поздно вечером, вернувшись домой, Луиза рассказала матери все, чему была свидетельницей, и прочитала ей очерк Жюля Валлеса в экстренном выпуске «Крика народа».

Валлес описал события на Гревской площади так ярко, что Луизе ничего не хотелось к его словам добавлять.

«Какой день!

Это нежное и ясное солнце, золотящее жерла пушек, аромат букетов, трепет знамен, рокот этой революции, которая движется, величавая и прекрасная, как голубая река, этот трепет, эти отблески, этот гром медных труб, этот отсвет бронзы, этот пламень надежд, это сияние славы — есть от чего проникнуться гордостью и радостью победоносной армии республиканцев.

О великий Париж!

...Что бы ни случилось, даже если мы снова будем повержены и погибнем завтра,— наше поколение утешено. Мы вознаграждены за двадцать лет поражений и страданий.

Горнисты, трубите! Барабанщики, бейте «встречу»!

Обними меня, товарищ, ты так же убелен сединами,

как и я! И ты, мальчуган, играющий шариками за баррикадой, подойди, чтобы я мог обнять и тебя!

Восемнадцатое марта спасло тебя, сорванец! Ты должен был, как и мы, расти среди тумана, утопать в грязи, истекать кровью, изнывать в позоре, в невыразимой скорби обездоленных!

Теперь с этим покончено!

Мы за тебя проливали кровь и слезы. Ты унаследуешь наши завоевания. Сын отверженных, ты будешь свободным человеком!»

Луиза читала эти звенящие строки, и ей казалось, что они адресованы именно вот этим спящим маленьким гражданам парижских подворотен, отдавшим за Коммуну самое дорогое, что у них было: отцов и матерей. И пусть гибель близких произошла без их на то согласия и против их воли, они представлялись Луизе маленькими героями...

За праздниками неизбежно следуют будни, а будни Коммуны были суровыми и трудными. Вражеская блокада железной петлей стягивала город, душила, грозила в случае длительной осады голодной смертью, лишь южные форты — Иври, Бисетр, Монруж, Ванв и Исси — остались в руках федератов *. Версальская армия, состоявшая вначале из сорока тысяч человек, быстро росла: Вильгельм и Бисмарк возвращали Тьеру плененные в ходе войны дивизии. Вскоре в рядах версальцев насчитывалось около ста тридцати тысяч солдат.

Промедление с выступлением против врага оказалось для Коммуны первой ступенькой к гибели. Лишь третьего апреля, через две недели после переворота, четыре

* Федераты — общее название солдат и офицеров Национальной гвардии.

легиона Национальной гвардии двинулись в поход на Версаль, но и эта запоздалая вылазка была лишь ответом на коварное нападение версальцев, совершенное накануне.

Перед тем как уйти из дому, Луиза сделала в дневнике последнюю торопливую запись:

«Сегодня, второго апреля, Париж разбужен пушечными залпами. Сначала мы подумали, что у пруссаков, окруживших город, какой-то праздник, но, выбежав на улицу, я узнала: это Версаль начал обстреливать Париж. Какие сволочи! В Нейи по дороге в церковь убито шесть девочек-учениц. В соседний дом привезли раненого гвардейца, он рассказывает, что на Париж идут две армии: одна через Монтрету и Вокресон, другая — через Рюойль и Пашшерр. Я беру ружье и ухожу, я не могу более оставаться в стороне».

Марианна обняла Луизу, сказала со слезами:

— Береги себя, доченька! Ты у меня одна!

В штабе 61-го батальона Луиза узнала, что получен приказ: ночью всем явиться с оружием на Марсово поле. Забежав к Натали Лемель, оставила до вечера ружье и заторопилась в Ратушу — повидать Теофиля, поговорить. К счастью, встретила его на площади, он направлялся перекусить в соседний кабачок. Теофиль подтвердил: да, выступление на Версаль назначено на завтрашнее утро. Он был вне себя:

— Эх, если бы восемнадцатого марта сразу кинулись в погоню, мы раздавили бы гадючье гнездо тогда же! А теперь... Ах, как сейчас необходим Бланки!

— Но где же он? Он же избран в Коммуну!

— Увы! Версальцам удалось схватить Старика на юге Франции семнадцатого марта, как раз накануне Коммуны! Он в тюрьме Фижак.

Нахмурившись, Теофиль замолчал, Луиза с грустью смотрела на ввалившиеся щеки, на тонкие, худые пальцы.

— Отражение военного нападения, Луиза, далеко не единственная наша забота. Беда в том, что почти ни у кого из нас нет опыта управления таким гигантским и сложным организмом, как Париж. В Коммуну избраны честнейшие люди, но это — простые рабочие, служащие, журналисты, писатели! Откуда у них опыт управления? А дел по горло! Необходимо было в первый же день вскрыть банковские сейфы, взять деньги. Сейчас представитель Финансовой комиссии Журд жалуется, что ему нечем выплачивать национальным гвардейцам даже жалкие тридцать су в день! А по Парижу снуют переодетые в форму национальных гвардейцев версальские шпионы. Мы с Раулем работаем в Комитете общественной безопасности. Вы не представляете, Луиза, с какими мерзавцами приходится каждый день сталкиваться! Мы отделили церковь от государства, но подлецы в сутанах и монашеских рясах продолжают свое черное дело! А мы слишком многое им прощаем!

— Но ведь Коммуна и должна быть милосердной!

Теофиль ядовито усмехнулся:

— А вы не помните, мадемуазель, кто вызывался собственной рукой прикончить карлика Футрике, то есть Тьера?

— О, я бы и сейчас убила эту гадину не задумываясь!

— А как же милосердие? — расхохотался Ферре. Но тут же лицо его потемнело, он задумался. — Кстати, о жестокости и милосердии! — Он достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги. — Вот полюбуйтесь, как обращаются с пленными федератами в Версале. Заявление передал сегодня на заседание Коммуны гражданин Баррер. Читайте!

И Луиза прочитала:

— «Я приехал из Версаля возмущенный ужасами, которые там увидел своими глазами. С пленными в Версале обращаются неимоверно жестоко. Я видел несколько

человек, окровавленных, с оторванными ушами, с лицом и шеей, изодранными точно когтями диких зверей...»

Вскинув глаза, Луиза посмотрела на Теофиля. И продолжала читать:

— «Военно-полевой суд заседает непрерывно, смерть сотнями косит наших сограждан, попавших в плен. Подвалы, в которые их бросают,— ужасающие ямы, доверенные попечению садистов-жандармов...»

Луиза с отвращением отодвинула исписанный листок.

— Ужасно, Тео!

— Зато правда! А показываю я вам сие, Луиза, чтобы вы там, в бою, проявляя свой неукротимый темперамент, не лезли на рожон. Они и с женщинами расправляются беспощадно.

Луиза едва заметно покраснела: значит, он все же думает, заботится о ней, но ответила непреклонно:

— Я ничего не боюсь! Я буду там, где будет мой батальон!

Ферре торопливо глянул на часы.

— А теперь извините, Луиза, мне пора. Сейчас обсуждаем декрет об аресте в качестве заложников архиепископа парижского Дарбуа и главных его помощничков! И если в Версале не прекратят издевательств над пленными федератами, клянусь жизнью, Луиза, я добьюсь их расстрела.

В кабачок ворвался, размахивая прокламацией, Рауль Риго.

— Привет и равенство, гражданка Луиза! Полюбуйся, Теофиль, какую подлую писанину распространяют по Парижу шпики Тьера и Галифе! Читай!

Ферре прочитал вслух, так чтобы могла слышать и Луиза:

— «Война начата парижскими бандами. Вчера и сегодня они убили у меня солдат. Я объявляю этим убийцам беспрерывную и беспощадную войну... Не забывайте,

что страна, закон и право на стороне Версаля и Национального собрания, а не того сброда, который именует себя Коммуной. Генерал, начальник бригады Галифе».

— Какой сукин сын! — не удержалась Луиза.

— Они все одинаковы! — буркнул, прощаясь, Ферре.

Они с Риго ушли, а Луиза решила съездить в мэрию Монмартра и сообщить Клемансо, что оставляет школу и уходит с батальоном.

Выслушав Луизу, Клемансо горестно покачал головой:

— Ах, мадемуазель Мишель! Но что же мы будем делать, если все женщины последуют вашему примеру?! Так много дел — голова идет кругом! Школы изъяты из-под опеки церковных конгрегаций, вводим всеобщее обязательное обучение! Коммуна усыновила сирот, отцы которых пали в сражениях с Версалем...

— Я не могу поступить иначе, господин мэр,— твердо возразила Луиза.— Порученных мне детей я оставляю на надежных помощниц, за них я ручаюсь! Кто-то же должен защищать Коммуну с оружием в руках! А я достаточно сильна для этого!

Ночь стояла безоблачная. Полная луна бронзовым светом обливала сиреневые громады дворцов и соборов Парижа, блестела на камнях набережных, отражалась в платиновой воде Сены. Вдалеке бухали версальские пушки.

Батальон Луизы прибыл на Марсово поле одним из первых. До выступления, назначенного на три часа утра, оставалось порядочно времени, и Луиза прошла до Сены, постояла на Иенском мосту, под которым искрилась и переливалась лунная рябь. По мосту, гулко топая, шли с пеньем «Марсельезы» на Марсово поле батальоны.

Она приветствовала проходящих мимо гвардейцев, размахивая своим кепи, старалась запомнить только что возникшие стихотворные строки:

Трубный звук раздается в таинственном мраке.
Много товарищей пойдут туда вместе со мною.
Чу! Чьи-то тяжелые шаги.
Это идет человечество будущего; с ним пойду и я.

И заторопилась назад. К счастью, переклички еще не было, старик Луи Моро, рядом с которым она шла сюда с Монмартра, успокоил ее:

— Не тревожьтесь, мадемуазель Мишель: выступать будем не раньше чем через час. Дайте-ка мне ваше ружьецо. Э, да оно совсем старенькое, охотничье! А у меня в запасе есть карабинчик «Ремингтон», который, как мне кажется, придется вам и по руке и по душе. Возьмите!

— Значит, у вас два?! — удивилась Луиза. — Где же вы раздобыли?

— А уж это мой стариковский секрет, мадемуазель! — хитро посмеялся Моро. — Садитесь-ка вот сюда, на бордюрный камешек, отдохнем перед походом.

Луиза присела рядом с ним.

— Что слышно о Марселе и Лионе, мадемуазель Мишель? — спросил Моро, доставая трубочку. — Держатся там коммунары?

— О, мосье Моро, вы задаете тяжелый вопрос! Коммуна Лиона продержалась три дня, до двадцать пятого. В Тулузе и Крезо наших разгромили двадцать седьмого. Но Марсель еще держится...

Загремевшие барабаны и запевшие горны не дали им договорить.

— Ба-та-ль-оны-ы-ы! Стройся!

Гвардейцы вскакивали, разбирали ружья и карабины.

Блестела в лунном свете сталь штыков. Смолкли разговоры, шутки и смех, слышался лишь стук прикладов о землю и топот годильот *.

61-й батальон влился в колонну, двинувшуюся под

* Годильоты — грубые башмаки, обувь национальных гвардейцев (*фр.*).

командой Эда на юг, а легион Флуранса направили к форту Мон-Валерьен, занятый версальцами еще двадцать первого марта.

Один за другим покидали батальоны Марсово поле. Громкое пение «Марсельезы» будило Париж, хлопали форточки и окна, из подъездов выбегали мальчишки и женщины.

Батальон Луизы остановили у форта Исси, и, хотя многих удивила задержка, никто не роптал,— видимо, остановка вызвана необходимостью. Остаток ночи Луиза и ее товарищи провели в иезуитском монастыре, расположенном рядом с фортом. Монахи покинули монастырь в страхе перед надвигающимися боями.

На рассвете Луиза обошла форт. Зубчатые стены и башни выглядели словно иллюстрации к старинной сказке, в розовом свете занимающегося дня они были просто великолепны, даже брешь, пробитая снарядом, не портила, а как бы даже украшала их. По истертым каменным ступеням Луиза поднялась на одну из башен,— часовые бодрствовали, наблюдая за опушкой зеленевшего невдалеке Медонского леса. Один из них пояснил Луизе, что часть леса вырубили еще при первой, прусской, осаде, чтобы затруднить наступление врага.

— Беда, мадемуазель, снарядов у нас маловато! — вздохнул часовой.

Вернувшись с восходом солнца в монастырь, Луиза выпила из жестяной манерки свою порцию кофе и съела сухарь — завтрак коммунаров.

Вскоре они получили приказ закрепиться в местечке Кламар неподалеку от леса,— вокзал Кламара непрерывно обстреливался версальцами из орудий и митральез. Незадолго до получения приказа в форт прибыла делегация женщин с простреленным пулями красным знаменем, они хранили его со дня подписания перемирия.

Вместе с другими женщинами в Исси пришла давняя

подруга Луизы Викторина Эд, ее привело сюда не только чувство патриотизма, но и тревога за брата, возглавлявшего легион. Передав знамя батальону, почти все женщины остались в лазарете форта.

Кламар — верстах в трех от форта, батальон прибыл туда в начале дня. Пригород оказался почти безлюден, во многих местах полыхали пожары, вызванные зажигательными снарядами, зарево Луиза видела и ночью. Часть батальона под командованием Луизы направили на оборону вокзала,— ему здорово доставалось от пушек врага. Луиза расположила людей у окон и пробитых снарядами брешей: отсюда хорошо просматривалось пространство между городком и лесом. Гвардейцы вели себя спокойно, но один толстенький человечек, вступивший в Национальную гвардию, как выяснилось, лишь для того, чтобы порисоваться перед молоденькой женой, трусил безбожно, вздрагивал и бледнел при каждом разрыве. Так противно было видеть его дрожащие руки и губы, что Луиза решила избавиться от него. На вырванном из записной книжки листке написала Эмилю Эду, с которым была хорошо знакома.

«Милый Эд! Не можете ли вы отправить этого дурака в Париж? Тут он только наводит мне панику... Будьте добры, уберите его. Л. Мишель».

Ночью молодой торговец с большими голубыми глазами, похожий на деревенскую девушку, принялся уверять Луизу, что им следует сдать Кламар, поднять над крышей вокзала белый флаг,— в таком случае им сохранят жизнь.

— Вы изменник и трус! — безжалостно бросила ему Луиза.— Да вы знаете, как они пытают и мучают федератов, попавших в плен?!

— Это тех, кого берут с оружием в руках! — упорствовал трус.— Возьмите для флага мою рубашку!

— Негодяй! — взорвалась Луиза.— Посмейте сделать

что-либо за моей спиной — и я пристрелю вас как собачонку! Или взорву вокзал вместе с собой и вами!

Выхватив из единственного в здании фонаря горящую свечу, она направилась к помещению, где хранились запасы пороха и картечи для митральез.

— Сейчас же отправляйтесь к орудию, ваше место там!

В ужасе оглядываясь на нее, молодой человек побежал к двери. Луиза наблюдала через окно, как он, согнувшись, пробирался к митральезе, чтобы укрыться за ее железным щитом. Однако утром, пройдя по батарее, Луиза его не обнаружила.

— Он, наверно, есть дезертир,— сказал Луизе Томми, единственный в батальоне негр, блестя в улыбке белыми, крупными зубами.— Сейчас он держится за мамин подол! А вы, мадемуазель Мишель,— смелый друг!

Позднее Луиза то и дело убеждалась, что самыми отважными солдатами Коммуны являлись рабочие, недаром же Монмартрский округ дал более двадцати тысяч гвардейцев, в то время как аристократический шестнадцатый округ — в сорок раз меньше.

Наблюдая своих товарищей, Луиза не раз вспоминала статью «Солдаты идеи», где Андре Лео писала: «Когда пробегаешь список наших убитых и раненых, жгучая боль сжимает сердце. Возле имени каждого стоит обозначение его профессии: Никола Шатлен, сапожник, четверо детей; Марсэ, кузнец; Луи Даниель, каменотес, двое детей; Луи Эно, столяр, четверо детей; Ютт, чернорабочий, и так далее. Сражается главным образом рабочий. Солдат нынешней революции — народ».

За два месяца боев Луиза и сама не однажды проявляла храбрость и бесстрашие, вела себя так, словно была заговорена от пуль, от осколков, от картечи. И началось это там же, в Кламаре.

...В тот день версальские батареи вели по Кламару

сильный огонь и под его прикрытием бросили на развалины и баррикады городка два отборных полка. Федераты не смогли устоять и отошли под защиту пушек форта Исси. Окруженная пламенем разрывов, Луиза вынесла из боя раненого старика Моро, хотя он умолял оставить его:

— Я стар, мадемуазель Мишель, и мне не страшны ни смерть, ни пытки. А вы молодая, вам — жить!

— Помолчите, Моро! Я не могу бросить вас на растерзание!

Да, она сражалась наравне с мужчинами, несла караулы и спала в ночь по два-три часа, бинтовала раны, сидела возле умирающих, хоронила мертвых. Именно здесь ее впервые назвали «Красной девой Монмартра».

Больше месяца батальоны Монмартра удерживали форт Исси, и лишь девятого мая версальцам удалось выбить его защитников. Поредевший 61-й батальон отступил к форту Ванв, по которому версальские орудия били прямой наводкой с плато Шатийон.

В Ванв Луиза узнала о трагедии, разыгравшейся на Шатийоне в начале апреля. Батальоны Дюваля были окружены на плато полками жандармов. После отчаянных попыток пробиться к фортам, Дюваль, желая спасти жизнь оставшимся гвардейцам, вступил в переговоры с жандармским полковником и, получив заверение, что всем пленным — а их было около двух тысяч — будет сохранена жизнь, приказал подчиненным сдать оружие. И когда федераты сложили шаспо и сабли, все они до одного были застрелены, заколоты штыками. Дюваля и командира отряда добровольцев, сражавшегося вместе с ним, обезоружив, отогнали в сторону,— сквозь строй палачей они наблюдали смерть товарищей. Дюваль поседел за этот час. Скоро по приказу генерала Винуа и их расстреляли.

Здесь же, в Ванв, Луиза услышала о трагической ги-

бели Флуранса под фортом Мон-Валерьен, по подробностей никто не знал. В ответ на убийство Флуранса ветераны Бельвиля создали добровольческий отряд «Мстители Флуранса», и не одна жандармская голова слетела с плеч, провожаемая криком: «Это тебе за Гюстава, сволочь!»

В течение апреля и мая, до генерального наступления версальцев на Париж, Луизе лишь дважды удалось побывать в Париже, хотя она истомилась от желания повидать мать, встретиться с Теофилем, услышать новости.

Когда после разгрома форта Исси она перешла в Монруж под командование Ла Сесилиа, он отправил ее в Военную комиссию с требованием доставить патроны для ружей, порох и ядра для крепостных орудий. Передав требование, Луиза пешком добралась до улицы Удо — фиакры исчезли из обихода Парижа, обняла расплакавшуюся Марианну.

— Ты жива, доченька?! — бормотала та сквозь слезы.— Жива! А кругом такие ужасы рассказывают про их зверства, просто волосы дыбом! Хоть бы изредка весточку посылала!

Кое-как успокоив мать, Луиза пошла с ней в школу, где жили сироты. Мэр Клемансо выполнял обещание — дети были сыты.

— Одна беда, Луизетта,— жаловалась Марианна,— их невозможно удержать, все рвутся туда, к фортам, на баррикады! Убегают и являются раз в два-три дня — поесть. Вот полюбуйся на Жака Трейара, пропадал три дня!

— Зачем ты так делаешь, Жак?! — с напускной строгостью спросила Луиза. В глубине души но только понимала и прощала ясноглазого паренька, но считала, что он и не может поступать иначе.

Двенадцатилетний Жак Трейар посмотрел на Луизу с недетской серьезностью.

— Но ведь я обязан отомстить за отца, мадемуазель

Луиза! Они прибили его штыками к дереву в Булонском лесу!

Луиза наклонилась, поцеловала исцарапанный лоб.

— И где же ты бываешь, малыш? — спросила она.

— На баррикадах моста Нейи! Туда я проводил отца последний раз.

— И что делаешь?

— Приношу бойцам воду или кусок конины из кабачка. Иногда мне дают выстрелить из шаспо. Мне кажется, мадемуазель Луиза, я прикончил одного жандарма! А дядя Габриэль завещал мне ружье, если его убьют!

Луиза невольно улыбнулась:

— И тебе, наверно, хочется, чтобы его поскорее убили?

— О, как можно, мадемуазель Луиза! — возмутился Жак.— Он хороший! Я мечтаю,— Жак понизил голос до шепота,— подползти ночью к мертвому жандарму и взять карабин. Тогда стану стрелять рядом с дядей Габриэлем!

Луиза еще раз поцеловала мальчишку.

— Ты молодец, Жак!

Марианна в отчаянии всплеснула руками:

— И это вместо того, чтобы запретить ему бегать, Луиза! Да ведь если так пойдет дальше, скоро и семилетние отправятся на баррикады!

Луиза обняла мать.

— Это — народ Парижа, мама! Народ, который нельзя победить!

На прощание Марианна рассказала, что недавно водила свою «команду» на бульвар Вольтера, где сожгли гильотину.

Теофиля Луиза застала в одном из кабинетов Ратуши, он еще более похудел, но глаза пылали непримиримо. Он обрадовался Луизе, и на нее нахлынула волна благодарной нежности.

— Чем заняты, Тео?

— Готовлюсь к заседанию Коммуны.

— Чем-то недовольны?

— А-а,— Ферре раздраженно махнул рукой.— Нет единства, Луиза! Раскололись на «большинство» и «меньшинство», одни тянут в одну сторону, другие — в другую. Версальцы убивают наших пленных тысячами, а я не могу расстрелять одного монсеньора Дарбуа, хотя он сто раз заслужил смерть! Будь моя воля, я бы не расстреливал этих лицемеров в сутанах, расстрел — слишком благородная для них казнь. Я вешал бы их на грязных веревках!

Луиза никогда не видела Теофиля таким ожесточенным.

— А о чем совещаться?

— Да множество дел! О продуктах, о строительстве баррикад, о памятнике Флурансу...

— Вам, Тео, известны подробности его гибели?

— О да! Он умер мужественно, как и прожил всю жизнь. Вы, наверно, знаете, он боролся за освобождение Крита от турок, выступал против бонапартовского вторжения в Рим, десятки раз сидел в тюрьмах. И в предсмертный час он не струсил!

— Как же это случилось?

— Во всем виноват проклятый пьяница Люлье! Он заверил Военную комиссию, что форт Мон-Валерьен сохранит нейтралитет, и форт подпустил федератов Флуранса под стены. И вдруг открыл по ним орудийный и ружейный огонь. За подобную провокацию полагается расстреливать без суда, а Люлье посадили на гауптвахту, откуда он через два дня спокойненько удрал! — Ферре нервно откусил кончик сигары, торопливо закурил.— Когда федераты отступили от Мон-Валерьена, Флуранс и его адъютант Чиприани укрылись в гостиничке некоего Лекока, а этот мерзавец выдал их жандармам. Ну, схватили! При обыске нашли в кармане письмо: «Г-ну Флурансу. Париж, улица д'Агэссо». Жандармы возликовали:

сам Флуранс, несказанная любовь Бельвиля, попал им в лапы! И капитан Демаре саблей рассек череп Гюстава. Мозг вылетел на землю... Один из скотов осмелился пнуть этот великолепный мозг ногой, захохотав: «Вот чем он думал про свою поганую Коммуну, болван!»

Помолчали, Луиза спросила:

— Откуда подробности?

— Да ведь бельвильские мальчишки бегали за Гюставом как привязанные, все были влюблены в него. Они и видели! Пришли сюда и рассказали.

— Он был выдающимся ученым,— вздохнула Луиза.— Какие великолепные лекции по естественной истории читал он в Коллеж-де-Франс!

— А сего ученого швырнули на телегу, что возит навоз, на его тело взвалили тяжело раненного Чиприани и увезли в версальское логово. О, сегодня я постараюсь добиться расстрела монсеньора Дарбуа и его дружков! Гюстав и Дюваль не останутся неотомщенными! Клянусь! Мы с Раулем на каждом заседании настаиваем на применении террора к заложникам, но слишком много в Коммуне мягких душ!

Луиза промолчала, кусая губы.

Ферре выдвинул ящик письменного стола, достал небольшой кусочек белого картона.

— Приходите шестнадцатого на Вандомскую площадь любоваться, как рухнет колонна. Этот символ жестокой силы и ложной славы! Вот пропуск!

И опять помолчали.

— А как вы, Луиза? — спросил Ферре.

— А, мне осточертело воевать из-за каменных стен форта. Хочется открытого боя, лицом к лицу. Если комиссар Коммуны разрешит, пойду на баррикады, в батальон того же Жаклара, там, наверно, не сидят без дела.

— Неугомонная вы душа, Луиза! И извините, мне пора! Итак, шестнадцатого у императорской колонны.

— Да! А как Мари, Тео? Я не виделась с ней целую вечность!

Ферре помрачнел.

— Мари больна, Луиза. Вторую неделю. Вы навестили бы.

— Обязательно, Тео!

Луиза побывала в редакции «Социаль», повидалась с Андре Лео, передала ей статью о боях за форты Исси и Ванв. Вечером забежала к старикам Ферре, но с Мари разговаривать не пришлось: девушку мучил жесточайший приступ лихорадки. Луиза посидела возле больной, подержала ее пылающую руку.

— Так обидно,— шептала запекшимися губами Мари.— Все сражаются, а я не могу доковылять до порога!

— Как Рауль? — спросила Луиза.

— Работает день и ночь. Прокурор Коммуны!

— Передай привет, когда увидишь!

Дом Ферре Луиза оставила с тяжелым сердцем: она ничем не могла помочь Мари.

День шестнадцатого мая, или двадцать шестого флореаля — по календарю Республики, стоял удивительно солнечный и ясный, если бы не грохот версальских пушек, можно было бы порадоваться изобилию тепла и света.

Луиза пришла на площадь вместе с Анней Жаклар и Андре Лео. Аня привела с собой еще одну русскую, Елизавету Дмитриеву, темноглазую и стройную красавицу, приехавшую в Париж по поручению Маркса — информировать его о ходе борьбы. В отваге русская красавица не уступала самой Луизе Мишель и сразу же пришлась ей по душе. Не спеша женщины обошли площадь, постояли у кабестана — от него к бронзовой фигуре Наполеона на вершине колонны тянулись пять или шесть канатов. На стенах белел расклеенный декрет Коммуны:

«День двадцать шестого флореаля будет славным в истории, так как знаменует наш разрыв с милитаризмом, кровавым отрицанием всяких прав человека.

Первый Бонапарт принес в жертву своей ненасытной жажде господства миллионы детей народа. Он задушил Республику, сперва поклявшись защищать ее. Он хотел заклепать ошейник на шее народа, чтобы тщеславно царствовать одному среди всеобщего принижения.

Пусть каждый твердо знает: колонны, которые воздвигнет Коммуна, никогда не прославят какого-нибудь исторического разбойника, но запечатлеют в памяти потомства славные завоевания в области науки, труда или в достижении свободы.

С этого момента Вандомская площадь будет называться Международной».

Наблюдать за свержением колонны явились многие члены Коммуны, они стояли на балконе министерства юстиции, опоясанные красными шарфами с золотыми кистями. Красные флаги трепетали на балконах. Духовые оркестры легионов играли «Марсельезу» и «Карманьолу».

В начале улицы Мира, в сторону которой канаты должны были повалить бронзовую громадину, у дверей кабачка Луиза увидела Курбе. Несмотря на солнечный день, он надел синий редингот. Как всегда, художник был громогласен и немного хмелен, тут же стояли редакторы «Папаши Дюшена» Вермерш и Вийом.

— Они грозятся меня убить, мадемуазель Мишель! — прокричал Курбе Луизе вместо приветствия и, повернувшись, погрозил суковатой палкой группе наполеоновских ветеранов,— они пришли в траурных повязках на рукавах парадных мундиров, нацепив ордена и регалии.— Читайте, что передал мне один из этих хлюстов!

Курбе протянул Луизе скомканный лист бумаги.

— «В тот день, когда мой император падет со своего

пьедестала, оборвется нить твоей жизни, презренный убийца! Ты тоже настаивал на свержении!»

И Курбе, торжествуя, прокричал на всю площадь:

— Да если эти плюгавые и замшелые старикашки нападут на Курбе целым легионом, он успеет своей палкой проломить не одну дурацкую башку. А в сем кабачке пируют друзья великого Курбе, они помогут ему.

Наконец, приглушенные громом оркестров и шумом многотысячной толпы, прозвучали слова команды. Луиза не расслышала их, а догадалась по тревожной дроби барабанов, обычно такую дробь барабанщики выбивают во время публичных казней. Подчиняясь взмаху руки дирижера, оркестры все вместе грянули «Марсельезу».

На самый верх колонны по внутреннему лазу поднялся майор Симон Мейер. Ему поручили снять с вершины водруженный там восемнадцатого марта красный флаг Коммуны и заменить трехцветным флагом Империи,— продемонстрировать его падением крушение ненавистного режима.

Наматываясь на кабестан, канаты натягивались точно гигантские струны,— увлекаемая ими, подрубленная со стороны улицы Мира колонна должна свалиться на специально насыпанную песчаную подушку.

Напряжение на площади и в прилегающих улицах возрастало по мере того, как канаты натягивались, но вдруг... один из канатов с пушечным гулом лопнул, следом порвались и остальные. Концы канатов, привязанные к вершине колонны, отлетели к ней, а обрывки, прикрепленные к кабестану, извиваясь, словно чудовищные змеи, хлестнули толпу. Музыка смолкла, и площадь ахнула будто одной грудью. Лишь престарелые наполеоновские ветераны рукоплескали, восторженно крича:

— Виват, император! Виват, Наполеон!

— Мало подрубили уродину! — раздавались голоса.

Прошло не менее двух часов, прежде чем привезли

новые канаты, и гвардейцы, поднявшись на вершину колонны, снова укрепили их вокруг ног бронзовой фигуры цезаря девятнадцатого века. «Как поразительна у иных жажда единовластия и как страшна,— думала Луиза.— В миллионы и миллионы жизней обошлись человечеству атиллы и чингисханы, македонские и наполеоны всех мастей, даже такие сморчки, как Баденге».

За два часа ожидания никто не ушел с площади. Поклонники Наполеона ликовали, утверждая, что отлитая из металла вражеских пушек колонна и не может быть повалена, ибо венчает военную славу и гордость Франции. Луиза насмешливо крикнула, обращаясь к одному из генералов:

— А вы, мосье, подойдите к колонне и загляните в щель подруба со стороны улицы Мира. Эта уродина сложена из желтого песчаника, а металлическая облицовка не толще двух сантиметров! Вы, мосье...

Курбе не дал Луизе договорить:

— Да бросьте вы их, мадемуазель! Воспользуемся перерывом и утолим жажду! Пойдемте!

Он утащил Луизу в кабачок, из окон которого была видна вся площадь,— там и расположились художники. Многих прежних друзей, в том числе и Камилла, Луиза здесь не нашла, но, однако, были и знакомые: в мастерской Курбе она встречала и Франсуа Милле, и художника по тканям Эжена Потье, и скульптора Жюля Далу, и кое-кого еще. Сейчас они обсуждали предложения Курбе, председателя Комиссии изящных искусств, по охране парижских сокровищ. Надежно защищены от снарядов кони Марли на Елисейских полях, барельефы Триумфальной арки, фонтан Невинных, под охрану взяты Лувр, Люксембургский музей, музей Гобеленов и музей Клюни.

— О, неистовый Гюстав знает, что делать, мадемуазель Мишель! — одобрительно воскликнул Эжен Потье, похлопав Курбе по массивному плечу.— И учтите, он лей-

тенант батальона Национальной гвардии! Но, к сожалению, полотна свои мэтр забросил!

Курбе решительно вскинул голову:

— Они могут воевать против нас хоть десять лет, но в Париж не войдут! А если мы это им позволим, Париж станет их могилой!

Он налил и подвинул Луизе стакан, и она, не смея отказаться, пригубила терпкое, горьковатое мартини. А Курбе залпом опорожнил кружку и, стукнув ею по столу, громогласно изрек:

— Слава дьяволу, вина у нас вдосталь, хотя по милости живоглотов Версаля мы жрем конину и черный хлеб!

И все же под обычной шумливостью Курбе угадывалась затаенная горечь.

— Вы чем-то огорчены, мэтр Гюстав?

Курбе мрачно кивнул:

— Вчера я проводил на Пер-Лашез Шарля Гюго, сына моего великого друга. Я разделяю его скорбь!

— Шарль умер?

— О да, мадемуазель! Отказало! — Курбе похлопал себя могучей ладонью по левой стороне груди.— Не могу передать, как потрясла Виктора эта утрата! На пути к Пер-Лашез бойцы разбирали баррикады, чтобы пропустить процессию! Тысячи, десятки тысяч людей!.. Но довольно о скорби, мадемуазель! Я привык делить с друзьями радости, а горести несу один!

И, разливая по бокалам вино, принялся рассказывать о делах Коммуны.

— Вчера я и мои друзья — Варлен, Валлес, Верморель, Бенуа Малон и другие, так называемое «меньшинство» — вышли из правительства Коммуны, мадемуазель! Мы возражаем против диктаторских притязаний Коммуны, считаем, что лишь народ представляет суверенную власть, а Коммуна — только представительница его! Она

узурпирует власть народа, если пытается создать диктатуру! Хватит с нас диктатур!

Порывшись в глубочайших складках своего редингота, Курбе достал, набил и закурил трубку. Помолчав, Луиза вытащила из кармана смятый газетный лист. Это были «Версальские ведомости» трехнедельной давности.

— А что вы скажете на это, мэтр Гюстав?

Курбе медленно и мрачно прочитал вслух:

— «В этот момент мы ставим на карту Францию. Время ли сейчас заниматься литературными упражнениями? Нет, тысячу раз нет! Мы знаем цену этому красноречию. Поступайте, как поступали в подобных обстоятельствах великие энергические народы: «Не надо пленных!» Зачем вы носите в кармане такую мерзость?

— Они убивают наших пленных тысячами, словно скот на бойне! Я согласна с Ферре: на жестокость — жестокостью!

Через плечо сидевшего у окна Жюля Далу Луиза наблюдала за площадью. На вершине колонны, у подножия фигуры Наполеона, копошились маленькие человеческие фигурки, спускали оттуда новые канаты. Их протянули и прикрепили к кабестану.

Достав записную книжку, Луиза торопливо записала:

Тиран, взобравшийся на ходули!
Если бы вся кровь, которую ты пролил,
Могла собраться на этой площади,
Ты мог бы пить ее, не нагибаясь!

— Пора! Сейчас начнут!

И посетители кабачка поспешили к выходу. Канаты уже протягивались над толпой, и то тут, то там заключались пари: свалится ли на сей раз бронзовый идол? Канаты натянулись. Площадь умолкла, было слышно дыхание тысяч людей. Замолчали оркестры и барабаны, не пели «Марсельезу», лишь одинокий голос прозвучал там, где стояли ветераны:

— Держись, гений Франции! Стой, император!

Но вот вершина колонны вздрогнула, качнулась в сторону кабестана и, словно огромное дерево, подрубленное топорами дровосеков, стала опрокидываться.

— Падает! Рушится! — тысячами голосов загремела площадь.

От тяжеленного удара ухнула и вздрогнула земля. Металлическая облицовка с рельефным изображением победных сражений «маленького капрала» лопнула, и каменная туша колонны развалилась на глыбы, желтая пыль облаком поднялась над ними. А у бронзового идола, свалившегося с вершины, при ударе отскочила и откатилась к тротуару увенчанная лавровым венком голова. Отломилась и рука, державшая крылатую статую Победы.

Бронзовая голова, кивая надменным профилем, подкатилась к ногам Курбе и его друзей.

— Одно из знаменитых творений бездарного Огюста Дюмона! — прорычал Курбе, пнув обломок статуи носком башмака. — Лишь тем и занимался, дурак, что наряжал в римские тоги великих разбойников! Я предлагал демонтировать эту помпезную махину и установить ее в центре эспланады Дворца Инвалидов, тогда наполеоновские вояки, может, уразумели бы, благодаря кому заработали свои деревянные ноги!

Луиза оглянулась в сторону ветеранов, оттуда доносились сдавленные рыдания.

— Пойдемте, мадемуазель Мишель, здесь больше нечего делать. Не будем же мы подбирать на память бронзовый и каменный мусор!

Прямо с площади Луиза забежала к Мари. Девушке стало лучше, но слабость, вызванная неделями болезни, приковала ее к постели. Луиза рассказала о свержении колонны, о том, что в ответ на ультиматум Тьера Коммуна решила снести его особняк на площади Святого

Георгия. Решено также разрушить и искупительную часовню Людовика Шестнадцатого.

А Версаль готовился к решающему штурму Парижа. Ежедневно из немецкого плена возвращались полки, а то и целые дивизии; новыми добровольцами пополнялись отряды бретонских мобилей; из соседних департаментов стягивались полицейские силы. По выражению одного журналиста, «городок так набит солдатней, что некуда плюнуть!».

Но кое-кто из членов Коммуны продолжал наивно верить, что Тьер и его банда не решатся начать междоусобную гражданскую войну перед лицом внешнего врага, оккупировавшего больше трети страны и стоявшего под стенами столицы. В Версале устраивали роскошные балы и пышные парады, празднуя взятие фортов Исси и Ванв, а в самих фортах велись спешные работы: пушки, недавно защищавшие Париж, теперь нацелились на город. В фортах устанавливали привезенные с побережья дальнобойные морские орудия.

На следующий день после свержения колонны взлетел на воздух патронный завод на улице Рапп. Риго утверждал, что взрыв — дело версальских агентов, и, хотя доказательств тому не нашли, никто не сомневался, что прокурор Коммуны прав.

С разрешения Делеклюза, гражданского делегата по военным делам, Луиза не вернулась в 61-й батальон, стоявший после падения форта Ванв в форте Монруж, попросилась в легион, сражавшийся под началом Домбровского. Этот польский революционер, приговоренный в России к смертной казни за участие в восстании шестьдесят третьего года, руководил обороной западных окраин Парижа, а его друг Валерий Врублевский, тоже русский смертник, оборонял юг.

«Да, в Нейи, кажется, жарко! — думала Луиза, пробираясь по перегороженным баррикадами и изрытым сна-

рядами улицам. Канонада гремела по всему фронту. — Здесь я не буду чувствовать себя в мышеловке».

Она вздрагивала от негодования, вспоминая рассказ о зверском надругательстве версальцев над попавшей к ним в плен санитаркой федератов, о ее мученической гибели. О, как Луиза согласна с Теофилем: за смерть каждого пленного нужно расстреливать трех заложников, этих кровных врагов Коммуны — буржуа, попов и шпионов. «Вчера, — говорил Тео, — на заседании Коммуны опять до крика спорили о декрете пятого апреля. Но противники расстрела заложников твердят одно: «У Коммуны должны быть чистые руки! Мы не можем проливать кровь невинных, ведь заложники сами-то не проливали крови!» — «А монастырь Пикпюс забыли?! — крикнул Риго.— А Нотр-Дам-де-Виктуар? Это пострашнее, чем просто убийства!»

Да, в Нейи шел бой. Развороченные мостовые, пылающие гигантскими кострами дома. Горел и тот дом, откуда в январе прошлого года провожали в последний путь Виктора Нуара. А на баррикаде неподалеку Луиза с радостью увидела старых друзей: Анюю Жаклар и Елизавету Дмитриеву, эти русские женщины тоже сражались с карабинами в руках. Над баррикадой трепетало простреленное во многих местах красное знамя.

Женщины расцеловались,— они не виделись с третьего апреля! Луизу забросали вопросами — как Мари? Тео? Рауль? — но у Луизы был срочный пакет Домбровскому.

— Где генерал?! Я сейчас же вернусь! Где штаб?! Хотя, погодите, должна же я подстрелить хотя бы одного мерзавца!

Приладив карабин между булыжниками баррикады, Луиза старательно прицелилась в смутно различимую сквозь дым пожара фигуру. Отдача выстрела привычно толкнула плечо, и одновременно тот, в кого целилась,

судорожно выпрямился, взмахнул рукой и, роняя шаспо, опрокинулся навзничь.

— Есть! Отправился в преисподнюю! — Спрыгнув с камня, Луиза выхватила из кармана карандаш и с силой черкнула по прикладу карабина.

— Ого! — в один голос воскликнули Аня и Дмитриева, взглянув на ее отметки.— Вы изрядно потрудились, Луизетта!

— О, эти негодяи запомнят Луизу Мишель! Так где же Домбровский?

Ей объяснили:

— Главная штаб-квартира генерала — на Вандомской площади, а полевой штаб — в замке Ла-Мюэтт. Но сейчас он совещается с командирами батальонов здесь, в Нейи, в кирпичном двухэтажном особняке.

Луиза побежала туда, подпялась на второй этаж. Все окна в здании были выбиты взрывной волной.

У Домбровского шло совещание. Над разостланным на столе планом Парижа склонились головы в офицерских кепи, поблескивало серебро нашивок и галунов. Шарль Жаклар тоже оказался здесь — командовал 158-м батальоном. Он первый заметил появившуюся на пороге Луизу. Не удержался от удивленно-радостного восклицания, и, словно по команде, все столпившиеся у стола повернулись к двери.

— Это Красная дева Монмартра, генерал! — сказал Жаклар, шагая навстречу Луизе.— Она же — мадемуазель Мишель!

Луиза прошла к столу, протянула пакет:

— От гражданина Делеклюза, генерал!

Домбровский вскрыл пакет, пробежал глазами короткую записку. Пока читал, Луиза отошла к Жаклару, он с радостной и нежной силой пожал ей руку.

— Где пропадали, Луиза?

— Защищала форты Исси, Ванв, Монруж. Теперь

попросилась к вам,— вероятно, именно здесь предстоят самые жестокие бои.

Оглянувшись, встретилась взглядом с генералом, тот смотрел с пристальным вниманием.

— Вы правы, мадемуазель Мишель! Именно здесь! — Он постучал костяшками пальцев по очертаниям кварталов Нейи на плане Парижа.— Здесь! — И быстро оглядел командиров.— Совещание окончено! По местам, граждане! И помните, мы должны быть готовы к штурму! Нам обещают три резервных батальона. В случае крайней нужды пришлю подкрепление. Все!

Командиры разошлись, в кабинете остались только штабные офицеры, адъютанты и Жаклар, разговаривавший с Луизой.

Она снова поймала пристальный взгляд Домбровского.

— Вы что-то очень худы, Красная дева! — сказал он полушутя-полусерьезно.— Вы сегодня ели?

Луиза почувствовала, что краснеет.

— Не помню. Кажется, нет.

— Я так и полагал! Валериан! — Домбровский повернулся к светловолосому, синеглазому адъютанту.— У нас найдется чем накормить Красную деву?

— Конечно, генерал. Есть конина, хлеб, рыба.

Вероятно, лицо Луизы выражало удивление: в Париже было трудно с продуктами. Домбровский хмуро пояснил:

— Я конфисковал в ресторанах и магазинах подчиненных мне округов все излишки! Не могу же я допустить, чтобы мои гвардейцы падали у баррикад в голодные обмороки! Пусть осудит меня, кто посмеет!

Адъютант генерала принес из соседней комнаты тарелку с мясом и хлебом, поставил на столик посреди комнаты, подальше от окон, за которыми гремели выстрелы и клубился дым.

— Побегу! — сказал Луизе Жаклар.— Дела.

— Я следом за вами — на баррикаду.

— Да, оставайся в батальоне! У меня уже десятка три таких героинь! Будешь воевать рядом с Аней.— Он и сам не заметил, как перешел в разговоре с Луизой на «ты».

Жаклар ушел, а Домбровский жестом пригласил Луизу к столику.

— Прошу! — И с укором добавил: — Валериан! А стакан вина! Или, может быть, мадемуазель...

— О, с радостью! Это так подкрепляет!

Появился и стакан вина.

— Да! — спохватился генерал.— Я не познакомил вас! Мой не только адъютант, но и друг Валериан Потапенко.

Пожимая руку молодому человеку, Луиза с удивлением отметила: «И этот русский. Видно, Россия — такой же пороховой революционный погреб, как моя Франция!»

Она с аппетитом не то завтракала, не то обедала и исподтишка наблюдала за Домбровским. Присев к столу, он писал донесение Делеклюзу, не обращая внимания на орудийный гром, на близкие разрывы снарядов, на щелканье пуль за окном. Но вот он встал.

— Валериан! Донесение отправить. А мне — коня! Объеду баррикады, через час — в Ла-Мюэтт.— И улыбнулся Луизе: — Подкрепились?

— Благодарю, генерал.— Она тоже встала.— С вашего разрешения, генерал, я поступаю в батальон Жаклара.

— Привет и братство! Мы еще увидимся, Красная дева!

Ей почудилось, что в обращении к ней — Красная дева! — звучит дружеская, благожелательная ирония, но, может быть, она и ошибалась.

Весь день между позициями Версаля и баррикадами Нейи шла артиллерийская и ружейная перестрелка, но потерь у федератов почти не было.

К вечеру на баррикаде появилась Андре Лео. «Социаль» требовалась статья о положении на фронтах, особенно на участке Домбровского, и Андре пешком пробиралась от баррикады к баррикаде. Генерала в полевом штабе она не застала, и ей пришлось удовлетвориться рассказом Луизы о разговоре с ним.

— Он полагает, что со дня на день следует ожидать штурма,— заключила Луиза свой коротенький репортаж.— И отметь в статье: версальцы непрерывно стреляют разрывными пулями и ядрами, начиненными керосином. Видишь, половина Нейи в огне.

Перед тем как уйти, Андре передала Луизе билет на концерт в Тюильри на воскресенье двадцать первого мая.

— Вырвись обязательно, Луизетта! — горячо советовала она.— В Тюильри прошли в мае три концерта — успех грандиозный, неописуемый! Весь сбор — в пользу раненых и их семей. Двадцать первого будут петь Агар из «Комеди Франсез», Розали Борда и Морио, они ведут себя на редкость мужественно, хотя реакционные парижские и версальские газеты грозят им страшными карами за помощь Коммуне. Посмотри, как ответила им Агар.

Андре Лео достала газетную вырезку. Известная всему миру певица напечатала открытое письмо Версалю: «Отправиться к Кайенну я готова, жду только новых подлостей с вашей стороны. Заверяю, что из-за угроз я не перестану содействовать всем, кто страждет. Для меня важно, что они в нужде и нищете!»

— Значит, верит в нашу победу! — заключила Луиза.

— Каждая честная душа верит в нее! — откликнулась Лео.

Они расстались, договорившись отыскать друг друга в воскресенье во дворце Тюильри. Луиза усмехнулась:

— Если к тому времени не начнется штурм! Тогда у нас здесь будет такой концерт, о-ля-ля, как говорит Мари!

К вечеру перестрелка затихла, и Луиза, Мари и Дмитриева, сменившись с поста, отправились в крошечное кафе перекусить. Домбровский запретил на подвластной ему территории продажу вина, и теперь по вечерам и в моменты затишья в кафе было почти пусто. Неподалеку догорал деревянный дом, отсветы пламени плясали на стеклах окон.

Луизе давно хотелось поближе познакомиться с Елизаветой Дмитриевой. Ее имя врезалось Луизе в память, когда она дней десять назад прочитала манифест Центрального комитета «Союза женщин для защиты Парижа и помощи раненым»,— под этим манифестом рядом с подписями Лемель и Лефевр стояла и подпись Дмитриевой. Конечно, если бы Луиза не сражалась на передовой, она принимала бы участие в работе комитета. Слова манифеста она запомнила, он начинался так:

«Во имя социальной революции, во имя завоевания прав на работу, равенство, справедливость «Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым» всеми силами протестует против позорной прокламации к гражданкам, расклеенной позавчера и исходящей от анонимной группы реакционеров. В прокламации сказано, что парижские женщины взывают к великодушию Версаля и просят мира. Нет, не мира, а войны без пощады требуют работницы Парижа. Ныне примирение равносильно измене!..»

Женщины заказали себе по скудной порции осадной еды и уселись у окна. И Луиза принялась расспрашивать Дмитриеву о ее прошлом, о жизни в России.

— О, для характеристики нравов моего милейшего отечества, Луиза, расскажу я вам всего один эпизод.

Мой отец был закоренелым крепостником, с крестьянами обращался жестоко, за малейшую провинность порол плетьми и розгами, травил собаками и медведями. Не удивляйтесь, это вполне в духе матушки-Руси. И доведенные до отчаяния мужики — а случилось это еще при крепостном праве — решили его убить, ворвались в дом с вилами и топорами. Мать моя была из той же, из крестьянской, среды. При жизни первой жены отца она много лет прослужила в доме горничной, служанкой. В то время, о котором я рассказываю, она ходила беременная мной. Когда мужики ворвались, она принялась умолять крестьян, чтобы пощадили отца,— он, дескать, больше не будет таким жестоким. А мужики любили и уважали мою мать, называли ее своим ангелом-хранителем: она всегда за всех заступалась. И занесенные топоры опустились. «Ради тебя только, Наталья, мы не убьем его, но будь он проклят!» Вот после того случая отец наконец и обвенчался со своей спасительницей, то есть с моей матерью. А вскоре появилась на божий свет и я, ваша покорная слуга...— Дмитриева натужно, с какой-то даже мукой улыбнулась,— убедительный пример для характеристики нравов, не правда ли?

— Да кем он был, чем занимался?! — спросила пораженная Луиза.— Это же дикость!

— А был он помещиком, дворянином и военным, вышел в отставку в чине майора гусарского, царской лейбгвардии полка.

Луиза с горечью подумала: а ведь чем-то схожа судьба матери Елизаветы с судьбой Марианны Мишель. Хотела спросить, как же Елизавете удалось вырваться из России, но на баррикаде загрохотал взрыв, раздались крики. Кинув хозяйке кафе несколько монеток, женщины заторопились на свои посты: может быть, начинается штурм!

Но нет, версальцы, видимо, еще не были готовы к ре-

шительному наступлению, на сей раз они ограничились двумя десятками выпущенных по Нейи снарядов. Правда, им удалось подбить один из бронепоездов, курсировавших по окружной дороге и прикрывавших баррикады огнем своих пушек.

На следующий день версальские орудия, стоявшие в Булонском лесу, били в основном по воротам Ла-Мюэтт, Отей, Сен-Клу, Пуэн-дю-Жур и Исси, и этот факт как бы подтверждал, что они готовятся к штурму: пробивают бреши для прорыва.

Пользуясь добрым отношением Домбровского, Луиза не раз забегала в штаб: узнать и передать товарищам по баррикаде последние новости. В штабе с нетерпением ждали подкрепления от Военной комиссии Коммуны и Центрального комитета Национальной гвардии, но там непонятно медлили.

Используя утреннюю передышку в перестрелке, Луиза заглянула в штаб на рассвете в воскресенье, в тот день, когда в Тюильри должен был состояться концерт. Что скрывать, ей чрезвычайно хотелось побывать там, с детства любила музыку, а теперь слышала только оглушительный грохот канонад.

Временами ее нестерпимо тянуло послушать музыку, поиграть самой, хотя бы прикоснуться пальцами к клавишам! И однажды не выдержала, как-то ночью забралась в полуразрушенную протестантскую церковь, села к органу и начала играть. Но через пять минут перед ней появился разгневанный офицер. «Как? — изумленно закричал он.— Я спешил сюда расстрелять предателя, который сигнализирует врагам! А это — вы?!»

Домбровский казался мрачен, щеки ввалились, глаза покраснели. Он что-то писал на официальном бланке, молча взглянул на Луизу, показал на стул. Дописав, устало откинулся на спинку кресла, вытянул ноги в тяжелых, запыленных сапогах.

— Пришли узнать новости, мадемуазель Мишель?

— Да, генерал. Если, конечно, они есть.

Он секунду подумал, с силой потер ладонью лоб и, махнув рукой, придвинул ей исписанный лист.

— Читайте. Я не вправе делать секрета из нашего положения.

Это было очередное донесение Делеклюзу:

«Несмотря на все мои усилия помешать им, неприятельские траншеи все приближаются. Часть крепостной стены от Пуэн-дю-Жур до Отей пикем не охраняется, так как посылаемые туда батальоны тотчас же возвращаются в полном расстройстве... Неприятель усиливает осадные работы у ворот Сен-Клу, в 100 метрах от вала... Штурм города неминуем. Я получил 30 мортир, но у меня нет ни людей для их обслуживания, ни снарядов! В моем распоряжении не более 4 тысяч человек в Ла-Мюэтт, 200 в Нейи и столько же в Аньере и Сент-Уэне. Мне недостает артиллеристов и саперов. Положение требует усиления крепостных работ, которые одни могли бы отсрочить катастрофу...»

Луиза испытующе посмотрела на Домбровского: неужели он допускает, что Париж может быть побежден? Генерал без слов понял тревожный взгляд и отрицательно покачал головой:

— О нет, мадемуазель Мишель, я не допускаю мысли об этом. Но я хочу, чтобы в Комитете общественного спасения и Центральном комитете гвардии знали серьезность положения и помогли нам.

Луиза смущенно теребила в руках билет в Тюильри.

— Сейчас относительно спокойно,— нерешительно начала она.— Как полагаете, генерал: не могла бы я отлучиться на три-четыре часа? — И она положила билет перед Домбровским.

Он прочитал билет, посмотрел с грустной задумчивостью.

— Ах, с какой радостью я отправился бы с вами, мадемуазель! Но мой долг — оставаться с моими солдатами.

— Вы полагаете, штурм возможен сегодня?

Он неопределенно пожал плечами:

— Сие знает один господь бог, которого, кстати говоря, нет. Они коварны, господа тьеры и фавры, и нельзя забывать, что за их спиной стоят такие зубры, как Бисмарк и Мольтке... Но есть правило, мадемуазель: штурму предшествует яростная артиллерийская подготовка. Ее нет, слышите?.. Так что... Желаю вам отдохнуть от музыки пушек и митральез! — И, вставая, он протянул через стол худую руку с длинными пальцами музыканта.

Отвечая на пожатие генерала, Луиза вспомнила сентябрь прошлого года. Тогда на собраниях граждан Лиона, восставших вслед за Парижем против Баденге, было предложено: просить Домбровского командовать только что созданным франко-польским партизанским легионом. Домбровский принял предложение, но не смог выбраться из Парижа: при попытке перейти линию фронта его задержал французский аванпост, обвинив в шпионаже в пользу Пруссии. С трудом добившись освобождения, он сделал еще одну попытку, но снова угодил в тюрьму. И наверно, просидел бы там долго, но на имя Гамбетты поступила депеша Гарибальди: «Гражданин! Мне нужен Ярослав Домбровский, живущий в Париже, на улице Вавэн, 52. Если сможете отправить его ко мне на воздушном шаре, я буду весьма признателен. Преданный вам Джузеппе Гарибальди». Эта депеша и освободила Домбровского, но выехать из Парижа ни на воздушном шаре, ни другим путем он не смог. Так сама судьба определила ему стать одним из защитников Парижской Коммуны.

Луиза, еще ощущая ладонью теплоту пожатия Домбровского, набралась смелости:

— Простите, генерал! За что вас так любят в Национальной гвардии?



Он помедлил с ответом, улыбнулся с оттенком торжества.

— А видимо, потому, мадемуазель, что я всегда готов разделить с любым солдатом и кусок хлеба, и смерть.

На секунду задумался, глядя на Луизу невидящим взглядом.

— Вспомнился капитан Тирар! Увидел, что в меня целится убийца, заслонил собой и получил пулю в грудь... А теперь, извините, дела!..— Повернулся к адъютантам Потапенко и Рожаловскому.— Поехали! Надо побывать на бывшей Вандомской, как-никак я — комендант укреплений Парижа.

Луиза понимала нервозность и мрачность Домбровского. Вчера стало известно, что версальцы пытались его подкупить: за полтора миллиона франков ему предлагалось открыть западные ворота города. Домбровский тут предложил Коммуне: давайте, я впущу в город версальцев, а затем запру ворота и перебью их! Но для этого мне необходимо двадцать тысяч солдат. Коммуна согласилась с Домбровским, но провести его предложение в жизнь не пришлось: не успели собрать силы. Это обстоятельство могло угнетать генерала.

Убедившись, что попытка подкупить Домбровского провалилась, Тьер подсылал к нему убийц, но генерал был всегда окружен верными людьми, ни одно покушение не удалось.

Уходя от генерала, Луиза вспоминала слова Тьера: «Градом снарядов или градом золота, но мы задушим Париж!»

Зная об успехе предыдущих концертов в Тюильри, Луиза пришла во дворец задолго до начала. Но, несмотря на ранний час, театральный зал оказался полон.

В Тюильри Луиза побывала уже два раза: четвер-

того сентября, когда весть о седанской катастрофе подняла Париж на дыбы, и в незабываемый, пьянящий день провозглашения Коммуны. Но сегодня ее заново, словно видела впервые, ошеломила сказочная роскошь дворцовых анфилад и галерей, азиатская щедрость позолоты и инкрустаций, льдистое сверкание хрусталя, узоры цветного паркета, на который жалко ступать ногой в пропыленном годильоте. А ведь кто-то повседневно жил здесь, и для кого-то эта несказанная роскошь была будничной.

Толпа, наполнявшая залы и галереи, обрадовала Луизу. При империи в залах парижских театров она видела лишь сытую, чванливую и надменную публику — ненавистный для нее «высший свет». А сейчас во дворце собрались пролетарии Парижа и его национальные гвардейцы. Хотя было бы странно повстречать в эти дни на концерте промышленных и финансовых тузов Франции или прославленных великосветской прессой красавиц: более двухсот тысяч буржуа и чиновников империи сбежало под защиту версальских батарей.

Первой из знакомых, кого Луиза встретила в концертном зале, оказалась Андре Лео. Стоя в проходе между рядами заполненных кресел, она разговаривала с членом Коммуны Эдуардом Вайяном,— Луиза знала его по случайным встречам. Врач и инженер, а ныне глава Комиссии просвещения, человек с ясным, пытливым умом.

Поздоровавшись, Луиза остановилась возле, поглядывая по сторонам, надеясь отыскать Теофиля. Ей не хватало общения с ним, тепла его руки, звучания его то возмущенного, то иронического голоса, его взгляда. Краем уха слушала, что говорил Вайян.

— Конечно! При Империи цена билета равнялась стоимости месяца жизни целой семьи литейщика или бронзовщика, а ныне она по карману рядовому рабочему!

Театры должны быть доступны всем, дорогая Лео, а не только кучке снобов.
— Безусловно! — согласилась Андре.
— Надеюсь, наш великий изгнанник включен в репертуар? — вмешалась Луиза.
— Ну как же! «Жимназ» уже репетирует «Эрнани» Гюго. Кстати, «Жимназ» — единственный театр, который продолжает при Коммуне работать без перебоев. «Гранд-Опера» и «Комеди Франсез» саботировали, пока мы не убрали прежнее руководство. То, видите ли, у них нет денег, то актеров, то музыкантов. Восьмого числа мы выгнали одного из самых злостных саботажников, директора «Гранд-Опера», этого упитанного лакея буржуазии, Эмиля Перрена. Театром стал руководить молодой певец Эжен Гарнье. И что же? Дело идет!
Вайян продолжал излагать театральную политику Коммуны, но Луиза не слушала: от центрального входа пробирался, раздвигая локтями стоявших в проходе, Теофиль Ферре. Стеклышки пенсне поблескивали, галстук сбился на сторону, лицо изнурено, словно не спал ночь.
За плечом Ферре курчавилась каштановая шевелюра и поблескивало второе пенсне: Рауль Риго, непреклонный прокурор Коммуны, гроза ее явных и тайных недругов. Неизменные желтые перчатки и табакерка.
— Привет и братство, гражданка Луиза! Пять минут передышки в огненном смерче?!
— Чуть побольше, Рауль! — улыбнулась Луиза и повернулась к Ферре: — Как Мари, Тео?
Тот безнадежно махнул рукой.
— Лежит! Спасибо Раулю — не дает ей пасть духом.
— О, как я виновата перед ней!
— Пустое! Скоро снова будем заседать в «Спящем коте» или в «Мадриде», только отобьемся от версальской сволочи!
Луиза осторожно прикоснулась к его руке:

— Неужели правда, что в распоряжении Тьера около ста двадцати тысяч? — спросила Луиза.

— К сожалению, да! Корпус Дуэ, корпуса Ладмиро, Кленшана, Винуа! Они подвезли под стены Парижа сотни морских и осадных орудий, осыпают крепостной вал и баррикады зажигательными, газовыми и бомбами Орсини. Я читаю у Делеклюза ежедневные сводки. Потоплена одна из наших канонерок, а остальные отогнаны к мосту Согласия, откуда они бессильны нанести противнику чувствительный удар. Все не так хорошо, Луиза, как хотелось бы. Но думаю, унывать рано!

Подошел Эжен Варлен,— Луиза не видела его с начала боев, с той самой третьеапрельской вылазки, которая так дорого обошлась революционному Парижу. Варлен тоже осунулся и похудел, но темные красивые глаза блестели ярко и живо, как всегда. Поздоровавшись, одобрительно оглядел гвардейский мундир Луизы,— кажется, он всегда симпатизировал ей.

— Сражаемся, мадемуазель Мишель?

— Выполняем гражданский долг!

Чуть помедлив, еще раз остро глянув на Луизу, Варлен достал из внутреннего кармана распечатанный конверт.

— Вот, Теофиль... С неимоверным трудом это пробилось сюда из Лондона. От Маркса... Прочтите отчеркнутое... Это важно для понимания нашей позиции...

Ферре взял глянцевитый лист почтовой бумаги и, взглядом пригласив Луизу слушать, вполголоса прочитал:

— «Дорогие граждане Франкель и Варлен!

...Не следовало ли бы спрятать в безопасном месте документы, компрометирующие версальских каналий? Подобная мера предосторожности никогда не помешала бы...» — Пропустив три или четыре абзаца, Теофиль прочитал отчеркнутые строки.— «Так как Тьер и К° в договоре, заключенном Пуйе-Кертье, выговорили себе, как

вы знаете, огромную взятку, то они отказались от помощи немецких банкиров, предложенной Бисмарком. Иначе они лишились бы своей взятки. Так как предварительным условием осуществления *их* договора было покорение Парижа, то они просили Бисмарка отсрочить уплату первого взноса до оккупации Парижа. Бисмарк принял это условие. И так как Пруссия сама сильно нуждается в этих деньгах, то она предоставит версальцам все возможности для того, чтобы облегчить им скорейшую оккупацию Парижа. Поэтому будьте настороже!»

Ферре сложил письмо и возвратил Варлену. И все трое внимательно посмотрели друг на друга.

— Мы, собственно, всегда предполагали, что между Тьером и Бисмарком существует сговор,— заметил наконец Ферре.— Давно, с самого начала...

В эту минуту из дверей, задрапированных красными флагами, на эстраду вышел офицер главного штаба Коммуны. Щеголеватый и элегантный, он остановился возле белого концертного рояля и поднял руку, требуя тишины. До предела наполненный зал — зрители стояли во всех проходах, вдоль стен, у дверей, которые невозможно было закрыть,— постепенно стих. Стало слышно, как в стороне Нейи и Аньера надсадно бухают пушки.

— Граждане! — торжественно провозгласил офицер.— Господин Тьер дал Национальному собранию клятву войти в Париж вчера вечером. Но — видите?! Он не вошел и никогда не войдет к нам! Никогда! В будущее воскресенье, двадцать восьмого, я приглашаю вас сюда же, на следующий концерт в пользу вдов и сирот войны!

Плеск аплодисментов минут десять наполнял зал, перекатывался по соседним галереям, от криков позвякивали хрустальные подвески люстр. Когда зал умолк, офицер снова поднял руку:

— А сейчас разрешите предоставить слово конфе-

рансье нашего концерта актеру «Гранд-Опера» Эжену Гарнье!

Как и все концерты в Тюильри во времена Коммуны, этот концерт начался «Марсельезой». Играл сводный оркестр лучших музыкантов Национальной гвардии под управлением знаменитого Деланорта, пели все артисты и шесть тысяч зрителей, пели стоя,— никогда Луиза не слышала такого хора.

Касаясь плечом плеча Ферре, она, казалось, не стояла на земле, а парила над ней, позабыв об убитых товарищах, которых похоронили утром, о тысячах раненых, мучающихся на госпитальных койках, о жесточайшей осаде,— мысли о победе и вера наполняли тогда и разум ее, и душу.

Если бы знать, что как раз в это время некий служащий Управления мостов и дорог Дюкатель у ворот Сен-Клу машет белым платком красноштанным солдатам Версаля: «Входите! Здесь никого нет!» Полчаса назад, не выдержав косящего огня версальских митральез, федераты укрылись за виадуком окружной железной дороги, метрах в трехстах от ворот. Часом раньше они задержали было Дюкателя, но он предъявил удостоверение на бланке Коммуны: Жюлю Дюкателю поручено строительство второй линии баррикад между воротами Дофина и Пуэн-дю-Журом. Извинившись, его отпустили.

И в часы, когда Анри Литтольф исполнял отрывки из своих симфоний «Робеспьер» и «Жирондисты», а Агар бросала в зал гневные слова «Медной лиры» Барбье, версальские полки бесшумной лавиной вливались в Париж через ворота Сен-Клу. В форте Мон-Валерьен Тьер и Мак-Магон, обрадованные телеграммой о прорыве, направляли вслед за корпусом Дуэ корпуса Ладмиро, Кленшапа и Винуа. Стенобитной артиллерии приказано не стрелять по району ворот Сен-Клу, а орудия бастионов,

всего час назад защищавшие Париж, повернуты дулами против города.

По окончании концерта Луиза вышла на улицу Риволи вместе с Теофилем Ферре и Андре Лео. Тихий вечер голубел над Парижем, над красной черепицей крыш загорались первые звезды. Газовые фонари па улицах не зажигали с начала осады,— в вечерней тьме звезды казались необычно крупными и яркими.

Луизе предстояло пешком добираться до ворот Майо, баррикады возле них защищал ее батальон. Остановившись на лестнице, она прислушалась: нет, в их районе как будто продолжается затишье, канонада доносится, пожалуй, только с севера, от Сент-Уэна, Аньера или Клиши.

— Вы не проводите меня, Тео?

— О, если бы мог! Я и так совершил преступление, оставшись в концерте до конца. Сегодня мы судим Клюзере.

— Который был до Росселя и Делеклюза гражданским делегатом при Военной комиссии Коммуны?

— Да.

— За что же, Тео?

— За плохую организацию обороны форта Исси.

— Но удержать форт, Тео, вряд ли было возможно при наших силах! Я ж в те дни была там. Форт превращен в груду камней. И Клюзере вел себя достойно, уверяю вас.

Ферре неопределенно пожал плечами:

— Более всего меня не устраивает в Клюзере то, мадемуазель Луиза, что в сорок восьмом он вместе с Кавеньяком подавлял июньское восстание, за что получил орден. И хотя позже он воевал вместе с Гарибальди против неаполитанского короля, хотя он был приговорен южанами к смерти во время гражданской войны в Америке, я не могу простить ему сорок восьмого! И не ка-

жется ли вам странным, что, став делегатом при Военной комиссии, он мобилизовал в Национальную гвардию граждан лишь до тридцати пяти лет? Его приказом от гвардии отстранялись наиболее преданные Республике люди, ветераны сорок восьмого... Каково? А кроме суда над Клюзере нам с Раулем предстоит сегодня снова допросить версальского наймита, пытавшегося подкупить Домбровского. Я говорю о Вейссе. И я не я буду, если этот мерзавец не получит заслуженной унции свинца!

Улица Риволи наполнялась покидавшими Тюильри зрителями, они восторгались голосом Агар, музыкой Литтольфа, радостно звучал смех. Большинство на время забыло о тяготах, о врагах, стоявших у стен Парижа, словно война шла в иной жизни, в другом мире.

И вдруг что-то изменилось в толпе, неспешно растекавшейся от дворца, смолкли оживленные голоса, и все, будто по команде, повернулись в сторону Отей и Гренель: разрывая тишину ночи, там заколотилась о самое небо лихорадочная медь набата,— «билось в судороге измученное сердце Парижа»,— подумала строчкой из будущих стихов Луиза. И еще у Тюильри не было произнесено ни единого слова, как к первому колоколу присоединился второй и чуть спустя третий. И теперь стало невозможно сомневаться: это сигнал всеобщей тревоги.

— Вот оно! — сказала Луиза, схватив горячую руку Теофиля.— Домбровский ждал! Это — штурм!.. Кстати, вы знаете? В бою у ворот Отей он серьезно контужен. Домбровский потрясающе бесстрашен, с улыбкой лезет в самое пекло. После контузии — камнем в голову — его заменил начальник штаба Фавье, но генерал сразу же вернулся.— И снова, стиснув руку Ферре, поправив на плече карабин, с которым не расставалась и на концерте, Луиза зашагала в сторону, откуда выплескивался на город набатный гул.— Тео! Андре! Не забудьте о Марианне, если меня убьют!

— Да, Луиза! — крикнула Андре.

— Конечно, Луиза! — пообещал Ферре, но она, наверно, уже не слышала: улица шумела тысячами голосов, стучала годильотами о камни, звенела оружием.

Она бежала изо всех сил, оступаясь и натыкаясь на людей, бежавших рядом, захлебываясь собственным дыханием.

К счастью, батальон Луизы занимал утренние позиции, волны вражеского прорыва пока не докатились сюда,— по всей вероятности, версальцы стремились сначала захватить аристократические кварталы — Отей и Пасси,— где могли рассчитывать на поддержку.

Все десять орудий бастиона возле ворот Майо, в течение шести недель непрерывно громившие расположения версальцев в Нейи и Курбевуа, были целы и сейчас вели огонь по траншеям и редутам врага. В свете разрывов метались полуголые, черные от дыма и сажи артиллеристы, мальчишки подкатывали к ним по земле ядра — даже вдвоем не осиливали подпять. Матрос Краон, лихой и бесшабашный, перебегал между двумя орудиями, размахивая зажженными фитилями, подбадривая криком себя и других:

— Смелее! Точнее, братцы! Бей их!

Там и тут возле лафетов орудий лежали убитые, седая женщина, стоя на коленях, бинтовала голову раненого. На раскалившихся дулах орудий дымилась кровь. Свистела картечь.

Луиза помогала артиллеристам, поднося ядра; заметив мелькнувшую за бруствером голову, присграивалась за камнями баррикады и, прижимая приклад к плечу, ждала мгновения, когда нужно спустить курок.

К утру перестрелка затихла, и защитники баррикады получили передышку. Последним снарядом, прямым попаданием убило Краона. Начиненный порохом и керосином снаряд разорвался у ног матроса. Это была одна

из самых ужасных смертей, которые довелось Луизе видеть. Краона буквально разорвало в клочки, обрызгав все кругом его кровью. Луиза зажала ладонями глаза и закричала.

Оставшиеся в живых защитники баррикады Майо на рассвете собрались вместе: ободрить друг друга, поделиться сухарем или куском хлеба. В предрассветной тьме к ним в сопровождении адъютантов, начальника штаба и Дерера, прикомандированного к Домбровскому, подъехал сам генерал. Луиза с тревогой подумала, что, видимо, штабу пришлось оставить замок Ла-Мюэтт.

— Ла-Мюэтт взят? — спросила дрогнувшим голосом.

— Да, мадемуазель Мишель,— просто ответил Домбровский.— Нам удалось остановить неприятеля, но...— Он поморщился от боли и покачал головой.— Но нам необходима помощь. Я уезжаю за ней в комитет. За меня остается Фавье. Надеюсь, удастся продержаться, пока я приведу подмогу. А вас, мадемуазель Мишель, прошу...— Он на мгновение задумался.

Луиза сделала шаг вперед, вскинула руку к козырьку кепи:

— Моя жизнь в вашем распоряжении, генерал!

Он оглядел ее внимательным и добрым взглядом, затем, освободив ногу из стремени, с усилием спрыгнул с черного жеребца. Взяв Луизу под руку, отвел в сторону и здесь, достав из кармана мундира официальную бумагу, развернул ее и подал Луизе:

— Прочтите! Необходимо, чтобы вы знали.

Слегка удивленная, она прочитала:

— «Граждане!.. Довольно милитаризма, долой генеральные штабы в расшитых золотом и галунами мундирах!.. Место народу, бойцам с обнаженными руками! Час революционной войны пробил!.. Народ ничего не смыслит

в ученых маневрах, но, когда у него в руках ружье, а под ногами камни мостовой, он не боится всех стратегов монархической школы, вместе взятых!.. Париж в опасности! Нет больше начальников, мы все солдаты!» — Луиза бросила быстрый взгляд на подпись — «Делеклюз» — и подняла глаза на Домбровского.

— Я слушаю, генерал! И... не все понимаю.

Домбровский опять поморщился.

— Ах, если бы и я понимал все, мадемуазель Мишель! Но сие...— Он судорожно потряс перед лицом обращением Делеклюза.— К сожалению, Делеклюз — глубоко штатский человек, он не понимает, что делает, и только это извиняет его. В самый трагический момент, когда нужно единое управление всем механизмом обороны, нужно объединение всех сил...— Домбровский замолчал, и Луиза молчала, глядя на генерала с бесконечной тревогой.— Мне только что передали: Делеклюз раздробил все наши силы, разослал батальоны и командиров по округам — каждому защищать свой округ! Эта ошибка будет нам стоить неимоверно дорого, поверьте мне, мадемуазель! — Он опять замолчал и стоял неподвижный и мрачный, держась рукой за седло.

— Что я должна делать, генерал? — настойчиво спросила Луиза.

Домбровский как бы очнулся, пришел в себя.

— Я поскачу в комитет. Но я не убежден, что смогу получить помощь в необходимых размерах. Прошу вас, отправляйтесь на Монмартр, требуйте у них немедленных подкреплений, я сейчас напишу им... Если версальцы продолжают расширять и углублять прорыв, я не вижу средства их остановить. Мои разведчики донесли мне еще в Ла-Мюэтт, что за крепостной вал Парижа уже вошло по меньшей мере тридцать тысяч солдат врага! — Вырвав из блокнота листок, генерал написал несколько слов.— Вот. Но не ходите одна. Возьмите еще кого-то.

Попросите Жаклара дать вам в сопровождение двух-трех гвардейцев. Дело в том, что недобитые буржуа, прослышав о прорыве версальцев, поднимают головы. Они стреляют в нас из окон и с крыш. А мою записку нужно доставить во что бы то ни стало!

С видимым усилием Домбровский поднялся в седло.

— Надеюсь, мадемуазель Мишель, мы увидимся здесь же! Привет и братство!

Через десять минут Луиза в сопровождении двух национальных гвардейцев бегом поднималась по бульвару Курсель,— через площадь Клиши, к холмам Монмартра. Там и тут рвались снаряды, вспарывая мостовые, руша здания. Вот-вот должно было взойти щедрое майское солнце и осветить бойню, какой никогда еще не видел Париж!

Домбровского не обманули его военный опыт и интуиция. В продолжение всей ночи и утром следующего дня, двадцать второго мая, версальцы входили в город, жестоко подавляя попытки сопротивления. Ворвавшись через развалины ворот Сен-Клу, войска вторжения разделились на четыре колонны, заняв ведущие к воротам улицы. Две основные колонны двинулись по внутреннему периметру крепостных валов и стен, влево и вправо от Сен-Клу, и, оставшись незамеченными, зашли в тыл защитникам ворот Отей и Пасси и моста Гренель. Не ожидавшие нападения сзади, защитники этих постов и баррикад были исколоты штыками, изрублены саблями,— пленных не брали. Трупы и лужи крови отмечали грозный ночной марш. А когда передовые части врага овладели воротами Отей и Пасси, поток вторжения сразу утроился; версальцы укрепились на обоих берегах Сены, к утру в стенах Парижа их было не менее ста тысяч. Первые лучи солнца, упавшие в тот день на Марсово

поле, осветили на нем сотни убитых федератов. Версальская «Либерте» вышла в то утро с передовой статьей: «В домах проводятся такие же поспешные расправы: каждый задержанный в форме национального гвардейца, у которого ствол ружья носит следы пороха, может быть уверен, что конец его близок. Ему остается только пройти несколько шагов из комнаты во двор своего дома».

А в Ратуше, в Комитете спасения и Военной комиссии все еще не осмеливались поверить, что враг в Париже. Здесь уповали на воззвания и афиши, час назад расклеенные на стенах домов: «Солдаты версальской армии! Парижский народ никогда не поверит, что, сойдясь с ним лицом к лицу, вы сможете поднять на него оружие. Вы не решитесь,— ведь это было бы братоубийством!..»

Делеклюз и другие военные руководители Коммуны одновременно с тревожными донесениями Домбровского и Врублевского получали опровергающие генералов агентурные сведения. Наблюдатели с главного поста Обсерватории Триумфальной арки беспрестанно доносили, что ни один вражеский солдат не переступил черту парижских укреплений, большинство наблюдателей там оказались сторонниками Версаля, тех же, кто сохранил верность Коммуне, зверски убили.

Конечно, в то роковое утро всех этих подробностей Луиза не знала, они стали известны значительно позже. А тогда, в розовом свете занимающегося дня, она и ее спутники торопились выполнить поручение генерала.

— Скорее! Скорее! — подбадривала гвардейцев Луиза.

Они бежали по непрерывно обстреливаемым улицам, перелезали через баррикады, перепрыгивали через траншеи. На полминуты Луиза задержалась у свежей афиши, ее наклеивала на стену белокурая девушка в красной кофточке.

— Что нового? — крикнула Луиза.— Может, враг уже разбит и отброшен?

Но черные буквы неумолимо кричали с афишного листа:

«Версальцы вошли в Париж, но Париж станет им могилой! Пусть мужчины отправляются на баррикады; пусть женщины шьют мешки для песка! Смелей! Провинция спешит к нам на помощь...»

Луиза с горечью усмехнулась. Провинция! На помощь Коммуне?! Да она еще до Коммуны лютейшей ненавистью ненавидела Париж, почитая его вторым Вавилоном, очагом разврата и лени, а уж теперь нечего и говорить. Версальские газеты и пространные депеши Тьера ежедневно поливают Коммуну такой густой грязью, что сквозь нее не разглядеть ни одной подлинной черты Коммуны. Ни человечности ее, ни могущества. Теофиль как-то сказал, что Версаль старательно распространяет по провинции слух, будто коммунары сговорились с пруссаками, предали и продали Францию!

Уже на подходе к Монмартру Луизу и ее спутников задержало необычное происшествие. В одном из пустынных переулочков, выходящих на авеню Клиши, они заметили подозрительную группу. Трое национальных гвардейцев помогали вылезти из газопроводного люка посреди мостовой четвертому, и все четверо воровато оглядывались. Луиза и до этого слышала немало рассказов о версальских шпионах, хитроумно проникающих в Париж и организующих здесь пожары и взрывы,— помнишь взрыв патронного завода на улице Рапп?!

Не рассуждая, рванула с плеча карабин:

— Стой!

Те, четверо, рванулись было бежать, но под нацеленными в упор дулами вынуждены были повиноваться,— вид растерянный, жалкий. Никакого сомнения — лазутчики, шпионы! И спрашивать гвардейские книжки не имеет смысла: отняли у пленных, украли у убитых федератов.

— Какого батальона? — жестко спросила Луиза, не опуская карабина.— Кто там командир?

Они загнанно переглянулись.

— А ну шагайте, шпионы! — скомандовала Луиза, показывая дорогу дулом карабина.— Отправим вас к Риго и Ферре, там перед смертью заговорите!

Генерала Ла Сесилиа они застали в мэрии Монмартра бледным и уставшим. Тут же оказалось пять или шесть членов наблюдательного комитета,— среди них кое-как перевязанный старик Луи Моро. Луиза передала генералу записку Домбровского и рассказала о происходящем в западной части Парижа. Ла Сесилиа устало пожал плечами:

— А, знаю! Вот последние сводки! — он махнул рукой на заваленный бумажками и картами стол.— Все рушится, мадемуазель Мишель! Версальские части уже шагают по Вожирару и Батиньолю! Боюсь, что завтра появятся здесь, на Монмартре. Мы так и не успели возвести вторую линию обороны внутри города. Баррикады строились без единого плана, кому и где вздумается.— Он сокрушенно и с осуждением покачал головой. Ах, Делеклюз, Делеклюз! Что ты наделал, дружище! «Не надо генералов, не надо штабов! Пусть каждый округ защищается как умеет. Нет генералов, все солдаты!» Ведь надо же такое придумать! Вместо того чтобы сконцентрировать, собрать в один кулак все силы! А теперь нас передушат поодиночке, как щенков! Никакой героизм не поможет!

Приведенных Луизой версальцев Ла Сесилиа распорядился отвести в Комитет общественной безопасности, пусть с ними разбираются там.

— Я с радостью сам расстрелял бы мерзавцев, но, возможно, Ферре и Риго сумеют выведать у них что-либо. А вам, мадемуазель,— он с пристальным вниманием глянул на Луизу,— полагаю, нет смысла возвращаться

туда, откуда пришли. Через считанные часы там будут зверствовать красноштанники, а может быть, они уже и сейчас там. Оставайтесь здесь, будем оборонять Монмартр! Именно на высотах Монмартра и Бельвиля мы можем продержаться долее всего, именно отсюда можем нанести удар!

— Верно! — одобрительно подхватил Луи Моро.— Вы, мадемуазель Луиза, были с шестьдесят первым батальоном в первые дни, с нами должны быть и в последние! Как служит вам мой карабин?

— О, великолепно! Мы с ним отправили к праотцам не одного негодяя! — И снова повернулась к Ла Сесилиа: — Я подчиняюсь, генерал! Где мое место?

Ла Сесилиа посмотрел на лежавший на столе план Парижа.

— Отряд Элизы Дмитриевой защищает баррикаду на площади Бланш. Там вы встретили бы, вероятно, немало друзей: госпожу Лемель, Мальвину Пулен, Бланш Лефевр...

— А Андре Лео? — перебила Луиза.

Ла Сесилиа отрицательно покачал головой.

— Она где-то на баррикадах Батиньоля. Там тоже немало женщин. Но я, пожалуй, предпочел бы, мадемуазель Мишель, чтобы вы отправились к кладбищу Монмартра. Сейчас посылаю туда подкрепление,— там жесточайший бой.

— Есть, генерал!

Подошел, козырнув на ходу, командир батальона.

— Запомните, лейтенант, вот что! — предупредил его Ла Сесилиа, водя пальцами по плану Парижа.— Сейчас враг наступает со стороны Батиньоля и той части центра, которую ему удалось занять. Но не исключено, что возможен внезапный удар с севера, со стороны ворот Сент-Уэн. Нам удалось узнать у пленных, что там, за зоной прусских войск, якобы сохраняющих нейтрали-



тет, сосредоточены войска первого версальского корпуса генерала Монтобана. Весьма вероятно, что пруссаки пропустят корпус Монтобана через свое расположение, и тогда вам придется сражаться на два фронта. Будьте бдительны и не оголяйте тыл, лейтенант! И знайте, подкреплений у меня больше почти нет!

— Мы выполним свой долг, генерал!

Шестьдесят первый батальон занял позиции вдоль одной из стен Монмартрского кладбища, и бойцы принялись проделывать амбразуры в верхней части стены, чтобы с меньшим риском стрелять по врагу.

На той стороне улицы Жаннерон ярко и как будто даже празднично пылал жилой дом, языки пламени из окон лизали стены и крышу, в него то и дело попадали гранаты и снаряды, вздымая фонтаны искр. Едкий, удушливый дым расползался по улице.

Железным прутом от старой могильной ограды Луизе удалось выковырнуть из стены несколько кирпичей, и в образовавшуюся бойницу она следила за движениями врага. Утром федераты оставили видневшуюся в дыму баррикаду на повороте улицы, сейчас над ней развевался трехцветный флаг. Из-за камней баррикады плевались огнем митральезы, картечь посвистывала над головой, сбитые с деревьев листья зеленым дождем осыпались на каменные плиты надгробий.

Снова и снова вспыхивали в дыму огненные сполохи, все точнее падали версальские гранаты, зловеще щелкала по камням, высекая искры, картечь. Вскрикивали раненые, утыкались лицом в стену или опрокидывались навзничь убитые. Молоденькая маркитантка, отставив в сторону кувшин, перевязывала раненых, что-то требовательно и сердито кричал вдали лейтенант. Неподалеку, видимо на колокольне церкви Святого Пьера, медно гу-

дел колокол,— набатный звон, как и отсветы пожара, подчеркивал тревогу, от стонов раненых сжималось и холодело сердце.

Рядом с Луизой копошился у своей амбразуры старенький Луи Моро. Луизе показалось, что он нарочно старается быть поближе к ней, надеясь защитить в минуту опасности. Когда стрельба затихала, он оглядывался на нее, будто спрашивая: не нужно ли чего, не помочь ли? В ответ Луиза приветливо помахивала рукой.

В дыму пожаров катилось красное, словно вымазанное кровью солнце, в тускнеющем свете дня отчетливее проступали зловещие контуры зарева: Париж горел во множестве мест. Луиза знала, что, отступая, федераты сами поджигают дома, чтобы огненным барьером остановить натиск врага. О, и она не пожалела бы собственный дом, если бы такой жертвой можно было добыть победу.

И, как всегда, при мысли о доме острой, колючей болью тронуло сердце: как мама? В короткие минутки, когда Луиза забегала на улицу Удо, они не успевали сказать друг другу и сотой доли того, что скопилось в душе и рвалось наружу. Луиза, страшась материнских упреков и слез, изо всех сил сдерживалась, стараясь передать согбенной заботами Марианне хоть малую часть своего мужества.

К вечеру перестрелка у кладбища стихла, стала слышнее канонада в западных районах Парижа, почти непрерывно бухали пушки в стороне Трокадеро, Марсова поля, Тюильри. Доносился характерный треск картечниц-митральез, как будто кто-то злобно швырял на камни горсти железных горошин.

Попыхивая дешевой сигаркой, подошел Луи Моро. Он выглядел удивительно по-домашнему, словно после смены у сталеплавильной печи покуривал около своего дома.

— Угомонились! — кивнул в сторону версальской баррикады.— Тоже, гляди, не железные: и пожрать, и вздремнуть надо, а? — Озабоченно оглянулся на восток, на вершину Монмартра, удрученно покачал головой.— Это надо же, мадемуазель Луиза! Все утро наши с холма по своим стреляли, думали — красноштанных бьют, а пушчонки-то слабосильные, шестифунтовые, снаряды до врага не долетают, на нас валятся. Пока разобрались, пока передали куда надо, скольких жизней не досчитались.

— А может, измена?! — сказала Луиза.

Моро пожал плечами: кто знает!

Послышались голоса, неровный свет заскользил по шершавым стволам деревьев, по мрамору и граниту надгробий,— кто-то пробирался под защитой кладбищенской стены с факелом в руке. Оказалось: кассир легиона, сухонький старик в поношенном сюртучке разносил жалованье тем, кого пока пощадила смерть. Его сопровождал лейтенант батальона.

Кассир устроился на могильной плите под прикрытием стены, расправил листы ведомости, поставил рядом школьную чернильницу. Один за другим подходили гвардейцы. Кассир вносил в ведомость имена тех, кому выплачивал недельное жалованье — полтора франка в день,— и, не переставая, ворчал:

— «Тридцать су», «тридцать су»! А разве и «Тридцать су» не человек, разве и ему не каждый день нужно ёсть и кормить детей? То-то и оно! Комиссар Журд отправился во Французский банк, а там мосье де Плек вместо семисот тысяч франков выдал двести,— дескать, более нет! И если бы не Шарль Белэ, так бы, наверно, и не дал. Но Шарль пригрозил: сейчас мои батальоны атакуют банк! И сразу обнаружились денежки... Вот здесь распишитесь, мадемуазель...

Он отсчитал Луизе полагавшиеся ей франки и, пряча

их в кармашек мундира, она подумала: если затишье продлится, надо сбегать домой.

Мысли о матери и о доме неизменно вызывали чувство тревожного и щемящего раскаяния — бросила на произвол судьбы! Но ведь кто-то должен сражаться за Коммуну,— сколько трусов уже сбежало, спасая шкуру, сберегая ничтожную, подленькую жизнь!

Ощупывая шуршащие в кармане купюры, Луиза направилась к старику Моро. Ночь наступала по-майски ласковая и ясная, привычно вспыхивали в небе звезды, серебряным ручьем струился в синеве неба Млечный Путь. И, как всегда на кладбищах весной, удушливо и пряно пахло цветами, влажным камнем, свежей травой и чем-то еще, может быть тленом.

— Дедушка Моро,— сказала Луиза соседу.— Пока тихо, хочу сбегать домой. Это недалеко, улица Удо. Отдам маме деньги. Если лейтенант спросит...

— Бегите, бегите, мадемуазель Луиза! Мадам Марианна всегда беспокоится за вас, да и деньги, наверно, нужны, без них, проклятых, не проживешь!

— Я скоро!

Закинув за плечо карабин, быстро пошла, петляя между могилами, к восточным воротам кладбища. Луна поднималась над темными кронами. В ее свете мраморные памятники, казалось, оживали, листва, шевелящаяся под почти неощутимым дыханием ветра, бросала на них зыбкую тень.

И вдруг что-то пронзительно, со скрежетом лязгнуло, чавкнула земля, и огненное дерево вздыбилось в нескольких шагах перед Луизой, вздыбилось и рассыпалось искрами, пронылн над головой осколки. В последнюю долю секунды Луиза успела прижаться грудью к холодному памятнику. Ослепшая от пламени, стояла, слушая шум вскинутой взрывом земли, шелест осыпающейся, срезанной осколками снаряда листвы.

Простояла так, пока глаза не научились снова различать облицованные лунным светом могильные камни, восковую желтизну бронзы и плиты мрамора.

Выпрямившись, обвела взглядом тихие ночные деревья, разбегающийся в синеватой тьме ночи лабиринт надгробий и крестов. А ведь где-то здесь могила Бодена. Возле нее первый раз увидела Теофиля! Может, если бы не тот митинг, так никогда и не встретила бы его.

Через полчаса она без приключений добралась до улицы Удо.

Марианна судорожно рыдала на ее плече, по-детски всхлипывая и шмыгая носом. Захлебывалась лаем и визгом ошалевшая от радости Финеттка, прыгала вокруг, лизала руки.

Как могла, Луиза успокаивала мать.

— Потерпи немного, мама! Скоро...

— Да что скоро-то?! — перебила Марианна.— Скоро всех вас перебьют! Что, что со мной без тебя будет, доченька?! Боже мой, да какая ты стала худая! Нынче ела ли что-нибудь?

— Ела, мамочка, ела! В госпитале, где я работаю, хорошо кормят.

— Ты хоть матери-то не ври, Луизетта! Я же все вижу, все понимаю! Гос-пи-таль! Руки-то совсем черные!

— Ну хорошо, ма, хорошо! Как мальчишки? Кормит их мосье Клемансо?

Бессильно опустившись на стул, Марианна устало кивнула.

— А-а! Если бы не мосье Клемансо, дай ему бог долгой жизни, ты, наверно, не застала бы свою мать живой, Луизетта! А мальчишки, что ж... старшие разбежались, воюют,— Гавроши. А младшие... Ты бы днем зашла, посмотрела...

Уйти Луизе удалось с трудом, Марианна цеплялась за нее дрожащими руками, глаза блестели от слез.

— Убьют тебя, девочка! Каких ужасов наслушалась я! В Версале так мучают пленных — от рассказов волосы встают дыбом. Не щадят ни женщин, ни детей.

— Мне, мамочка, ничто не грозит!

На кладбище вернулась, когда бой разгорался с новой силой. Версальцы разобрали часть баррикады и в образовавшийся прогал вкатили две митральезы. Скрываясь за широкими стальными щитами картечниц, били по кладбищу прямой наводкой. Красная кирпичная пыль клубилась над стеной в блеклом свете утра. Старика Моро ранило в левое плечо, перебинтованная, окровавленная рука — на перевязи, но он отказался покинуть пост.

— Отстаньте! Еще хоть парочку их спроважу на тот свет!

С рассветом версальцы подвезли тяжелые орудия, под ударами их снарядов стена шаталась и рушилась. Там и тут появлялись в ней бреши, рваными ранами кровавились изломы кирпича. Невидимым ножом отсекало у деревьев вершины и ветки. Опрокидывались памятники и кресты.

— И мертвым покоя нет! — бурчал Моро в седую бороду.

Близко к полудню прискакал адъютант Ла Сесилиа.

— Сейчас же половину людей на баррикады шоссе Клиньянкур! Приказ генерала! Пруссаки пропустили версальцев в ворота Сент-Уэн! Поторопитесь, дорога каждая минута!

Менее чем через полчаса Луиза и десятка три ее товарищей по батальону оказались на баррикаде у шоссе Клиньянкур. Именно здесь скорее всего следовало ждать наступления версальцев, по изрытой воронками улице Дамремо. На ней, возле станции окружной дороги, огромными кострами догорали дома, вспухали и будто взры-

вались черно-белые клубы дыма, пронизанные блеском искр. В доме, на который опиралась одним плечом баррикада, жалобно, надрывая сердце, плакал ребенок, вдоль стены, волоча простреленную ногу, полз, не выпуская из рук шаспо, рыжебородый гвардеец. На тротуаре рядком лежали убитые.

Но рассмотреть все это у Луизы не было времени. Отодвинув уткнувшегося лицом в камни убитого, она приникла глазом к щели в баррикаде. Да, всего в двадцати метрах мелькают в дыму красные штаны, зловительно взблескивают штыки, гремят барабаны!

Она тщательно прицеливалась: патроны нужно беречь. Во время коротенькой передышки отползла к лежащим в ряд убитым и обыскала патронташи в надежде, что у кого-нибудь был такой же карабин, как у нее. Повезло: у одного из убитых в подсумке оказались патроны для карабина. Глянула в неподвижное, мальчишеское лицо. «Я отомщу за тебя, парень!»

Но версальцы не торопились с приступом. Вероятно, выжидали, когда поднакопится больше сил или подвезут новые орудия.

В тот день Луиза последний раз видела генерала Домбровского живым. Оторвавшись от бойницы, присела на корточки перезарядить карабин, случайно оглянувшись, увидела группу конных, впереди на вороном жеребце — Домбровский. Обрадовавшись, вскочила и крикнула:

— Генерал!

Он узнал ее и приветственно помахал перчаткой.

Подбежала. Бросив поводья на луку седла, Домбровский обеими руками пожал ее грязную, в пыли и в крови, руку.

— Я рад, что вы живы, Красная дева! Держитесь?

— О да, генерал! Мы не отдадим им Париж?

Он улыбнулся горько и обреченно.

— Мы пропали, мадемуазель Мишель,— тихо сказал он.— Никакое чудо не может спасти нас!

— Не говорите так, генерал!

Домбровский сидел в седле прямой и даже как будто торжественный, а кругом свистели пули, и картечь митральез обивала со стен штукатурку.

Адъютант Рожаловский осторожно прикоснулся к плечу Домбровского:

— Здесь слишком опасно, генерал! Отъедем под защиту стен.

Но Домбровский ответил сердито:

— Я знаю, молодой человек, где мне надлежит быть!

Нетерпеливые и скорбные нотки прозвучали в голосе генерала. Может, накануне возможного поражения он сам ищет встречи со смертью?

...Да нет, отмахнулась Луиза, не может быть!

Еще раз пожав ей руку, Домбровский тронул коня. Проводив взглядом его подтянутую, напряженную фигуру, Луиза повернулась и побежала к баррикаде, но на полдороге ее остановил короткий болезненный вскрик. Оглянувшись, увидела, как Домбровский, уронив повод, схватился руками за живот и стал валиться с седла. Если бы Рожаловский не поддержал, он упал бы с коня. Нашла-таки генерала его пуля!

Луиза кинулась назад. Когда подбежала, Рожаловский и Потапенко уже укладывали на землю безвольно обвисшее тело Домбровского,— на мундире, ниже пояса, зловеще расплывалось кровавое пятно. О, по работе в госпиталях Луиза знала, что значит пулевое ранение в живот!

— Носилки! Давай носилки! — кричал, обернувшись к баррикаде, кто-то из офицеров.— Сюда! Сюда!

Домбровский был еще жив. Превозмогая боль, неожиданно улыбнулся, и Луизе показалось, что мелькнуло в этой улыбке непонятное удовлетворение. Лицо, однако,

быстро бледнело, синели, вздрагивая, губы. Он сказал тихо, но внятно:

— Жизнь моя не играет роли, думайте о спасении Республики... Прощайте, друзья...

Домбровского уложили на полотняные, закапанные кровью носилки, и офицеры понесли командира к больнице Лярибуазьер. И вдруг тонко и пронзительно заржал вслед носилкам конь Домбровского, рванулся вдогонку, брызжа из-под копыт огнем.

...Уже после поражения Коммуны, в камерах тюрьмы Сатори, кто-то рассказал Луизе о прощании гвардии с генералом. Из больницы Лярибуазьер тело перевезли в Ратушу — федераты тогда еще удерживали ее,— положили на обитую синим атласом постель в знаменитой «Голубой комнате». В Ратуше в тот день было до предела тревожно: версальцы уже захватили площадь Согласия, улицу Риволи и набережные почти до самой Ратуши. На левом берегу Сены в их руках Марсово поле, Дворец Инвалидов, Люксембургский дворец, бульвар Сен-Мишель и часть Латинского квартала. Огненные протуберанцы вздымаются над Тюильри, над зданием Почетного легиона, Государственного совета, Счетной палаты,— в отблесках пожаров становятся багровыми стены «Голубой комнаты». Домбровский лежит в черном сюртуке с золотыми галунами на рукавах, неподвижно вздернув заостренную белокурую бородку. Сидя у постели, капитан Жорж Пилотель торопливо набрасывает последний портрет генерала.

Часа через два, завернув тело в красное знамя, при свете сотен факелов, его повезут на Пер-Лашез, и по пути к кладбищу трагический кортеж не раз остановится, чтобы гвардейцы попрощались с тем, кого любили и кому верили до конца. И Верморель, чуть картавя, скажет над могилой прощальное слово:

— В ряду первых он отдал свою жизнь за Коммуну!

Поклянемся же, братья, что уйдем от его могилы лишь затем, чтобы умереть так же геройски, как умер он! Да здравствует Коммуна!..

А Луиза в те часы продолжала сражаться. Сдерживая слезы, она посылала пулю за пулей в мелькавшие вдали тени.

— Это вам за него, сволочи! За него!

В доме слева на втором или на третьем этаже продолжал плакать уже осипший ребенок, от этого плача судорожно сжималось сердце. Может, малыш заходится криком на груди убитой матери: картечь митральез железным смерчем хлещет по фасадам домов, по окнам, дробя в щепки жалюзи, осыпая защитников баррикады битым стеклом. Но покинуть пост нельзя, каждую секунду можно ждать атаки, а бойцов осталось не так уж много. И слева и справа неподвижны уткнувшиеся в камни тела.

Неожиданно послышались мальчишеские голоса. Луиза обернулась. Трое ребятишек прибивали к палке плакат, написанный на фанерке черной краской. Издали Луиза без труда прочитала крупные буквы:

«Смерть Тьеру, Мак-Магону и Дюкро, смерть крысам, грызущим народ!»

Под фанеркой болталась на веревочке дохлая крыса.

— Молодцы! — крикнула Луиза.— Но ведь ее, наверно, можно было съесть!

Мальчишки обернулись, и один ответил:

— Нет, мадемуазель Луиза! Она давно сдохла. Воняет!

Ба, да ведь это Жак, которого ты подобрала на площади Клиши,— его отца версальцы прикололи штыками к дереву в Булонском лесу!

— Ты стал настоящим инсургентом, Жак! — улыбнулась она.

— О да, мадемуазель Луиза! У меня — оружие! —

И, подхватив лежавший на камнях карабин, Жак вскинул его над головой.

— Значит, папашу Габриэля убили?

— Да! — с недетской горечью кивнул Жак.— Я мщу и за него! У вас есть патроны, мадемуазель Луиза?

— Немного, Жак.

— Я поделюсь с вами! — Он с гордостью похлопал себя по оттопырившейся выше пояса рубашке.— Я забираю у убитых, ведь им все равно ни к чему! А нам необходимо защищать Париж!

Чуть пригибаясь под свистящими над улицей пулями, подошел темноглазый, чем-то напоминавший Камилла лейтенант Жиро.

— Ах, вот ты где, Жак?! — обрадовался он.— Ты мне снова понадобился! — Жиро присел на корточки и пояснил Луизе: — Он незаменимый разведчик, мадемуазель! Благодаря ему мы знаем о продвижении версальцев, о сопротивлении баррикад. Так вот, Жак... Надо посмотреть, что происходит на улице Руссо, пробежать по ней до ворот Клиньянкур. Держатся ли наши?! Где наступают красные штаны? Куда везут орудия? Никто из взрослых не может этого сделать, дорогой Жак, лишь ты и твои дружки. Понял? От тебя, может, зависит не только судьба Монмартра, но и всего Парижа!

— Тогда мы пошли! — крикнул Жак.

— Э, нет! — Лейтенант сердито покачал головой.— Если схватят с карабином, тебя повесят, как эту крысу. Карабин — мне. Получишь, когда вернешься.

Луиза видела, с какой неохотой расстается с оружием маленький боец, но, очевидно, он и сам понимал, что иначе нельзя.

— А если...— Жак споткнулся о несказанное слово, но Жиро понял и одобрительно улыбнулся.

— Если меня убьют, ты найдешь его рядом со мной. Беги!

Он проводил мальчугана ласковым и беспокойным взглядом. Скорбные складки прорезались вокруг рта.

— Он похож на моего Эмиля,— со вздохом сказал Жиро, судорожно проводя ладонью по лицу.— Боже мой, мадемуазель Мишель, даже детям приходится сражаться!

— Он погиб, ваш сын? — спросила Луиза.

— Нашу мансарду разнесло в пыль. Прямое попадание тяжелого снаряда. Пожар. Мне даже некого было хоронить.

Луиза промолчала: слова утешения были неуместны.

Уже собравшись уходить, лейтенант остановился, пытливо глянул на Луизу и после недолгого колебания сказал:

— Еще вот что, Красная дева. На площади Бланш, на выходе бульвара Клиши, возле «Мулен-Руж», сражается батальон женщин. Командует им какая-то русская, кажется Дмитриева. Если мы отступим отсюда, версальцы зажмут их в тиски и перебьют...

— Необходимо предупредить?

— Да.

— Хорошо! Вы только подайте мне знак!

Она продолжала ожесточенно стрелять, а в глубине души копились горечь и боль — за мать, за Теофиля, за всех, кто дорог и мил. Впервые за дни боев она всерьез подумала о возможности поражения: ведь если версальцы дошли до Монмартра, значит, в их руках бо́льшая часть Парижа. Не зря же такой мужественный человек, как Домбровский, бросил трагическое: «Мы пропали!» Кого-кого, а уж его-то заподозрить в паникерстве никак нельзя! Но неужели — гибель?! Неужели все жертвы напрасны?!

Вскоре вернулись маленькие разведчики, вернулись с плохими вестями. С колокольни церкви Нотр-Дам-де-Клиньянкур они наблюдали лавину версальских войск, вторгавшуюся в улочки Монмартра через северные во-

рота: Шапель, Клиньянкур, Сент-Уэн. Везли сотни митральез и пушек. Прямой наводкой били по баррикадам, а следом штурмовали их, не оставляя в живых ни одного защитника.

— Мы не в силах остановить их, дядя Жиро, мы можем лишь умереть! — с горящими глазами заключил Жак.

Лейтенант внимательно посмотрел на мальчугана.

— И жить и умирать надо с пользой для дела, малыш,— сказал он.— Будем держаться, пока можно, а потом отойдем на высоты Бютт-Шомона и Бельвиля, может, там сумеем остановить... Вы не забыли про площадь Бланш, Красная дева?!

— Я готова, лейтенант! Значит, отступать по бульвару Клиши через площадь Пигаль?

— Да, так. Надеюсь, еще встретимся!

До площади Луиза добралась через полчаса — мимо Монмартрского кладбища, которое федераты все еще удерживали. Она уже миновала его высокую стену, но вдруг ее остановила мысль: ведь и их необходимо предупредить!

Перебираясь через могилы, через воронки снарядов, через обломки надгробий, она добралась до полуразрушенной стены.

— Моро! — крикнула Луиза, боясь не услышать ответа.

— Я здесь, Красная дева! — отозвался из-за груды битого кирпича голос старика.— Но — ложитесь! Только ползком!

И как ни противно было, Луиза опустилась и на четвереньках доползла до Моро.

— Дедушка Моро! Они заходят с севера, с тыла! Нужно отступать к Бельвилю, к Бютт-Шомону, там их еще можно остановить! Я бегу на площадь Бланш — предупредить женский батальон!

Сквозь нависшие седые брови старик посмотрел с горечью.

— Неужели отступать, когда столько погибло?!

— Наша бессмысленная гибель не принесет пользы,— повторила Луиза слова Жиро.— А там — бой! Там пушки и митральезы!

Не зная, удалось ли ей убедить старика, она поползла назад, старательно избегая забрызганных кровью травы и камней. На одной из надгробных плит она увидела оторванную руку с дешевым обручальным кольцом на безымянном пальце!

Эта рука переполнила чашу ее терпения. Вскочила и, рискуя получить пулю в голову, побежала к воротам. Зеленым ливнем осыпалась листва, сбитая пулями и картечью. Но у нее исчез страх смерти,— только бы добежать до площади, предупредить Дмитриеву и Жаклар.

Баррикада на площади Бланш оказалась громадной и надежной, под ее прикрытием можно было бы вести многодневные бои. Но Луизе сразу бросилось в глаза: баррикада обращена фронтом на запад и юг, откуда вначале предполагалось наступление версальцев. А если враги ворвутся со стороны Монмартра, то произойдет не сражение, а просто бойня.

Елизавету Дмитриеву Луиза увидела и узнала издали,— та выделялась среди женщин фетровой тирольской шапочкой с петушиным пером и багровой кокардой. Стройная, с вьющимися темными волосами, она показалась Луизе еще красивее, чем при первой встрече.

Луиза подбежала, Дмитриева сразу узнала ее.

— А-а! Красная дева Монмартра! Что заставило вас спуститься с родных холмов, воительница?!

— Дурные вести! На вас нападут оттуда! — Луиза ткнула карабином за спину, в сторону Монмартра.— И вероятно, скоро, сегодня.

— Измена?!

— Пруссаки пропустили версальцев через северные ворота. Целую армию! Баррикады не выдерживают! Отступаем к Бельвилю — последней нашей надежде.

Подбежала Аня Жаклар, порывисто обняла Луизу.

— Луизетта! Сколько же лет мы не виделись!

— Целую эпоху! — улыбнулась Луиза.— Как Шарль?

— Он недалеко! Вместе с Брюнелем командует обороной округа!

Вглядываясь в женщин, Луиза узнавала знакомых: вон Натали Лемель, Бланш Лефевр, Мальвина Пулен,— они приветственно махали руками, вооруженные кто шаспо, кто карабином.

Дмитриева обвела соратниц долгим взглядом.

— Вы слышали, сестры, какую весть принесла Красная дева? Да? Хоть я и презираю Наполеона и его вояк, мне хочется напомнить вам слова генерала Камбронна при Ватерлоо: «Гвардия умирает, но не сдается!» Неужели мы оставим красноштанникам эту великолепную баррикаду?! Что будем делать?

— Строить еще одну! — закричали десятки голосов.— Возле «Мулен-Руж»! Тогда они не смогут пройти по рю Лепик!

Дмитриева с сияющим лицом повернулась к Луизе:

— Вы слышали, Красная дева? С нами ли вы?!

— Как можно спрашивать! Я остаюсь здесь!

И пока группа защитниц баррикады вела огонь по версальцам, наступавшим с запада по бульвару Клиши, остальные с судорожной торопливостью выворачивали из мостовой булыжники, катили со складов ресторана «Мулен-Руж» бочки, тащили из домов мебель и матрацы. Луиза работала вместе со всеми.

Но им не суждено было достроить новую баррикаду: помешал приезд Ферре, Жаклара и Вермореля. В сопровождении группы гвардейцев они прискакали по бульвару Клиши со стороны площади Пигаль. Луиза почувст-

вовала, как вспыхнуло лицо,— уже не надеялась увидеть Теофиля живым.

Ферре был в легоньком сером пальто с бархатным воротником, поверх которого, так же как у Вермореля, повязан красный шарф с золотыми кистями, шарф члена Коммуны. Непривычный к седлу Ферре сидел на коне боком, перенеся тяжесть тела на одно стремя. Это и умилило Луизу и вызвало в ней жалость к Тео.

Приехавшие спешились. Аня подбежала к Жаклару, а Верморель и Ферре подошли к женщинам, возводившим баррикаду.

— Замысел ваш понятен! — сказал Верморель, пожимая руку Дмитриевой.— Но боюсь, что, если бы вас было даже в десять раз больше, вам все равно не устоять против дивизии Монтобана! Оставаться здесь равносильно самоубийству!

— Но мои женщины успешно защищают баррикаду! — возразила Дмитриева.— Мы не хотим отдавать ее врагу! Мы...

— Ваше сопротивление, мадам Дмитриева,— мягко перебил ее Ферре,— имело смысл, пока враг не проник к вам в тыл, не ударил с севера. Поймите, сейчас дорог каждый боец, каждая пара рук, каждый карабин! Мы надеемся организовать сопротивление на высотах Бельвиля и Менильмонтана. Было бы преступно скрывать от вас опасность момента: враг наступает по всему фронту... Мы вынуждены оставить Ратушу. Сейчас она охвачена огнем... Мы отдали приказ поджечь и взорвать ее, задержать этим продвижение врага. Ту же цель имели Брюнель и Пенди, поджигая Тюильри... Подожжен и Пале-Руаяль.

— Значит, вы приказываете нам отступать?! — запальчиво спросила Дмитриева.— Да как же...

— Именем Коммуны и во имя ее! — мягко, но непреклонно подтвердил Ферре.— Поймите, для победы на хол-

мах Бельвиля, может быть, лишь вашего батальона и не хватит!

— Оставьте здесь с десяток добровольцев, чтобы не обнаруживать, что баррикада покинута. Добровольцы должны быть местными, в последнюю минуту им придется уйти по проходным дворам,— добавил Верморель.

От площади Бланш до площади Пигаль Луиза прошла вместе с Ферре, он вел коня в поводу. И лишь сейчас Луиза заметила необычную мрачность Теофиля, нервно вздрагивали губы, дергалось веко левого глаза.

— Что случилось, Тео? На вас прямо лица нет! Мари?!

— Да, и с ней тоже,— не сразу отозвался Ферре.— Не представляю, как я ей скажу!

— О чем, Тео!

— Сегодня на улице Гей-Люссака убили Рауля.— Глаза Теофиля за стеклами пенсне вспыхнули нестерпимой болью.— Как она переживет — не знаю. После победы собирались повенчаться, мечтали о сыне...

Остановившись, Ферре достал сигару, пальцы у него дрожали.

— Расскажите, Тео!

— У меня с утра было недоброе предчувствие! Он явился сегодня в Ратушу в полной военной форме, в мундире — он же командир 114-го батальона. Я удивился этому параду. Спросил: зачем? А он: «Когда федераты видят нас в штатском, им кажется, что мы собираемся в любой момент улизнуть». Что это тебе вздумалось, говорю, Рауль? А он криво так усмехнулся и добавил: «И вообще, когда умираешь, надо по крайней мере выглядеть прилично».

— И как же произошло? — спросила Луиза, помолчав.

— Видите ли... месяц назад Рауль снял в гостинице Кретьена на Гей-Люссак номер на чужое имя. Там в одном из чемоданов хранил важные документы нашей

комиссии. Сегодня утром стало известно, что бои идут около Пантеона, ведь Гей-Люссак — рядом. Ну Рауль кинулся туда: нельзя допустить, чтобы документы попали врагу! Кто-то видел, как он вошел в гостиницу. И только принялся жечь бумаги, вбегает хозяин гостиницы, этот Кретьен... Кстати, он мне и рассказал подробности: ведь Рауль спас ему жизнь... Прибежал бледный как смерть, кричит: «Господин офицер, если вы не спуститесь, они меня расстреляют!» — «Я не трус и не подлец»,— отвечает Рауль и спускается. У него требуют револьвер и саблю, он отдает. Ведут по улице, они еще не знают, кто попал им в руки. Встречают кого-то из версальского штаба. «Кто вы?» — спрашивают те. «Рауль Риго, прокурор Коммуны!» — «Ах вот ты кто, сукин сын! — Приставили к виску револьвер.— Кричи: «Да здравствует Версаль!» А он во весь голос, со своей обычной дерзостью: «Вива, Коммуна! Долой убийц из Версаля!» И повалился с пробитым черепом.

— Как жил во весь рост, так и умер, не согнувшись! — сказала Луиза.

— Да... Кретьен рассказывал еще: обобрали, разули, вывернули карманы, взяли кошелек, часы. Трехцветные дамочки набежали, в мертвые глаза — зонтиками, буржуа — тростями по лицу...

С минуту шагали молча. Луиза плакала. Вдали показались глыбистые, уродливые нагромождения баррикады, перегораживавшей бульвар, над ней на высоком шесте пламенел флаг.

Ферре устало потер лоб, вздохнул. Искоса присматриваясь к нему, Луиза подумала: как же он постарел за три дня! А ведь ему нет и двадцати шести!

Будто подслушав ее мысль, Ферре негромко продолжал:

— Усталость навалилась — сил нет... душевная...— Порылся в карманах, достал сигару.— Сегодня я все-таки

расстрелял шестерых мерзавцев: монсеньора Дарбуа, аббата Дегерри, председателя кассационной палаты Бонжана и трех иезуитов: Дюкудрэ, Клерка и Аллара. Это — за Рауля. Хотя за него полагалось бы уничтожить тысячи и тысячи сволочей! И как же ненавидит их народ! Знаете, Луиза... подписал я приказ директору тюрьмы Ла-Рокетт выдать для казни заложников, но как-то просмотрел, что в списке персонально не значится Дарбуа. И толпа у тюрьмы заорала сотнями голосов: «Архиепископа! Давай архиепископа!» Пришлось на ходу дописать: «И в том числе монсеньора Дарбуа». А когда следователь прокуратуры Фортэн вызвал желающих привести приговор в исполнение, вся толпа закричала в один голос: «Я! Я! Они убили у меня брата! У меня сына! У меня отца!» Всенародная ненависть. Но все это, Луиза, не убавляет скорби и тяжести на душе...

— Почему так долго церемонились с заложниками? — спросила Луиза.— Ведь они убивают федератов сотнями и тысячами! Утром мне сказали: в церкви Святой Мадлен изрешетили и изрубили более трехсот человек.

— Мы боялись, что они в отместку убьют Бланки. А Коммуне так необходима, так нужна его голова, его железная воля! Я верю: появись он среди нас — все сразу пошло бы иначе... А потом, вот увидите: святоши воспользуются казнью Дарбуа, чтобы навлечь на Коммуну злобу всего католического мира!

Они прошли вдоль стены дома за баррикаду: красный шарф Ферре заменял любой пропуск.

— Где же сейчас заседает Коммуна? Где искать вас, Тео?

— Мы перебрались в мэрию одиннадцатого округа, неподалеку от тюрьмы Ла-Рокетт. Но боюсь, что пруссаки откроют версальцам Венсеннские ворота и ударят оттуда нам в спину... Вот такие дела, дорогая Луиза... Положение тр'удное, но, надеюсь, сие не помешает нам

умереть так же доблестно, как умер Рауль... Привет и братство!..

На смену знойному солнечному дню пришла душная ночь, пропитанная гарью и запахом пороха, докрасна раскаленная циклопическими кострами пожаров: все еще пылали Тюильри и Пале-Руаяль, дворец Почетного легиона и Государственный совет, во всю длину горели улицы Лилль и Руаяль, между багровыми набережными Сены катились волны, казалось, не воды, а крови...

Ночь Луиза провела на баррикадах площади Шато-д'О,— сюда отступили с Пигаль, натиск версальцев с Монмартра невозможно было остановить.

Спала она не более получаса, да и сон — зыбкий, прерывистый, тоже как бы опаленный пламенем пожаров — не принес и не мог принести отдыха. Ни на секунду не утихала боль за Марианну: в их районе хозяйничают беспощадные версальцы, а там каждому известно, что Марианна — мать Красной девы Монмартра. Возможно, мамы уже нет в живых!

С горечью спрашивала себя: а что же мешает тебе побежать туда, на улицу Удо, защитить собственной грудью, умереть вместо нее или вместе с ней? Удерживала мысль, что товарищи сочтут предательницей, дезертиркой.

Всю ночь на площади вели лихорадочные работы, готовились к неизбежному утреннему штурму. От Шато-д'О радиально расходятся во все стороны семь широких улиц, нападения следовало ожидать прежде всего по бульварам Манжента и Сен-Мартен, а также со стороны канала Сен-Мартен, если версальцам удастся овладеть укреплениями федератов на набережной Вальми. Баррикады наращивались камнями и спиленными тут же деревьями, за ними устанавливали привезенные Брюнелем пушки десятого легиона.

В красном отблеске пожаров люди казались не то привидениями, не то персонажами фантастического спектакля. Да и все кругом было до того неправдоподобно, что Елизавета Дмитриева призналась Луизе со странной улыбкой:

— Сколько бы ни прожила, наверно, не смогу позабыть эту картину. Даже не верится, мадемуазель Луиза, что где-то сейчас течет тихая мирная жизнь, журчат ручьи и поют птицы...

Из кромешной багровой полутьмы в короткие просветы тишины до женщин долетал властный голос Брюнеля.

— Вы знаете командующего обороной Шато-д'О? — спросила Дмитриева,— перо ее шляпки качнулось в сторону голоса.

— О да! — отозвалась Луиза.— Под командой генерала Брюнеля я защищала форт Исси. Он — настоящий патриот и пламенный республиканец, вместе с Эдом, Дювалем и Флурансом — один из наиболее любимых командиров гвардии. Член ее ЦК и Коммуны.

Луиза почувствовала осторожное прикосновение к руке. Оглянулась и в перепачканном сажей мальчишке не сразу узнала Жака.

— Жак! Милый!

На чумазом лице блеснули в улыбке зубы.

— Я искал вас, мадемуазель Луиза! Я забегал к мадам Марианне...

— Она жива?! — Луиза схватила мальчугана за плечи.

— Да, да! Просила передать, что благословляет вас. И всех наших. И дала вам хлеба.— Он ощупью нашел за пазухой ломоть, завернутый в обрывок газеты.— Вот...

— Ну нет, милый! Ешь сам! Сию же минуту.

— А вы?

— Я не голодна.

С нежностью и жалостью смотрела, как мальчик глотает непрожеванные куски.

— Ну а что на Монмартре, Жак?

— О, мадемуазель!..— Голос мальчика странно зазвенел.— Они там... на улице Розье... где тогда убили генералов Леконта и Тома, помните?

— Ну, ну!

— Они пригнали к дому номер шесть больше сорока человек. Среди них и женщины, и дети. Их заставили стать на колени там, где убили генералов. Одна женщина ни за что не хотела... Она прижимала к себе ребенка и кричала другим: поднимитесь! Покажите зверям, что мы умеем умирать гордо!

Жак не мог говорить дальше.

— И... их убили? — глухо спросила Дмитриева.

— Да, мадам! И потом стреляли в тех, кто шевелился. Они убивают всех, кто в сапогах или в годильотах... Мертвые лежат везде...

И снова темная волна тревоги опрокинулась на Луизу.

— А где же твой карабин? — спросила, стараясь подавить волнение.

— Бросил, мадемуазель Луиза. Осколком разбило приклад — стрелять нельзя. Но я найду другой! Утром же будет бой...

Бессильный рассвет вползал в улицы, высветляя слепые фасады, рябые от ударов снарядов, нащупывая в клубах дыма шпили церквей и соборов. Огненные стены горевших улиц и высокий костер Тюильри тускнели, отодвигались. В облаках кирпичной и известковой пыли рушились дома, красными тяжелыми птицами летела черепица крыш, опрокидывались колонны подъездов, дымовые трубы и фонарные столбы.

Словно вспаханные чудовищным плугом, простирались разрушенные улицы. Мостовые и стены домов алели пятнами крови. И — убитый мальчишка, заброшенный взрывом на балкон второго этажа и как будто молящий о помощи свешенными через перила руками. И белень-

кая кошка с розовым бантом на шее, мяукающая на подоконнике горящего изнутри дома...

В тот день Луиза не делала пометок на прикладе карабина: перед лицом неминуемой гибели это не имело смысла. Да она и сама потеряла счет тем, кто, оказавшись под ее прицелом на той стороне баррикады, падал после ее выстрела. Перезаряжая карабин, оглядывалась на испачканные пылью и пороховой копотью лица: Аня Жаклар с рассыпанной по плечам светлой косой, невозмутимая, как всегда, в сбившейся на ухо шляпке с пером, чумазая, но все равно покоряюще красивая Елизавета Дмитриева, Натали Лемель, разрывающая на себе кофту, чтобы сделать кому-то перевязку...

Изредка взгляд Луизы среди черного и серого ловил мелькание красного цвета — члены Коммуны сражались на баррикадах, опоясанные своими красными шарфами с золотыми кистями, а члены ЦК гвардии — в таких же, но отделанных серебром. Она замечала в дыму и пыли фигуры Ферре, Брюнеля, Вермореля, Делеклюза, Лефрансе, Лисбонна. Грохот боя заглушал голоса, но она, в силу какой-то необъяснимой интуиции, понимала то, чего не могла расслышать. И перед ней вставала картина невиданного в истории человечества сражения, участницей которого она была.

Сражение постепенно сдвигалось от бульвара Тампль к бульвару Вольтера — на всем протяжении от Шато-д'О до площади Бастилии. Отступая, федераты поджигали и взрывали дома, воздвигая между собой и врагами огненную стену. Кто-то незнакомый Луизе кричал за ее спиной, что в левобережье Врублевский вынужден был оставить Люксембург, Пантеон и парк Монсури, что немцы пропустили вверх по Сене версальские канонерки и теперь эти суда прицельным огнем бьют по берегам реки... Но площадь Бастилии держится...

Что же еще из того дня навсегда отпечаталось в соз-

нании? Как, удивленно вскинув брови, пошатнулась от невидимого удара и опустилась на камни Елизавета Дмитриева? Как укладывали на носилки окровавленного Брюнеля? Как последний раз помахал тебе дымящейся сигарой Теофиль? Как бесстрашно маленький Жак водружал над баррикадой вместо сбитого снарядом новый флаг?.. Да, и это, и чьи-то вскрики и стоны, и мяуканье обреченной кошки. И почему-то весь тот день звучал в ушах исступленный и страстный голос Лефрансе: «Да, я из тех, кто одобрял и считал абсолютно моральным сжечь этот монархический, ненавистный символ мерзкого прошлого, который назывался Тюильри! Да, я из тех, кто трепетал от радости, глядя, как полыхает мрачный дворец, откуда столько раз исходили приказы о расправах с народом и где было задумано и прославлено столько преступлений!»

Но в кровавой мешанине событий дня было одно, которое запечатлелось в мозгу Луизы словно вырезанное в камне алмазным резцом,— она не могла позабыть его всю остальную жизнь. Смерть Делеклюза.

Днем она видела военного делегата Коммуны несколько раз, его сутуловатая фигура то появлялась на площади, то исчезала. В библиотечном зале мэрии одиннадцатого округа последний раз заседали члены Коммуны. Здесь они приняли решение попытаться сохранить жизнь оставшимся коммунарам и через посредство американского секретаря Уошберна договориться с Версалем остановить бойню. Но, как Луиза узнала гораздо позже, со стороны американского секретаря предложение о посредничестве было просто провокацией, ибо в тот же день Уошберн сказал шотландскому журналисту Роберту Риду: «Каждый, кто принадлежит к Коммуне, и все, кто ей сочувствуют, будут расстреляны».

Преодолевая отвращение, презирая эту попытку примирения с Версалем, но желая спасти от гибели остав-

шихся в живых товарищей, Делеклюз вместе с Вайяном, Верморелем и Арнольдом в сопровождении Уошберна отправился к Венсеннским воротам. Но национальные гвардейцы, охранявшие ворота, отказались пропустить делегацию: у нее не было пропуска, подписанного Ферре. Гвардейцы заподозрили делегатов в попытке предательства, бегства во имя спасения собственной шкуры. Под охраной штыков в какой-то винной лавке на Тронной площади Делеклюз, пораженный стыдом и горем, твердил:

— Я не хочу больше жить... Нет! Для меня все кончено!

По его настоянию решили ждать, пока принесут подписанный Ферре пропуск, и вернулись на Шато-д'О...

Но подробности Луиза узнала много позже, а в тот день...

К вечеру она окончательно выбилась из сил, почти оглохла, голова казалась кипящим чугунным котлом, готовым взорваться. Во рту пересохло, мучительно хотелось пить. Когда жажда стала непереносимой, Луиза поднялась,— очередная ожесточенная атака отбита, версальцы отогнаны ружейным и орудийным огнем.

Она вспомнила, что на бульваре Вольтера возле мэрии из стены торчит кран, из которого на тротуар капает вода. Облизывая потрескавшиеся, кровоточащие губы, побежала через площадь, огибая воронки и трупы.

Почти добежав до мэрии, увидела Делеклюза. Он вышел на крыльцо в черном сюртуке и шляпе, перепоясанный красным шарфом, без оружия, только с тростью. Что-то торжественное и непередаваемо печальное было во всем его облике, в том, как он долгим взглядом, словно прощаясь, посмотрел на запад, где в багровые дымы пожаров садилось солнце. Луизу поразила белоснежная рубашка Делеклюза,— все кругом было до черноты закопчено и запылено.

Следом за Делеклюзом шли коммунары Журд и Жоан-

нар, журналист Лиссагарэ и кто-то еще,— пораженная видом Делеклюза Луиза не успела рассмотреть. Делеклюз неспешно шагал, опираясь на трость, болезненно худой, измученный, седая бородка отливала серебром.

Мимо остановившейся Луизы пронесли к мэрии носилки с истекающим кровью Вермарелем, и шедшие за Делеклюзом остановились, окружили носилки, наклонились, пытаясь расслышать, что почти неслышно говорит Верморель. Кто-то окликал его по имени:

— Огюст! Огюст! Ты слышишь меня?

Но Луиза, словно загипнотизированная, не могла отвести взгляда от трагического лица Делеклюза, и он почувствовал ее напряженный, обжигающий взгляд. Посмотрел и после недолгого раздумья подозвал к себе коротким, властным кивком. Она подошла.

— Вы женщина,— сказал Делеклюз спокойно и неторопливо.— У вас больше шансов пережить эту ужасную бойню. Если останетесь живы, передайте, пожалуйста, моей сестре. Адрес здесь.

Он достал из кармана сюртука и протянул Луизе конверт. И добавил совсем тихо:

— Бедная моя Аземия!

И зашагал дальше, к площади. Луиза невольно пошла следом. Но он оглянулся, нахмурился и сказал строго:

— Не ходите за мной! И не мешайте мне. Я не хочу, чтобы о Делеклюзе говорили, что он пытался спастись бегством. Я — военный делегат Коммуны и разделю участь ее бойцов...

Он дошел до конца бульвара Вольтера, постоял на краю площади и затем так же неспешно двинулся влево, вдоль баррикады. Но успел он пройти не более десяти шагов, под ногами у него брызнул во все стороны огонь взрыва, вскинулся черный фонтан земли. И Делеклюз, выронив трость, опрокинулся навзничь на мостовую...

— Кончено. Он этого и хотел...

Ночью положение на площади Шато-д'О стало критическим.

Одна за другой появлялись здесь разрозненные группы федератов, сражавшихся на примыкавших улицах. Под натиском врага, наступавшего от Северного и Страсбургского вокзалов, форсировавшего каналы Уре и Сен-Мартен, инсургенты вынуждены были оставить баррикады на набережной Вальми и дали врагу возможность занять Таможню. Так возникла опасность выхода версальцев на Фобур дю Темпль, на бульвары Виллет и Бельвиль, что перерезало пути отхода коммунаров к их последней надежде — Бельвилю.

Прибывавшие из центра также приносили дурные вести. Солдатам Винуа удалось взорвать ворота казармы принца Евгения, и после кровавого штыкового боя они овладели казармами и Торговым пассажем. Это дало им возможность через улицы Риволи и Сент-Антуан ударить по второй цитадели восставших — по площади Бастилии.

На Шато-д'О было светло словно днем: вокруг площади горели дома. Когда обваливались крыши и стены, вихри искр огненными столбами вздымались к черному, дымному небу, осыпались на головы и плечи; одежда на убитых дымилась и тлела. Вокруг разбитого фонтана в центре площади валялись поверженные каменные львы. На канале Сен-Мартен горели баржи с керосином, оттуда несло зловонный дым.

Маленький Жак все время крутился возле Луизы,— может, в ее присутствии чувствовал себя хоть немного защищенным, все же она была ему не совсем чужой. Он шнырял вдоль баррикад, доставал патроны из карманов убитых, два раза приносил Луизе воды в консервной жестянке, привел незнакомую седую женщину с корзинкой еды,— она заставила Луизу съесть кусок хлеба и конины.

— Да пребудет с нами дева Мария! — молилась старушка.

Бой не стих и ночью. Издали Луиза замечала в дыму Журда и Жоаннара, опоясанных неизменными шарфами, видела Врублевского,— отказавшись принять главное командование, генерал возглавлял защиту Шато-д'О. Ферре не появлялся. Может, и его уже постигла участь Домбровского, Брюнеля, Верморелля? Исчезла с баррикад и раненая Дмитриева.

Предчувствие неизбежного и скорого поражения овладевало Луизой, но она знала, что ей не пришло время умирать: нужно узнать, что с мамой, где Теофиль, необходимо передать сестре Делеклюза предсмертное письмо. Не прикасаясь, Луиза чувствовала на груди этот скорбный листок.

Пасмурное утро застало ее и Жака на площади Бастилии. Опасаясь обхода Шато-д'О с севера и северо-востока, коммунары покинули полуразрушенные баррикады, отступили по бульвару Вольтера. Большинство понимало, что они удерживают последние позиции, что агония Коммуны началась. Но тот, кто оставался верен Коммуне, предпочитал смерть с оружием в руках постыдному плену, который все равно окончился бы гибелью: Версаль не щадил пленных. «Жить стоя или умереть в бою!» — кто знает, сколько раз повторялись в те часы эти мужественные слова?

В дымных предрассветных сумерках в центре площади Бастилии гигантским факелом пылала колонна свободы,— горели подожженные снарядами флаги, красные полотнища и венки, которыми парижане щедро украшали колонну со дня февральских манифестаций.

Начался дождь. Стеклянно блестели булыжники мостовых, клокотали в водосточных желобах мутные пузыристые ручьи, несли вдоль тротуаров обгорелую листву и бумажный пепел, омывая трупы, окрашивались кровью.

По площади Бастилии версальские батареи били не только с запада и севера, с улиц Сент-Антуан и бульвара Вольтера, сотни снарядов летели со стороны Лионского вокзала и от моста Аустерлиц,— это стреляли с Сены вражеские канонерки.

Немыслимая, нечеловеческая усталость давила — которая ночь без сна! — валила с ног. Временами Луиза переставала понимать, что происходит. Но бой на площади Бастилии запомнился ей: именно здесь шальная пуля поразила Жака. Мальчишка бежал к Луизе, видимо, собираясь что-то сказать, но не добежал шагов десять, остановился, словно наткнувшись грудью на невидимую преграду. Вскрикнул:

— Ах, ты! — И, опускаясь на колени, прижимая к лицу ладони, пробормотал: — Мадему-у...

Швырнув карабин, Луиза бросилась к мальчишке, но уже никто и ничем не мог помочь маленькому Жаку. Он лежал лицом вверх, глядя остывающими глазами в брызжущее дождем небо, мягкие мальчишеские губы шевелились, силясь выговорить последнее слово.

— Жак! Жак! — кричала Луиза, тряся его за плечи.

Подхватив легонькое тело, оттащила его под укрытие стены, уложила на тротуар. В это время ударившим в баррикаду снарядом, словно ножом, срезало древко флага, и прямо к ногам Луизы упало красное полотнище. Она инстинктивно схватила его, продолжая окликать мертвого:

— Жак! Жак! Как же ты?!

Поняв, что для него все кончено, она накрыла лицо мальчика красным полотнищем. Но сейчас же подумала, что как раз это даст версальцам повод издеваться над убитым. И, оторвав полотнище флага от обломка древка, сунула себе за борт мундира. Лицо мертвого прикрыла носовым платком,— что еще могла она для него сделать?

— Прощай, милый Жак!

Бои на Тронной площади, недавно переименованной Коммуной в площадь Наций, а также оборону баррикад на улице Ла-Рокетт Луиза вспоминала потом как полузабытый сон, все — как в дыму, как в бреду. И бой на кладбище Пер-Лашез, ночью, под проливным дождем, вокруг могил и в склепах; бронзовые и мраморные изваяния, на секунду возникающие из тьмы, небывалое ожесточение последней схватки. Бились штыками, ружейными прикладами, саблями, ножами.

Коммунары сражались до последнего патрона, до последнего взмаха руки, но в пролом, пробитый ядром в кладбищенских воротах, на Пер-Лашез лезли новые полчища версальцев. Федераты отступали к высокой белой стене, отделявшей кладбище от улицы Репо, и здесь гибли в кольце врагов.

В этот страшный час Луиза не покинула товарищей. Но почти в конце сражения, получив остервенелый удар прикладом в грудь, уронив карабин, она опрокинулась навзничь в заполненную дождевой водой воронку.

Очнулась, когда бой на кладбище стих, лишь кое-где хлопали одиночные выстрелы. Долго лежала не в силах осознать, где она и что с ней. Шелестел, пробиваясь сквозь листву деревьев, теплый майский дождь, она облизывала с запекшихся губ пресные капли. Смотрела перед собой и долго не могла понять, что это смутно видится ей над краем земли? Голова раскалывалась от боли, перед глазами то появлялся, то исчезал мраморный ангел с высоко поднятым крестом, взблескивали позолоченные копья ограды.

Когда пошевелилась, нестерпимая волна боли плеснулась на нее и лишила сознания.

Лишь после многократных попыток ей удалось опереться руками о дно ямы и только тогда поняла, что странные предметы, торчащие перед глазами,— это ее собственные ноги в гвардейских годильотах,— они за-

стряли на краю ямы, выше головы. Что-то жестяно шелестело под руками,— нащупала жесткие, зазубренные листочки, с чьего-то надгробия свалился на нее венок — может быть, он и спас ей жизнь...

С трудом сдерживая стоны, выкарабкалась из ямы, которая могла бы стать ее последним пристанищем. Нащупала в темноте могильный камень и села, оперев на ладони разрывавшуюся от боли голову. Кепи потерялось, волосы вымокли и слиплись от грязи.

Она ни о чем не думала — какая-то инстинктивная, независимая от ее воли сила распоряжалась ею: заставила встать, оправить куртку и пойти в ту сторону, где помнились ворота. Спотыкалась о трупы и падала, снова вставала и шла.

Остатки сознания вели ее: она обязана что-то сделать, должна... Мама? Теофиль?

У ворот остановилась и ощупала грудь. Нет, не пропало, здесь!.. И на мгновение мелькнула в памяти согбенная и в то же время величественная фигура Делеклюза на фоне баррикады и замутненного дымом багрового неба...

Она не могла потом вспомнить, каким чудом отыскала дом сестры Делеклюза, как вскарабкалась по крутой лестнице, не могла объяснить, как не схватили ее на улицах патрули версальцев... Она как бы очнулась от мутного сна лишь в чистой и светлой комнатке, где в бронзовом подсвечнике теплилась на столе свеча.

Луиза разглядела перед собой высокую худенькую женщину,— тонкие черты удлиненного лица смягченно повторяли черты Делеклюза, светло-синие глаза смотрели с вопросом и тревогой.

— Вы от Шарля?

Ответить Луиза не могла. Расстегнув пуговки мундира, достала и молча протянула влажный конверт. Аземия бережно взяла письмо и отошла к столу, где горела

свеча. Лицо стало суровее, строже, в углах рта легли скорбные складки. Луиза обессиленно села у порога на стул.

Аземия с письмом в руке подошла к Луизе.

— Я знала, что его жизнь окончится трагически,— сказала она негромко.

— Что пишет? — через силу шевеля губами, спросила Луиза.

— Вот. Прочтите.

Луиза взяла крупно исписанный лист, но строки прыгали и расплывались перед глазами.

— Не могу. Не вижу. Прочтите, пожалуйста...

Аземия взяла письмо и снова отошла к столу. Подавляя волнение и слезы, прочитала вслух:

— «Моя дорогая сестра! Я не хочу и не могу быть жертвой и игрушкой победившей реакции. Прости, что умираю раньше тебя, которая пожертвовала для меня всей своей жизнью. Но после стольких поражений я не в силах пережить еще одно... Я тысячу раз целую тебя, любимая. Воспоминание о тебе будет моей последней мыслью. Благословляю тебя, моя горячо любимая сестра; ты одна, с момента смерти нашей бедной матери, являлась для меня семьей. Прощай, прощай! Еще раз целую тебя. Твой брат, который будет любить тебя до последнего мгновения. Шарль Делеклюз...»

Они долго молчали, потом Аземия спросила:

— Вы видели?

— Да. Он хорошо умер.

— Где?

— На Шато-д'О. В начале бульвара Манжента...

Опять помолчали, и Луиза с усилием встала, держась рукой за косяк двери.

— Ну, я пойду...

Отложив письмо, Аземия бросилась к ней:

— С ума сошли! Да вас же расстреляют в вашем

костюме на первом перекрестке! И думать нельзя! Сейчас же раздевайтесь! Снимайте все до последней нитки! Идите вот сюда, за ширму. Раздевайтесь. А я сварю кофе: вам необходимо подкрепиться. Сейчас я дам вам свое платье...

Через полчаса, умывшись и переодевшись, Луиза сидела с Аземией за столиком в крошечной кухне перед чашкой кофе и печально смотрела в огонь печки, где догорали ее гвардейские штаны и мундир. Она словно бы прощалась с самым ярким и дорогим в ее жизни, прощалась с Коммуной. Рассказывала Аземии о пережитом за дни кровавой недели, а потом слушала ее воспоминания о Делеклюзе.

— Он всегда был не от мира сего,— говорила Аземия.— Вся жизнь — борьба либо тюрьма. И — ничего для себя, как все истинные революционеры...

Ушла Луиза из гостеприимной квартиры, когда полностью рассвело. Прощаясь, Аземия сказала ей:

— Если придется скрываться, помните: мой дом — ваш дом! Постойте, я дам вам немножко денег...

В чужом недорогом, но хорошо сшитом платье, в кокетливой синей шляпке Луиза вначале чувствовала себя скованно; за два месяца привыкла к солдатской одежде и обуви. Аземия настояла, чтобы Луиза взяла еще зонтик и сумочку,— «безопаснее, мой друг, если вы будете выглядеть чуть-чуть буржуазкой, поверьте мне... Подождите, я выйду вместе с вами...»

— Вы — туда?

— Да. Не могу оставить Шарля на глумление им!..

Так они встретились в первый и последний раз...

И опять перед ней был какой-то иной, новый Париж, какого она никогда раньше не видела. Еще дымились пожарища, местами развалины домов полностью перегораживали улицы, еще кисло пахло порохом, но уже весело

шелестели по мостовым колеса возвращающихся из Версаля карет. Спешили к своим дворцам и особнякам перепуганные восстанием князья и графы, бароны и герцоги, попы и банкиры. В одной из карет Луиза увидела Дантеса, его холеное лицо сияло довольством и торжеством. Привстав, он толкал кучера в спину и покрикивал на солдат, разбиравших мешавшую проехать баррикаду. Трехцветная лента украшала его цилиндр.

Сдерживая рвущийся из горла крик, Луиза бежала по чужому ей Парижу, засовывая глубже в карманы жакетки дрожавшие от ненависти кулаки. Значит, заново возвращается все гнусное и подлое, снова несчастную Францию будут терзать тьеры и мак-магоны, снова, глядишь, объявятся новые претенденты на престол, очередные «спасители нации», «цвет и гордость» отечества. Опять завертится, засверкает бешеное колесо разврата и роскоши, и снова — нищета и бесправие тысяч и тысяч!

Словно подтверждая ее мысли, где-то неподалеку ударили колокола, им отозвались другие, и еще, и еще,— Париж толстосумов и иезуитов праздничным звоном встречал день своего торжества.

Объезжая дымящиеся развалины, по улице Риволи проскакала кавалькада офицеров,— по моржовым усам Луиза узнала генерала Винуа, помахивая лайковыми перчатками, он важно отвечал на приветственные крики толпы.

А бойня продолжалась! По середине улицы версальский конвой, подгоняя штыками и прикладами, вел окровавленных и измученных федератов. И толпа на тротуаре улюлюкала, плевалась и кидала в пленных камнями и палками. С каким трудом Луиза удерживалась, чтобы не броситься к пленным. Ведь я же с вами, дорогие! Хочу разделить вашу боль, хочу умереть рядом!

Но перед глазами возникало бледное, с дрожащими

губами и полными слез глазами лицо Марианны! Теперь Луиза была убеждена, что победители не оставят в покое ее мать, будут выпытывать, где дочь, будут издеваться и мучить. И только ты одна можешь ее спасти!

А праздничный перезвон перекатывался над Парижем, и щедрое солнце, разогнав вчерашнее ненастье, золотило кресты и шпили и плавилось и плескалось в дождевых лужах. И где-то спозаранку гремела оркестровая медь, и били армейские барабаны, и играли бодрую команду рожки. Конечно, не сегодня завтра версальские генералы устроят грандиозный парад и смотр войскам. Будут раздавать направо и налево ордена и медали: как же, Коммуна повержена, Коммуна побеждена! И пьяное офицерье будет шиковать с «легкими» девочками по ресторанам, похваляясь, как они лихо расправились с Парижем нищих и обездоленных. И на сколько же опять десятилетий тьма, кромешная, зловонная, сверкающая позолотой тьма?.. Нет ответа, и нет освобождения от гнетущей муки, не видно просвета...

Когда проходила мимо казармы Лобо, в ее ворота загоняли очередную партию пленных федератов. За чугунными воротами, вдоль кирпичной стены, Луиза увидела нагромождение трупов и несколько сот обреченных, ожидающих расправы. Да, если бы не предусмотрительность Аземии, ты была бы сейчас вместе с ними, и у тебя не разламывалось бы сердце, будто на самом деле изменила, предала...

Кусая губы, она бежала, не замечая, не видя улиц и переулков, не чувствуя боли ушибов, когда перелезала через развалины и баррикады, то и дело натыкаясь на трупы. А медный рык колоколов неистово бил в уши, сводил с ума...

И вдруг что-то толкнуло в сердце, заставило остановиться и оглядеться. Да, эта улочка, безусловно, ей зна-

кома, но она не сразу поняла, что привело ее сюда! Минуту с удивлением разглядывала невзрачный, облупившийся фасад, выщербленные камни тротуара.

Но — как же могла забыть?! Мари! Старики Ферре!

И словно не было смертельной усталости,— птицей взлетела по крутым лестничкам, не постучала, распахнула дверь. И сразу увидела обеих Мари — старую и молодую. Ни старика Лорана Ферре, ни брата Теофиля не оказалось дома. Мари лежала пластом, бледная, как покойница, а старуха Ферре с безумным взглядом бродила по комнатам, что-то бормоча. Старая Мари даже не взглянула на Луизу, продолжая деловито осматривать квартиру, окликая сыновей.

— Поли!.. Тео!.. Да куда же вы попрятались?

Мари посмотрела на Луизу опустошенным взглядом.

— Они убили Рауля...

И такое горе прозвучало в голосе, что Луиза не нашла слов утешения, молча присела возле, взяла руку:

— Мари, я не знаю, что лучше: смерть в бою или...

На лестнице послышались громкие голоса и топот сапог. Мари и Луиза переглянулись, но старуха продолжала бродить по комнатам и кухне, заглядывая в углы.

Дверь распахнулась. На пороге появился жандармский офицер, за его спиной блестели штыки, брядали сабли, в руке офицера револьвер.

— Квартира Ферре?!

— Да! — с усилием кивнула Мари.— Что вам нужно?!

— Мне нужен бандит Теофиль Шарль Ферре, один из главарей Коммуны! Где он?

— Он давно не живет здесь.

— А где?! Где мерзавец прячется?! Ну, говори! — Офицер ткнул дулом револьвера Мари в бок.— Ты — сестра? Любовница? Шлюха?!

— Вам не привыкать убивать женщин,— спокойно ответила Мари.— Убейте меня, я вам спасибо скажу.

— На дьявола мне твое спасибо! Мне нужен негодяй, расстрелявший монсеньора Дарбуа! О, с каким наслаждением я сдеру с него шкуру! Ну!

У Луизы отлегло от сердца,— значит, Теофилю пока удалось избежать гибели и плена, но с новой силой ее охватила тревога за Марианну: скорее, скорее туда, на улицу Удо! Она очнулась, когда дуло повернулось к ней.

— А ты?! Кто ты?! — кричал офицер.— Ну!

Луиза молчала. Швырнуть бы ему в морду свою гвардейскую книжку, единственное, что решилась сохранить. И она, конечно, так и сделала бы, если бы не мама Марианна!

— Не кричите на нее,— устало попросила Мари.— Она глухонемая.

Трудно сказать, что произошло бы дальше, но тут жандарм обратил внимание на старуху Ферре, которая продолжала бесплодные поиски, бормоча:

— Мальчики... мои мальчики...

Офицер бросился к ней:

— Да, да, мадам Ферре! Где они, ваши милые, ненаглядные мальчики?! Нам тоже хочется их повидать, любезная мадам Ферре! — Жандарм впился напряженным взглядом в лицо старой женщины.— Ну! Где? Где? Где?!.. Иначе заберем дочь! Заберем и убьем!

— Мама! — крикнула с постели Мари.

Но было поздно. Старуха с беспокойством оглянулась на приподнявшуюся в постели дочь.

— Нет, нет, ее нельзя... а мальчики... улица Сен-Совер...

Студенистые глаза радостно блеснули, офицер повернулся к ожидавшим у порога солдатам.

— Сен-Совер! Слышали?! Мы перекопаем улицу так, что ни одна вошь не уйдет живой! За мной!

И они ушли, грохая каблуками и бренча саблями.

Луиза кинулась на улицу Удо. И предчувствие не

обмануло. Дверь в квартиру была раскрыта настежь. Финеттка валялась посреди комнаты в луже крови.

— Мама! Мама!

Никого. Луиза сбежала по лестнице, ворвалась к консьержке.

— Мадам Ленуа! Где мать?!

— О, мадемуазель Луиза! Ее недавно увели. Все спрашивали про вас. И Финеттку из ружья убили, она бросалась на них.

— Куда повели?

— Вверх по улице, на гору...

Луиза бежала, чуть не падая, натыкалась на встречных,— мерещилось, что опоздала, что Марианну уже расстреляли. На нее оглядывались, как на безумную, да она, пожалуй, и была безумна. Кто-то объяснил ей, что пленных и арестованных согнали во двор 37-го бастиона, но что́ собираются с ними делать — неизвестно.

Да, двор бастиона был набит людьми — рабочие, гвардейцы, женщины и даже дети.

Часовые у ворот поначалу не хотели впускать Луизу, но она кричала, что у нее неотложное дело к коменданту бастиона, и ее провели к нему. Она пыталась найти взглядом Марианну, но людей во дворе было слишком много. Снова стал накрапывать дождь, и люди прятались под случайные укрытия, кутались во что попало.

Комендант стоял под навесом в кучке офицеров,— о чем-то переговаривались, смеялись. Щеголеватый комендант, прищурившись, оглядел Луизу, тугие полные щеки полыхали румянцем.

— Чем могу служить, мадам?

— Ваши солдаты забрали мать! Отпустите ее! Я — Луиза Мишель!

Сочные губы под каштановыми усиками протяжно свистнули, а стоявший рядом капитан обрадованно хохотнул:

— Вот так подарок, полковник! Красная дева Монмартра сама пришла за своей смертью! Потрясающе!

И все захохотали, оглядывая Луизу.

— Вы не верите мне?! — продолжала Луиза.— Отпустите мать! Она где-то здесь. Вот моя гвардейская книжка!

С удивлением и даже, пожалуй, с уважением комендант взял маленькую картонную книжку.

— Вы знаете, что вас ждет?

— Да! Я не боюсь смерти!

Комендант смотрел напряженно и с недоверием,— видимо, в его голове не укладывалось: как можно не бояться смерти, как можно не любить жизнь с ее прелестями и удовольствиями?! Он отдал Луизе гвардейскую книжку.

— Как имя матери?

— Марианна.

Комендант повернулся к молодому капралу:

— Жан! Вытащите из могилы Марианну Мишель, а на ее место суньте эту фанатичку, раз уж ей так не терпится умереть!

Козырнув, капрал направился к мокнувшей под дождем толпе. Донеслось:

— Марианна Мишель! Марианна Мишель! Марианна...

Прощание с матерью было тягостным: Марианна никак не хотела оставлять дочь.

— Да ничего они мне не сделают, ма! — убеждала Луиза.— Подержат два-три месяца в тюрьме и отпустят. А ты, дорогая, будешь носить мне передачки. Иначе я ведь умру с голоду: в тюрьмах отвратительно кормят...

Может, последнее и убедило Марианну, но, прежде чем уйти, она долго плакала и крестила дочь и, стоя в воротах бастиона, махала рукой.

— Идите! — приказал Луизе комендант, махнув перчатками на толпу арестованных.

И Луиза пошла к своим, к людям, которых считала родными по крови, по идеям, по судьбе. И странное душевное спокойствие овладело ею, снова она стала сама собой, не было нужды скрывать мысли и чувства. И что бы палачи с ней ни делали, им не удастся сломить ее волю и гордость, они не заставят ее просить у них милости и пощады!

Отдав зонтик Аземии женщине с ребенком, Луиза бродила в толпе, отыскивая знакомых. Только об одном сейчас жалела — о сожженном солдатском мундире, заношенном и пропахшем порохом,— именно в нем она впервые почувствовала себя свободным человеком и по-настоящему борцом.

Теперь Луиза попыталась трезво оценить события. Итак, все кончено. Коммуна раздавлена. Что ждет бывших федератов и их семьи, десятки тысяч которых согнаны вот так, как здесь, во дворы парижских казарм и бастионов, могут ли они рассчитывать на милость победителей? Ой, вряд ли, Луиза! Ты же видела расстрелянных женщин и мальчишек...

И словно специально для того, чтобы ответить на ее вопросы, в воротах бастиона появилась конная группа. По золотому шитью мундиров, по множеству звезд и орденов Луиза догадалась, что явились высшие чины армии-победительницы.

Вскинув руку к козырьку кепи, комендант рапортовал генералу о состоянии дел во вверенном ему гарнизоне, тот удовлетворенно кивал. Потом сопровождаемый свитой генерал проехал вдоль линии часовых, поправляя тыльной стороной ладони лихо закрученные усы. Надменное, жестокое лицо было знакомо Луизе по многочисленным карикатурам,— вот он, один из палачей рабочего Парижа. И она не ошиблась. Натянув поводья,

генерал остановил великолепного, породистого коня и рассмеялся — торжествующе и зло.

— Ну! Ждете своего смертного часа, грязные выродки! Ничего, я не заставлю вас долго ждать. Я — Галифе! Ваши подлые газетенки достаточно обливали меня грязью. Теперь я беру реванш! Вы считаете меня жестоким, господа с Монмартра, но я гораздо жесточе, чем вы думаете! Вы убедитесь в этом на собственных шкурах, пичтожества, возмечтавшие о власти!

Склонившись с седла, Галифе что-то приказал коменданту, и тот, послушно козырнув, передал команду офицерам бастиона. И сразу все пришло в движение. Из каменных казарм выбегали вооруженные карабинами солдаты, отдыхавшие от караула, тесным, железным кольцом обжимали пленных.

«Ну вот, кажется, и пришел твой час, Луиза Мишель! Приведи же в порядок заляпанный грязью костюм, поправь растрепавшиеся волосы. Смерть завершает человеческую жизнь, и надо умереть так, чтобы никто не посмел сказать: «Красная дева Монмартра не оправдала данного ей имени, она струсила в последнюю минуту! Не будет этого, не будет никогда!»

Галифе и его свита отъехали в сторону, а солдаты конвоя, тыча пленных штыками и саблями, заставляли их проходить перед генералом. Глаза Галифе смотрели холодно, закрученные усы вздрагивали.

— Направо! Направо! Налево! — командовал, взмахивая плеткой, генерал, и, подчиняясь его жесту, конвоиры сортировали людей. Многие не понимали смысла этой зловещей сортировки, но большинство, как и Луиза, приводили в порядок свою одежду. Кто-то громко молился, испуганно плакал ребенок на руках женщины, которой Луиза отдала зонт.

А дождь все лил. Черным глянцем сверкали клеенчатые плащи офицеров, суетился, наблюдая за порядком,

комендант. Продолжали пасхально трезвонить бесчисленные колокола.

Луиза оказалась «налево», штык конвоира сильно оцарапал ей руку. Она еще не могла определить, что уготовано тем, кого штыками отогнали к кирпичной стене «направо», и тем, кто, подчиняясь конвою, очутился неподалеку от ворот. Но вот одна из женщин, немолодая и изнуренная, проходя мимо Галифе, бросилась к нему, обхватила руками сверкающий сапог. Вздрогнув, Галифе откинулся в седле, тень испуга пролетела по падменному лицу. Но он сейчас же справился и оттолкнул женщину ногой.

— Генерал! Генерал! — кричала она.— Мой муж не виноват! Он не сражался! Будьте милосердны, генерал!

— Где ваш муж? — спросил Галифе, улыбаясь углом рта.

— Катрин! Стыдись! — крикнул мужской голос из толпы «направо», и Луиза увидела добротно одетого пожилого человека в пенсне,— он мог быть учителем или врачом.

Женщина продолжала:

— Не виноват! Он ничего не делал! — И все порывалась снова схватить генеральский сапог с серебряной шпорой.

— Мадам! — усмехнулся Галифе.— Перестаньте играть комедию! Поверьте, я бывал во всех театрах Парижа, меня не обмануть! А у вашего мужа слишком независимый вид, он вполне заслужил пулю. Уберите ее!

Вскоре сортировка закончилась, Галифе жестом подозвал коменданта. Прищурившись, оглядел пленных «направо», у кирпичной стены, поиграл желваками чисто выбритых щек.

— Из митральез, полковник! Эта падаль не стоит, что-

бы на каждого тратили пулю! А этих,— он презрительно махнул на согнанных к воротам,— в Версаль, в Саторн! Там земли для всех для них хватит!

Конвой принялся подталкивать людей штыками к воротам. Солдаты из команды коменданта катили от ворот в глубь двора две митральезы, и стоявшие у стены, и отгоняемые к воротам с ужасом смотрели на них.

Луиза кричала вместе со всеми, но не слышала ни своего голоса, ни слов. Острие штыка безжалостно впивалось то в плечо, то в грудь: остановиться было невозможно.

Они не успели отойти от бастиона и полквартала, как за его стенами загремели трескучие выстрелы митральез, а потом — одиночные ружейные... Для оставшихся у кирпичной стены все кончилось!..

Дождь продолжал лить как из ведра. Измученные люди едва переставляли ноги, плакали дети. Беспощадный конвой гнал пленников по дороге к Версалю. Откуда-то появились смоляные факелы, в их прыгающем огне растянувшаяся колонна представлялась Луизе порождением ее воспаленного воображения...

Казалось, крестному пути не будет конца. Кое-кто не мог идти, падал в грязь, его кололи штыками и били ногами, а если и тогда не шел, оттаскивали в сторону и убивали,— так случилось с двумя женщинами и несколькими стариками... Пылали факелы, светилось за пеленой дождя тусклое зарево Парижа...

И лишь поздно ночью на холме, впереди, в серой мгле, вырисовались зубчатые стены Сатори...

Итак, Луиза, начинается новая полоса жизни! И кто может сказать — фигура какого зловещего Галифе поджидает тебя в конце пути, кому предстоит перечеркнуть твою жизнь?..

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

„Коммуна побеждена! Да здравствует Коммуна!“

Можно ли называть жизнью бесконечную вереницу дней, наполненных лишениями, издевательствами, болью? Немыслимо далекой представляется синева неба; недоступна для ладоней шелковистая зелень травы; вместо хлеба — гнилые, червивые сухари; ночью — мучительный сон на кишащей вшами охапке соломы, а то и просто на мокрой от дождя или промерзлой земле! И — безнаказанная грубость тюремщиков, безжалостные тычки и побои и ружейные залпы неподалеку, когда расстреливают друзей. И мутная лужа посреди двора Сатори, откуда приходится черпать воду для питья, когда жажда становится непереносимой Вода в луже розовата от крови: в ней палачи моют руки после очередных экзекуций и в довершение надругательства над арестантами отправляют возле естественные потребности... И так не день, не два и не три, а почти восемьсот дней — из тюрьмы в тюрьму, из каземата в каземат!

Если бы совсем недавно кто-нибудь сказал Луизе, что человек способен вынести такое и не сойти с ума, не умереть, остаться в душе человеком, она ответила бы: немыслимо, невероятно! А именно такая жизнь началась для нее с той первой ночи в Сатори. Но сколько раз на том тернистом пути ей довелось восторгаться силой духа, мужеством, бесстрашием и добротой товарищей по несчастью!

Да, ей повезло: с начала тюремных скитаний и до последнего их часа всегда чувствовала рядом родное плечо: со многими встречалась в Комитете женщин, на клубных собраниях, сражалась на баррикадах Монмартра и Бельвиля.

В ту первую саторийскую ночь в тесном помещении, куда загнали женщин, этапированных с 37-го бастиона, Луиза встретила Мальвину Пулен, Экскоффон со старенькой матерью, жен Мильера, Дерера и Баруа. Они еще не знали о судьбе мужей, забросали Луизу вопросами. Она рассказала, что Дерера и Баруа видела вчера на баррикадах улицы Ла-Рокетт,— они сражались как львы.

— А вы, госпожа Мильер,— Луиза повернулась к худенькой, большеглазой женщине, судорожно стиснувшей на груди руки,— вы должны призвать на помощь свое мужество. Вы вправе гордиться: ваш Жан Баптист не опозорил себя. Его силой поставили на колени между колоннами Пантеона, и он умер с криком: «Да здравствует Республика! Да здравствует человечество!» О расправе мне рассказали на Пер-Лашез. Представьте, негодяи привезли к Пантеону и мертвого Рауля Риго с рассеченной головой, набитой соломой!

Мильер беззвучно рыдала, плечи тряслись.

— Он так любил жизнь, мой Жан...

В ту тюремную ночь Луиза готовилась к смерти. Проходя в воротах Сатори мимо дежурного, она, как и другие, назвала себя, и надзиратель махнул помощнику рукой:

— Эту можешь не обыскивать! Ночью наверняка шлепнут!

Она не могла уснуть. Мысленно прощалась с родными и близкими, жалела, что в предсмертный час лишена возможности передать им слова последнего привета, поблагодарить за то доброе, что они сделали и дали ей. Мама Марианна, Теофиль, Мари, Аня Жаклар, Андре Лео... Вереница дорогих лиц проходила перед ней, знакомые голоса явственно звучали в наполненной хрипами и стонами камере...

Луиза вставала, бродила между распластанными на

полу телами, подходила к единственному окну. Смотреть в него запрещалось: часовым приказано по окнам стрелять. Но и глядя сбоку, Луиза видела во дворе темные силуэты лежавших на земле. Иногда становилось светлее,— с фонарями или факелами тюремщики проводили мимо группы людей, лица в темноте неразличимы. Вскоре доносились выстрелы... Этот путь предстояло проделать и ей...

Утром, когда, словно подачку собакам, им бросили по сухарю, Луиза отдала свою порцию старенькой Экскоффон. В ответ на удивленный взгляд тихо сказала:

— Мне, наверно, уже не надо, мадам...

Но ей не суждено было так скоро и так легко умереть, она только вступала на свой крестный путь. Ее вызвали в начале дня. Оставшиеся в камере попрощались с ней, словно со смертницей. И впереди конвоира она шагала с убеждением, что идет умирать. Прощальным взглядом смотрела в прояснившееся под утро небо, по нему плыли розовые облака.

В комнате, куда ее привели, за столиком восседал немолодой усатый жандарм с тяжким, давящим взглядом. Недобро оглядев Луизу, он принялся допрашивать: где была и что делала в такие-то и такие дни.

— А на похоронах Виктора Нуара были?

— Да!

— А где восемнадцатого марта?

— В Ратуше! — Она отвечала дерзко, терять нечего.

Рыхлое лицо следователя заметно краснело. И когда в ответ на последний вопрос, где была во время боев, Луиза ответила: «Там, где были все честные,— на баррикадах!» — он вскочил и с яростью стукнул кулаком по столу, сломав перо.

— В Версаль! В Версаль эту...

Но отправили ее не сразу — ждали, когда наберется для этапа группа.

В те дни и позже, в версальской тюрьме Шантье, она то и дело встречала знакомых. Каждый день в камерах появлялись «новенькие»,— повальные аресты и расправы продолжались по всему Парижу. Как-то Луизе показали обрывок газеты «Фигаро»: «Мы должны расправиться, как с дикими зверями, с теми, кто еще прячется, пощада была бы в данное время безумием!»

Она с жадностью набрасывалась с вопросами на каждого, приходившего с воли,— надеялась узнать о Теофиле. После побоища на Пер-Лашез, где, как стало известно, убили более полутора тысяч коммунаров, еще какое-то время держались баррикады на улицах Фобур-дю-Тампль и Рампонно. На первой из них кто-то видел Теофиля и его брата Ипполита, но что с ними стало позже — никто не знал. Может быть, убиты. Ведь только в казарме Лобо расстреляно более двух тысяч пленных и «подозрительных»,— там убивают сразу по пятьдесят — сто человек из митральез. Говорят, у Сены появился новый приток: ручей крови из ворот казармы Лобо. В мэрии пятого округа, в Левобережье, безжалостно перебиты мальчишки-курьеры. По всему Парижу, в парках и скверах, роют длинные траншеи, где сжигают трупы, облив их керосином и смолой.

Рассказывали о трагической смерти Варлена. Он и Гамбон во главе десятка бойцов до последней возможности защищали баррикаду Рампонно, но, когда патроны кончились, им пришлось отступить. Измученный голодом и усталостью, Варлен свалился без чувств на улице Лафайет, его опознал проходивший мимо священник. Схватили, связали за спиной руки, и часа три толпа буржуа водила его по Монмартру, издеваясь и избивая. Орали: «Слишком рано убивать, тащите дальше!» Выбитый, вытекший глаз безжизненно висел на разбитом окровавленном лице. Пристрелили Варлена уже бесчувственного, на

перекрестке улиц Лабонн и Розье,— он не стонал, не молил о пощаде...

Таким был Париж в те дни.

В Шантье было все же легче, чем в Сатори. Женская камера, довольно просторная, помещалась на втором этаже, на первом содержались дети погибших коммунаров. Первое время и здесь приходилось спать на голом полу, лишь спустя две недели арестанткам разрешили набрать во дворе по охапке соломы. Кое-кому разрешили свидания и передачи.

Но тюрьма, конечно, оставалась тюрьмой. Дни тянулись удручающе медленно, заполненные ожиданием и воспоминаниями. Никто из узниц не ждал от будущего ничего хорошего, большинство пойдет под суд неправый и жестокий, а потом — та же тюрьма или ссылка. Луиза прекрасно понимала: уж кому-кому, а ей не следует тешить себя пустыми надеждами. Да она, по правде говоря, и не ждала и не приняла бы милости от судей. Ах, если бы не мучили мысли о Марианне!

Но вот — словно в затхлую тьму ворвался луч солнца — пришла записочка от Теофиля, пришла через руки, из которых Луиза никогда не ожидала ее получить. Однажды во время прогулки на тюремном дворе Луизу остановила старшая надзирательница.

— Мишель! С вами хочет поговорить аббат Фоллей.

Луиза поморщилась, пожала плечами: зачем она понадобилась представителю господа бога в этой преисподней? Оглянулась. Фоллей стоял неподалеку, сложив на животе руки, смотрел с пристальным, зовущим вниманием. И хотя Луиза только что собиралась фыркнуть и продолжать прерванную прогулку, взгляд аббата удержал ее. Она подошла, надзирательница издали следила за ней. Луиза спросила насмешливо:

— Что монсеньору угодно от жалкой узницы?

Оливковые глаза смотрели на нее спокойно и приветливо, скорбно сжатые губы тронула ироническая улыбка.

— Вы ни разу не пришли к мессе, мадемуазель Мишель,— негромко сказал Фоллей без всякого укора.— А мне необходимо поговорить с вами...

Прежде всего Луиза подумала о Марианне: вероятно, мать повидалась с тюремным священником, упросила его как-то помочь дочери.

Фоллей скосил глаза на надзирательницу, та продолжала наблюдать за ними.

— Да будет вам известно, мадемуазель, что моими подопечными являются и узники одиночной версальской тюрьмы — мужчины. Среди них — человек, которого я весьма и весьма уважаю,— Теофиль Шарль Ферре.

Луиза пошатнулась.

— Он жив?!

— У меня письмо от него к вам. Но здесь я не могу вам передать. Вас обыщут и отнимут, даже не успеете прочитать. Уверуйте на время в бога, мадемуазель,— он опять иронически усмехнулся,— придите на исповедь. Ведь даже закоренелые, погрязшие в грехе безбожники в часы испытаний могут прибегнуть к помощи всевышнего.

И, не ожидая ответа, пошел к воротам размеренной, неторопливой походкой, подол сутаны вздымал пыль с камней мостовой.

У Луизы будто внезапно широко распахнулись глаза: впервые за последние недели увидела синюю эмаль неба, услышала звонкий щебет воробьев.

Невероятно медленно тянулись следующие два дня! Но все проходит, прошли и они, и в воскресенье Луиза оказалась в темной, пропахшей воском и ладаном каморке исповедальни. Из квадратного окошечка на

нее глянули едва различимые грустные и умные глаза.

— Не будем говорить о ваших грехах, мадемуазель. Возьмите. У вас, вероятно, нечем писать? Возьмите и это...

Он передал Луизе записку и маленький карандаш.

— Надеюсь, теперь вы станете одной из набожных моих прихожанок...

С трудом Луиза дождалась конца мессы. И в камеру не шла, а будто летела, стискивая записку в запотевшей от волнения ладони. Забившись в угол, подальше от посторонних глаз, читала и перечитывала:

«Думаю, Вас порадует мое сообщение — много хороших и умных людей находятся в безопасности. Вам, вероятно, хорошо знакома моя манера смотреть на вещи. Поэтому, без сомнения, Вас не удивит, если я скажу, что наши идеи в конце концов победят. Мы сейчас были побеждены, ну что же! Если не мы, то наши братья возьмут реванш. Так какое же имеет значение, если я, например, в это время уже не буду жить? Я знаю храбрость и энергию моих товарищей по борьбе и уверен, что моя казнь только увеличит их рвение и сделает еще более необходимым справедливое возмездие... Вместо того чтобы огорчаться нашими неудачами, проанализируйте лучше их последствия, и вместе со мной Вы убедитесь, что никогда социализм не был так необходим, как сегодня!»

Значит, он ждет казни! Да разве и может быть иначе?! Ведь и ты не думаешь, что они сохранят тебе жизнь. Так набирайся же мужества, чтобы не споткнуться по дороге к смертному столбу!

С того дня тюремная жизнь обрела для Луизы новый смысл, наполнилась содержанием тем более значительным, что день суда над Ферре приближался. Теофиль писал ей, что вначале думал отказаться от выступления,

наверняка зная, что трибунал будет грубой фальсификацией разбирательства, но позднее пришел к выводу, что и судебную трибуну необходимо использовать для обличения версальской камарильи. «Надо сделать так, чтобы трибунал превратился в суд Коммуны над тьерами и мак-магонами»,— писал он, прилагая к записке черновик заявления суду:

«Господам членам Третьего Военного трибунала.

Принимая во внимание, что я имел честь быть избранным членом Парижской Коммуны тринадцатью тысячами семьюстами голосами Восемнадцатого округа; что я принял этот мандат и моим долгом было честно его выполнять; что Коммуна пала, ее члены убиты или арестованы, а характер их личностей, их действий, их учения и намерений сознательно извращен и истолкован самым лживым и гнусным образом; принимая во внимание, что главные вожди Парижской Коммуны, убитые, арестованные или вынужденные скрываться, стали объектом подлой и недостойной клеветы и не имели возможности доказать истину и заклеймить клеветников...»

Теофиль излагал содержание будущего выступления, и Луиза с гордой радостью думала, что тюрьма и черный призрак казни не сломили его, он остался борцом, таким же чистым рыцарем Революции, каким она знала его в жизни на свободе.

По примеру Теофиля она стала готовиться к суду, составляла и записывала обличительные фразы, намереваясь бросить их в лицо судьям и обвинителям. Что ж, Луиза, жизнь на земле не обрывается с нашей гибелью, и ты обязана дать во имя будущего последний бой.

Однажды, в конце июля, ее вызвали на свидание. В сумрачном помещении с зарешеченными, запыленными окнами увидела свою мать и сестру Теофиля. Мари осунулась и постарела, Луизе показалось, что в волосах девушки серебрится седина. Но и Мари, и мать держа-

лись мужественно. Марианна просила Луизу не беспокоиться о ней: помогают сестры и брат, она не пропадет, «лишь бы ты, Луизетта, осталась жива».

Открыто говорить о судах и следствии при тюремщиках было невозможно, но из иносказаний Мари Луиза поняла, что Лоран Ферре тоже арестован, а мать увезли в больницу умалишенных в приюте Святой Анны. Потерял рассудок брат Мари, Ипполит, но его и больного держат в тюрьме. Так что Мари осталась одна-одинешенька, приходится выполнять любую работу, чтобы купить кусок хлеба и собрать передачу. И все же Марианна и Мари принесли Луизе корзинку еды — хлеб, мясо, овощи. Вернувшись в камеру, она раздала все до последнего куска,— не могла набивать себе рот, когда на нее смотрят сотни голодных глаз. Оставила себе не больше, чем давала другим.

Теперь время для нее текло иначе: каждый день, как он ни длился, приближал суд над Теофилем и — неизбежно — его казнь. Ферре сидел в версальском Дворце правосудия, в крохотной одиночной камере, а сотни палачей на свободе «работали» на его смерть, и не было силы, которая могла бы эту жестокую и бездушную машину остановить. Объявили, что председателем суда над коммунарами назначен Мерлен, а прокурором — батальонный командир Гаво,— от солдафонов, ненавидевших Коммуну, не приходилось ждать ни объективного рассмотрения дела, ни снисхождения. «Можно считать, что смертный приговор у меня в кармане»,— горько шутил Теофиль в одной из записочек.

Накануне суда, шестого августа, он прислал Луизе очередное письмо. Прощаясь, зная ее исступленный характер, он призывал к спокойствию и разуму.

«Интересы нашего дела,— писал он,— требуют свободы его защитников. Можно сохранять достоинство, не будучи, однако, наивной. Советую не забывать моих за-

мечаний и попытаться поскорее выбраться из этого осиного гнезда. Постарайтесь быть достаточно спокойной, чтобы обмануть их ожидания, не злоупотребляйте Вашим великодушием...»

Она полагала, что записка эта — последняя, что Теофиля убьют сразу же после приговора, как убивали многих. Она не знала, что, желая продлить душевную пытку, приговоренного к смерти Ферре будут еще три с лишним месяца держать в одиночной камере. Больше ста дней он будет ждать, что за ним вот-вот придут, прислушиваться к шорохам и шагам в коридоре, ждать, ждать, ждать... А напоследок они посадят к нему... безумного брата!

О том, как шел суд, какую речь произнес Теофиль, она узнала из газетных вырезок, переданных ей аббатом Фоллеем.

«Я, член Коммуны, нахожусь в руках ее победителей,— сказал в заключение Ферре.— Они требуют моей головы. Пусть они возьмут ее! Низостью я никогда не захочу спасти своей жизни. Свободным я жил, свободным и умру! Еще одно последнее слово: судьба капризна. Пусть будущее сохранит мою память и отомстит за меня!»

Вместе с Ферре осудили еще семнадцать коммунаров и членов ЦК Национальной гвардии, в том числе Асси, Журда, Лисбонна, Груссе, Курбе, но лишь Ферре и Люлье приговорили к расстрелу.

В течение всей последующей жизни Луиза не могла позабыть безысходного отчаяния тех дней. Ни на минуту, ни на секунду не уходил из памяти образ Теофиля, ожидающего в смертной камере, когда за ним придут, чтобы отвести на Саторийский плац. Утонченная жестокость тюремщиков приводила ее в неистовство.

В дополнение ко всем тревогам от следователя капитана Брио она узнала об аресте брата Марианны и его сыновей — Даше и Лорана,— у первого из них осталось

голодать и бедствовать четверо детей. И не было ни малейшего сомнения, что это она, Луиза,— виновница обрушившихся на родню бед. Сознание этого удесятеряло ее муки.

Нервы не выдержали, она дерзила и грубила тюремщикам, рисовала углем на стенах карикатуры на Тьера и Галифе, в полный голос распевала революционные песни, а однажды разбила о голову надзирателя бутылку с молоком, переданную ей Марианной.

Так она надеялась добиться ускорения следствия и суда, но ее выходки закончились тем, что, стяжав себе славу самой отчаянной зачинщицы всех беспорядков в Шантье, она в числе сорока других «буйных и непокорных» оказалась в исправительной тюрьме Версаля. Так оборвалась последняя ниточка, незримо связывавшая ее с Ферре.

Она боялась, что сойдет с ума,— в кромешном тюремном аду многие лишались рассудка, в закрытых фургонах их увозили неведомо куда... И — сны, теперь ее мучили кошмарные сны: темные, бешеные потоки несли ее, а где-то впереди, в непроглядной тьме, будто бы убивали Теофиля и рыдала мама Марианна. Однажды приснилась ей лошадь со сломанными ногами, голову которой она когда-то держала на коленях, но потом оказалось, что это голова Теофиля, тяжелая и неподвижная. И несколько раз снилось совсем позабытое. Давно-давно, в замке Вронкур, повар отрубил утке голову, и она, безголовая, вырвалась из его рук и, нелепо размахивая крыльями, носилась по двору, брызжа на всех кровью...

Проснувшись на охапке грязной соломы, Луиза долго лежала, придавленная ощущением сна, и думала, что она и ее товарки по камере похожи на обезглавленную утку...

Несмотря на владевшее ею отчаяние, иногда сами собой вспыхивали в измученном мозгу стихотворные строки:

Версаль, старая распутница!
На плечах у нее — саван вместо плаща,
Под истрепанным платьем
Она прячет младенца — Республику.
Бедное дитя! Оно покрыто проказой преступлений.
Скрывая его под своим тряпьем,
Старуха позорит его великое имя.
Что нужно ей, чтобы чувствовать свое могущество?
Ей нужны крепкие стены, солдаты и развратницы.
А рядом с ней, изнывая под позорным гнетом,
Спит Париж сном кладбища...

В ноябре, неизвестно почему, Луизу перевели в Арраскую тюрьму. Здесь все было так же, как и в прежних тюрьмах: голод, вонючие камеры, по ночам напоминавшие громадные мертвецкие, злоба и жестокость тюремщиков.

Дни, дни, дни, одинаковые, как капли дождя. Бесконечное ожидание и такое нетерпение, что хотелось выть и до крови кусать руки...

В ночь на двадцать восьмое ноября надзирательница разбудила Луизу и отвела в контору. Там сказали, что ее повезут в Версаль, зачем — они и сами, наверно, не знали: было приказано привезти. Кутаясь в потрепанную жакеточку, под конвоем двух жандармов Луиза затемно вышла из ворот. Падал крупный снег, улицы лежали безлюдные и удивительно чистые от снега, сквозь облака просвечивали звезды.

На вокзале пришлось около часа ожидать парижского поезда. Изнуренная, с горящими глазами, в обтрепанном платье, сопровождаемая жандармами, Луиза привлекала всеобщее внимание. Какой-то шпют в дорогом пальто и цилиндре, с издевательской усмешкой рассматривая в монокль Луизу, заметил:

— Кажется, утром в Сатори собираются казнить коммунаров? Вы не из их компании, мадам?!

— Из их! — с яростью крикнула Луиза.— И помните,

негодяй, это лишь ускорит народный суд над версальцами!

Жандармы силой увели Луизу в соседний зал, а вскоре подошел поезд. Луиза озябла в легкой одежде, и даже жандармы посматривали на нее с сочувствием. Может быть, именно поэтому, когда на Версальском вокзале она издали увидела Мари Ферре, она решилась попросить конвоиров разрешения поговорить с ней. Жандармы переглянулись и разрешили Луизе отойти.

— Что, Мари? У вас в лице ни кровинки.

— Ах, Луиза, Луиза! — И, навзрыд заплакав, Мари протянула бумажку, на которой Луиза сразу узнала четкий, твердый почерк Теофиля. Он писал:

«Версальская одиночная тюрьма, камера № 6.

Вторник, 28 ноября 1871 г., 5 1/2 часов утра.

Дорогая сестра.

Скоро я буду мертв. Прошу тебя, потребуй, чтобы тебе выдали мое тело, и похорони его вместе с телом нашей несчастной матери. Само собой разумеется, никакого церковного обряда: я умираю, как и жил, материалистом.

Преодолей свое горе и будь на высоте положения, как ты мне не раз обещала. Что до меня, то я счастлив: приходит конец моим мучениям, и потому жаловаться мне не на что. Все мои бумаги, платье и другие вещи должны быть выданы тебе, за исключением денег, которые я оставляю в конторе для менее несчастных заключенных. Т. Ферре».

Луиза обхватила Мари за плечи, и они долго молча плакали. Подошел один из жандармов, тронул Луизу за локоть:

— Нам пора.

Позже, как ни старалась, Луиза не могла припомнить подробностей очередного допроса в Шантье. Смотрела в ненавистное лицо капитана Брио и не видела ничего, бессвязно отвечала на вопросы... Теофиль умер... Теофиль мертв!

Новый отсчет времени пошел для нее с того дня. Все кругом как будто стало иным, на все упала тень этой преждевременной смерти. Нет, она не собиралась следовать советам покойного — вести себя осторожно и тихо. Она решила сказать судьям и палачам все, что скопилось в душе, хотя бы словами отомстить за Теофиля. Пусть знают проклятые, что коммунаров не запугать видением виселицы, гильотины или смертных столбов Саторийского поля!

Подробности казни Ферре она узнала позже, уже вернувшись в Аррасскую тюрьму. Через неделю приехала из Парижа Мари,— часть продуктов, переданных Луизе, была завернута в номер «Либерте», где описывалась казнь. Бесчисленное количество раз Луиза читала и перечитывала газетные строчки:

«На поле Сатори с шести часов утра выстроены в виде каре войска под командованием полковника Мерлена, того самого, который председательствовал на суде, приговорившем Ферре к казни. В семь часов бьют барабаны: это на поле появляется процессия с осужденными. Она направляется к середине каре. Экипажи останавливаются, Ферре, Россель и Буржуа выходят и твердым шагом идут к роковым столбам под звук барабанной дроби. Водворяется гробовая тишина, начинается чтение приговора. Ферре продолжает спокойно курить сигару. Прислонившись к столбу, он бросает на землю свою шляпу. Подбегает сержант, чтобы завязать ему глаза, но Ферре берет повязку и бросает ее на шляпу. Трое осужденных остаются одни у своих столбов, три карательных взвода, быстро приблизившись, дают залп. Россель и Буржуа тотчас после залпа падают на землю; Ферре еще один момент держится на ногах, потом падает на правый бок. Главный полевой хирург, господин Дежардэн, спешит к трупам; он делает знак, что Россель мертв, и подзывает солдат, чтобы пристрелить Ферре и Буржуа».

Прочитав газету, Луиза потребовала, чтобы ее отвели в тюремную канцелярию, и там написала письмо генералу Апперу, требуя суда и казни для себя. Она писала: «Вам известно достаточно о моей деятельности, а поле Сатори находится недалеко. Вы все прекрасно знаете, что, если я выйду отсюда живой, я буду мстить за мучеников. Да здравствует Коммуна!»

Ответа она не получила.

Луиза попросила Мари привезти ей черное платье и такую же вуаль,— она считала, что имеет право носить траур по Теофилю Ферре...

Теперь ее беспокоило лишь одно: не заболеть бы, дожить до суда. Зима стояла холодная и снежная, а в старом замке Оберив, превращенном в смирительный дом и исправительное заведение, было сыро и холодно, многие арестанты, ослабев на скудной тюремной еде, простужались, болели и умирали.

К счастью Луизы, в эти трудные для нее дни с ней были Натали Лемель, Экскоффон и Пуарье, они ухаживали за ней, не дали впасть в отчаяние. Особенно внимательна и заботлива оказалась Натали.

— О, Луиза, мы не должны поддаваться унынию,— говорила она.— Зачем доставлять радость нашим врагам? Я не боюсь смерти, ты это знаешь, но я была бы счастлива дожить до победы новой Коммуны, а что победа будет, я ни капельки не сомневаюсь. И если версальские судьи сохранят мне жизнь, всю ее, до последней секунды, отдам делу нашей победы... Мужество, мужество и еще тысячу раз мужество, дорогая моя!

Сама Натали Лемель тоже пережила часы и дни тяжелого душевного потрясения. После того как пала последняя парижская баррикада, Натали, вернувшись домой, заперлась в комнате с жаровней горящих угольев:

ей казалось, что все потеряно, что дальше жить не стоит. Она уже потеряла сознание от угарного газа, когда жандармы взломали дверь квартиры. Ее спасли от верной смерти для того, чтобы осудить и отправить в далекую каторжную ссылку.

Одиннадцатого декабря Луизу наконец вызвали в канцелярию тюрьмы и вручили повестку — вызов в суд. Она принялась готовиться к своему последнему, как она полагала, бою. В Обериве уже знали о подробностях суда над Ферре и его товарищами. Триста мест в зале суда было предоставлено членам Национального собрания, и на все семнадцать заседаний суда версальская камарилья являлась почти в полном составе во главе с Тьером, Мак-Магоном и Галифе. Ведь Тьер сам возглавлял следствие по делу Коммуны и теперь, сверкающий орденами и регалиями, пожинал плоды многодневного труда. Со многими обвиняемыми у него были личные счеты: он не позабыл ни карикатур, ни статей, ни «недоноска Футрике».

Зал суда, вмещавший около трех тысяч человек, в те дни был полон до отказа: генералы и офицеры, банкиры и фабриканты, «святые отцы» и великосветские дамы — весь «высший свет» наслаждался предвкушением жестокого приговора.

Если судилище над Луизой будет обставлено так же помпезно, ей найдется кому бросить в лицо слова презрения и ненависти. Нет, не себя она собиралась защищать, она хотела очистить Коммуну от клеветы и подлых наветов, воздать должное ее героям и мученикам.

До суда оставалось пять дней, и она потратила их на то, чтобы подготовиться к нему. Луиза и ее подруги по камере были убеждены, что ее ждет смертный приговор: она была самой известной из защитниц Коммуны,— Елизавете Дмитриевой и Ане Жаклар удалось скрыться...

Шестнадцатого декабря в закрытой тюремной карете Луизу привезли в суд. Она не ошиблась: весь «цвет на-

ции» собрался посмотреть на знаменитую «мегеру» Коммуны, о мужестве и храбрости которой слагались легенды. В черном траурном платье и такой же вуали она шла через зал к своему месту под злобный шепот, улюлюканье и свист. О, она и не ждала от «этого» Парижа иной встречи: здесь собрались только враги. И лишь сидевшие где-то в дальних рядах Мари Ферре, мама и еще несколько женщин смотрели со слезами жалости и восхищения.

Держалась Луиза спокойно и гордо. С холодным презрением рассматривала «высший свет», собравшийся поглазеть на нее, судей, прокурора, охранявших ее жандармов. Вот, Луиза, и кончается твоя жизнь, эти упитанные солдафоны не могут ни понять тебя, ни простить, им чуждо и враждебно все, что дорого тебе.

Ответив на обязательные вопросы судьи полковника Делапорта, она слушала, как, подчеркивая чуть не каждое слово, секретарь суда читал обвинительное заключение, а сама ряд за рядом оглядывала зал, надеясь отыскать мать. Ну конечно же она не могла не прийти,— вон она, и рядом с нею Мари, самые близкие ей люди.

Когда секретарь закончил чтение, судья спросил Луизу, есть ли у нее адвокат и, если нет, желает ли она, чтобы ее защищал адвокат, назначенный судом.

Луиза встала:

— Я не хочу защищаться, я не хочу и того, чтобы меня защищали! Я всецело принадлежу социальной революции и готова принять на себя ответственность за все свои действия. Вы упрекаете меня за участие в казни генералов. Я отвечу вам: они осмелились стрелять в народ, и, будь я там, я не задумалась бы приказать стрелять в тех, которые отдавали такие приказания!

Издали она видела, что Марианна плачет, не вытирая слез, глаза и щеки у нее блестели. Волна нежности и сострадания захлестнула Луизу, и она не особенно внимательно слушала выспреннюю и злобную речь про-

курора. Толстый, рыхлый Дальи, чем-то напоминавший судью Дельво, с нескрываемой ненавистью поглядывая на Луизу, говорил:

— Тесно связанная с членами Коммуны, обвиняемая Мишель знала все их планы. Она помогала им всеми силами, своей волей, более того, часто пыталась их перещеголять. Она предложила отправиться в Версаль и убить президента республики... Таким образом, она не менее виновата, чем «гордый республиканец Ферре», которого она защищает столь странным образом... Она разжигала страсти толпы, проповедовала войну без пощады... Все это и дает мне основания требовать для обвиняемой Мишель смертного приговора.

Луиза только усмехнулась: другого и не ожидала. Со скорбной жалостью глянула она туда, где сидела Марианна, но лица матери не увидела: та плакала, закрыв глаза ладонями. Бедная ма! Хорошо, что рядом с ней Мари, она не покинет ее, не бросит.

В последнем слове Луиза сказала:

— Да, я участвовала в поджоге Парижа! Я хотела противопоставить вторжению версальцев барьер огня. У меня в этом не было сообщников, я действовала только по собственному почину. Вы утверждаете, что я была сообщницей Коммуны. Конечно, потому что Коммуна стремилась к социальной революции, а социальная революция — самое заветное мое стремление. Я горжусь тем, что участвовала в создании Коммуны! И то, что я требую от вас, называющих себя военным судом и считающих себя моими судьями,— это Саторийское поле, где пали мои братья. По-видимому, всякое сердце, которое бьется за свободу, имеет у вас одно только право — право на кусочек свинца. Я требую для себя этого права. Если вы оставите мне жизнь, я не перестану кричать о мщении, я буду призывать своих братьев отомстить убийцам из «Комиссии помилования»!

Полковник Делапорт стукнул кулаком по столу:

— Это пропаганда! Я лишаю вас слова!

— Я кончила! — ответила Луиза, садясь на скамью.— Если вы не трусы, убейте меня!

Пока судьи совещались о приговоре, Луиза с отвращением разглядывала сытые, довольные лица в первых рядах кресел, ордена и аксельбанты военных, шелковые рясы духовенства, модные прически и украшения дам. А отделенная от нее многими рядами кресел старенькая Марианна Мишель продолжала плакать, закрыв лицо. Да, нелегко быть матерью такой дочери.

Но судьи все же не посмели ее убить. По окончании совещания важный и напыщенный Делапорт объявил:

— ...На основании вышеизложенного и на основании указанных статей — к содержанию в крепости и ссылке в Новую Каледонию — бессрочно!

Зал загудел разочарованно: он ждал и жаждал крови. Но вспыхнули живой радостью глаза Мари и Марианны: какая и куда угодно ссылка все же не смерть!

А Луиза, откинув с лица траурную вуаль, крикнула судье:

— Я не нуждаюсь в ваших подачках. Я предпочла бы умереть!

А что же было потом, что дальше?

Еще двадцать месяцев Оберивской тюрьмы, долгое плавание на «Виргинии», зной Атлантики и холод южных ледовитых морей, раскаленные камни Новой Каледонии. И дружба с канаками, и их восстание против «злых белых», и красный шарф времен Коммуны, самое дорогое, что у тебя было, отданный восставшим как знамя... И отрубленная голова вождя Атаи, отправленная в банке со спиртом в далекий Париж — вещественное доказательство победы цивилизованной Франции над го-

лыми и голодными туземцами. И удачный побег Анри Рошфора и его пяти товарищей, и гибель двадцати других...

И — после амнистии — триумфальное возвращение в Париж, и снова работа во имя будущей Коммуны. И снова аресты и тюрьмы, и мрачные камеры Сен-Лазара, и выстрел спровоцированного священником одураченного Люка,— тебе самой пришлось просить для Люка снисхождения у суда. И жизнь в изгнании — в чопорной и холодной Англии, и написанные тобой книги, куда ты вкладывала всю душу, всю тоску по справедливости и добру. И вера в будущую мировую Коммуну, вера, которая не угасала в тебе всю жизнь!

И слова, сказанные тобой в девятьсот пятом году: «Вот увидите: в стране Горького произойдут грандиозные события. Я уже чувствую, как она поднимается, как она растет, эта революция, которая сметет царя и всех его великих князей и славянскую бюрократию и перевернет вверх дном весь этот огромный «Мертвый дом».

Да, вся твоя долгая и трудная жизнь, Луиза, была озарена светом Коммуны, и, если бы не этот свет, насколько была бы она беднее. «Ничего для себя» — было девизом всей твоей жизни.

Рутько Арсений Иванович, Туманова Наталья Львовна.

Р90 Ничего для себя: Повесть о Луизе Мишель.— М.: Политиздат, 1981.— 367 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Р $\frac{10603-001}{079(02)-81}$ 244—81 0504030000

84Р7+63.3(0)53
Р2+9(М)32

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Л. Б. Родкина*
Младший редактор *Н. Б. Чунакова*
Художник *Б. И. Жутовский*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 1020
Сдано в набор 27.03.80. Подписано в печать 26.11.80. А 00213. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 16,72. Учетно-изд. л. 17,08. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 177.
Цена 1 р. 40 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.





1 р. 40 к.

